МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. Б. МАРИЕНГОФ

МОЙ ВЕК, МОЯ МОЛОДОСТЬ, МОИ ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ



А. Б. Мариенгоф

Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги



Москва
Берлин
2020

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3
М26

Мариенгоф, А. Б.

М26 Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги / А. Б. Мариенгоф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 341 с.

ISBN 978-5-4499-0587-1

В книгу вошли мемуарные записи поэта-имажиниста, писателя и драматурга Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962 гг.). Воспоминания воссоздают эпоху А. Б Мариенгофа, рассказывают о жизни его выдающихся современников. Страницы издания – это страницы судьбы талантливого поэта, сообщающие об интересных и малоизвестных фактах его биографии.

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3

ISBN 978-5-4499-0587-1

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...

Пушкин

Я буду писать обо всем, как было, не преувеличивая, не уменьшая те мелкие факты, из которых состоит наша жизнь. Может быть, все это не так, потому что каждый ощущает окружающее через свое собственное сознание. Я ощутил его по своему, и я буду писать о нем так, как я понял.

Кира

— Который час, Апамент?
— Час быть честным.

Шекспир

1

Родители одевают меня самым оскорбительным образом: я хожу не в штанах, как положено мужчине, а в платьицах — голубеньких и розовых. Волосы длинные — ниже плеч.

Мне четыре года или что-то около этого.

Живем мы на Большой Покровке, главной улице Нижнего Новгорода. Сейчас она, вероятно, называется по-другому. Да и Нижний давно не Нижний Новгород, а Горький. Как-то не довелось мне побывать в нем. Жалею ли? Да не знаю. Как будто — нет.

Мой город дорог мне, мил и люб таким, какой был при разлуке — почти полвека назад: высокотравные берега, мягкий деревянный мост через Волгу, булыжные съезды, окаймленные по весне и в осень пенистыми ручьями. Город не высокорослый, не шумный, с лихачами на дутых шинах и маленькими веселыми трамвайчиками — вторыми в России. Они побежали по городу из-за Всероссийской выставки.

Выставка в Нижнем! Трамвай! Приезд царя! Губернатор Баранов, скакавший на белом жеребце высоких арабских

кровей! Губернатор сидел в своем английском седле «наоборот», то есть лицом к лоснящемуся лошадиному крупу. «Почему так?» — спросите вы. Да потому, что скакал губернатор впереди императорской коляски. Не мог же он сидеть спиной к помазаннику Божию!

Вспоминая в своем кругу исторический для Нижнего Новгорода год, мама всегда говорила:

— В 1897-м и наш Толя родился. В ночь под Ивана Купала. Когда цветет папоротник и открываются клады.

Для нее, конечно, из всех знаменательных событий того года мое появление на свет было наиболее знаменательным.

Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом — пьяные монопольки под зелеными вывесками.

Чего больше? Ох, монополек!

Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!

Не хочется мне видеть озорных друзей и звонких подруг моего отрочества. Я ведь помню их в юбочках до колен и с бантиками в пышных косах. Зачем же им, этим моим первым, вторым, третьим и четвертым Любовям толстеть, седеть, морщиниться и ковылять? А они теперь, разумеется, ковыляют. А некоторые, пожалуй, и отковыляли.

Жизнь!

Итак, мы живем на Большой Покровке, неподалеку от каланчи, выкидывающей красный шар, когда пожар в ее части.

Сын дворника, шестилетний Митя Лопушок, полный день гоняет по тротуару железный обруч от развалившейся бочки.

Как только я появляюсь на парадном крыльце, мама или няня выводят меня за ручку, — он кричит на всю улицу как зарезанный:

— Девчонка!.. Девчонка!..

И проносится мимо дребезжащим вихрем.

А у меня по носу текут слезы.

Никому на свете я так не завидовал, как Мите. Его залатанные брючки из чертовой кожи, его громадные рыжие штиблеты, унаследованные от старшего брата, его волосы, подстриженные в кружок, как у нашего полотера, — все это было пределом моих мечтаний.

— Девчонка! Девчонка!.. — визжит Митя и чуть не перерезывает пополам своим железным обручем нашего мопса Неронку, который, кряхтя, несет в зубах мой деревянный пистолет с длинным черным дулом, заткнутым пробкой.

— Девчонка! Девчонка!..

— Экой башибузук, — незлобно ворчит няня вслед Мите.

Я креплюсь. Сжимаю губы. Смотрю в небо и делаю вид, что ужасное слово «девчонка!» не имеет ко мне никакого отношения. О, если бы знала мама, как я глубоко переживаю!

«Нет, Лопух, — говорю я себе, — ты врешь: я мальчик! мальчик! мальчик!»

И раз десять подряд повторяю это гордое слово.

Прекрасный пол обычно жалуется на свою природу. Сколько хороших женщин не раз говорило мне: «Ах, как бы я хотела быть мужчиной!» Но, право, еще никогда я не слышал от мучеников, бреющихся через день (тогда ведь еще не существовала электрическая бритва), никогда не слышал: «Черт возьми, почему я не женщина!»

А меня, видите ли, наряжали в розовые и голубые платьица. За что?

Няня у меня старуха — толстая, круглая, большая. Впрочем, в те годы казались мне большими и наш двухэтажный дом с мезонином, и тощий сад в два десятка деревьев.

Няня была словно сделана из шаров: маленького (в черной кружевной наколке), внушительного (с гранатовой брошкой на груди) и очень внушительного, стоящего на чем-то воткнутом в меховые полусапоги. Эти три шара покачиваются один на другом, как это бывает в цирке у жонглеров. Старуха пахнет ладаном и вся шуршит коричневым плисом. Она — это покой, уют, тишина. Взяли ее в дом за несколько недель до моего появления на белый свет.

Несколько хуже обстояло дело с акушеркой Еленой Борисовной, которая меня принимала. Ее прямо от нас увезли в сумасшедший дом. Об этом многие годы с ужасом вспоминали мама, бабушка и все родственники.

Во время Великого поста мы с няней причащались по нескольку раз в день. Церквей в Нижнем Новгороде, как сказано, было вдосталь, и мы поспевали в одну, другую, третью. В каждой съедали кусочек просфоры — это тело Христово — и выпивали ложечку терпкого красного вина. Оно считается его кровью. Да еще «теплоту». Опять же винцо.

Ах, как это вкусно!

И оба — старуха и ребенок — возвращались домой навеселе.

Родители, само собой, ничего об этом не знали. Это была наша сокровенная тайна! Человек в четыре года очень скрытен и очень расчетлив. Только наивные взрослые все выбалтывают во вред себе.

Я играю в мячик. Как сейчас, его вижу: половинка красная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски.

Няня сидит на большом турецком диване и что-то вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли.

Мячик ударяется в стену, отскакивает и закатывается под диван. Я дергаю няню за юбку:

— Мячик под диваном... Достань.

Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью:

— Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молоденькая, гибкая!

— Нет, ты достань!

Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то говорит про молоденькую спинку.

Но я упрямо твержу свое:

— Нет, ты достань. Ты! Ты!

Няня справедливо считает, что меня надо перевоспитать.

Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только с ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие в мягких руках:

— Достань!.. Достань!.. Достань!..

Я начинаю реветь. Дико реветь. Делаюсь красным, как бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и заламываю руки, обливаясь злыми слезами.

Из соседней комнаты выбегает испуганная мама:

— Толенька... Толюнок... Голубчик... Что с тобой? Что с тобой, миленький?

— Убери!.. Убери от меня эту старуху!.. Ленивую, противную старуху!.. — воплю я и захлебываюсь своим истошным криком.

Мама берет меня на руки, прижимает к груди:

— Ну, успокойся, мой маленький, успокойся.

— Выгони!.. Выгони ее вон!.. Выгони!

— Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное сердце?

— Все теперь знаю. Ты любишь эту старую ведьму больше своего сына.

А простаки считают четырехлетних детей ангелочками!

— Толечка, родной, миленький...

Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подкупить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то «самым любимым на свете». Но все это я отшвыриваю, выбиваю из ее рук и упрямо продолжаю поддерживать свое отвратительное

«выгони!» самыми горючими слезами. Они льются из глаз, как кипяток из открытого самоварного крана.

Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и женщин. Оно испытано поколеньями в бесчисленных домашних боях, больших и малых.

— Выгони!.. Выгони!..

И что же?.. Мою старую няню — этот уют и покой дома — рассчитывают, увольняют за то, что она не полезла под диван, чтобы достать мячик для противного избалованного мальчишки.

Шутка ли: единственный сынок!

Прощаясь с ней, папа говорит:

— Спасибо вам, няня, за все. Простите нас.

И, поцеловав ее, дает «наградные». Три золотые десятирублевки.

Вероятно, многие считают, что угрызения совести — это не больше чем литературное выражение, достаточно устаревшее в наши трезвые дни.

Нет, я с этим не могу согласиться!

Вот уже более полувека меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячиком, закатившимся под турецкий диван.

Мама провожает старушку до извозчика. Вытирая кружевным платочком покрасневшие глаза и кончик нежного носа, тоже покрасневший, она говорит с грустью:

— Ах, моя голубушка, тут уж ничего не поделаешь, ведь Толечку принимала сумасшедшая акушерка.

Утро.

Мама расчесывает белым гребешком мои длинные волосы.

В этом случае все матери на земном шаре говорят одно и то же:

— Как шелк... как шелк. Чистый шелк.

Потом мама берет мою левую руку и кладет ее на золотистый валик турецкого дивана рядом со своей тонкой рукой с длинными пальцами и ногтями, как розовые миндалики:

— Смотри, Толя, как твои пальчики похожи на мои. И ноготки такие же. Только у тебя малюсенькие.

И целует каждый ноготок в отдельности.

— Ты, наверно, будешь знаменитым пианистом.

А у меня ни слуха, ни духа. Руки, глаза, носы, подбородки, губы тонкие, как ниточка, и толстые, как сардельки, — все это врет, обманывает, право, не меньше, чем наш каверзный язык. Сколько я видел совершеннейших растяп с орлиными носами, безвольных мужчин с выдвинутыми подбородками и очень злых людей с добродушными носами картошечкой.

— Нет, — бурчу я, — нет, я буду знаменитым шарманщиком. С попугаем. Я шарманки люблю.

Маму это огорчает.

Потом она говорит:

— Все остальное у тебя папино. И такой же высокий будешь.

— А папиной бороды у меня нет.

Мама смеется. Почему? Разве я сказал что-нибудь глупое?

Обиженно морщу лоб и гордо заявляю:

— Я знаю, из чего папы делаются!

Она испуганно на меня смотрит.

— Знаю! Папы делаются из мальчиков.

Мама облегченно вздыхает.

Этот наш разговор получил нижегородскую славу. Ровно через десять лет меня спрашивал вице-губернатор Бирюков, с сыном которого я сидел на одной парте в Нижегородском Дворянском институте:

— Скажи-ка мне, Толя, из чего папы делаются?

Нашу повариху звали Катей. Говоря своими сегодняшними словами, она была полнощёкая, дородная, чернобровая, черноглазая. В ушах болтались цыганские серьги — серебряными колесиками величиной с блюдце для варенья.

— Ух и пересолила же Катенька суп! — не сердито говорил папа.

Или:

— Ух и пережарила Катенька ростбиф!

Он любил ростбифы и бифштексы с кровью.

— Нынче, Боря, воскресенье, — всякий раз с улыбкой отвечала мама.

— Ах, да...

— К Катеньке с утра солдат пришел.

— Новый?

— Нет. Владимир. Очень симпатичный.

Я уже знал трех Катиных солдат. Все они внушали мне уважение, так как, на мой глаз, были большими, пожилыми, сильными, воинственными мужчинами, стреляющими из пушек по врагам. Головы круглые, стриженные под машинку. Сапоги тяжелые. Серые шинели пахли псиной.

И только значительно позже я понял, что они, эти Катины солдаты, были не пожилыми. И даже еще не мужчинами.

— Совсем еще дети! — сказал бы я сейчас.

Им было по двадцати одному году.

Бежит, бежит время.

Я давно хожу не в голубых и розовых платьицах, а в коротких, выше колен, штанишках. Не очень-то и с ними в дружбе! Еще бы: мечтаю о брюках. О суконных мужских брюках! И они уже не за горами. Оказывается, все в жизни не за горами — и юность, и зрелость, а за ней, черт побери, и старость. Я бы сказал, не столь уж мудрая, как брюзжащая и самовлюбленная.

Бог его знает, кто прав: юноши, считающие стариков романтическими глупцами, или спесивые старики, убежденные, что у юношей пусто и скучно в их расчетливых головах.

На вступительные экзамены в Дворянский институт императора Александра II меня привела Марья Федоровна Трифонова, начальница того детского пансиона, где я начал свое мученическое восхождение по проклятой тропе наук,

добрая половина которых оказалась мне в жизни совершенно не нужной. К примеру: алгебра, геометрия, тригонометрия... А вот за то, что меня, шестилетнего, заставили вызубрить таблицу умножения, я по сегодняшний день благодарен. Такую она беспрерывную и верную службу служит!

Перед институтскими экзаменами мы страшно волнуемся. Экзаменуют в актовом зале. Я еще никогда не видел такого паркета. В нем отражаешься, как в зеркальных витринах на Большой Покровке.

А скользкий он, как лед на Чернопрудском катке. Я уже два раза шлепнулся.

Сегодня экзамен по диктанту.

Марья Федоровна шепчет мне:

— Толя, сядь на парту у окна, выходящего в коридор.

— Хорошо, Марья Федоровна.

Неужели она собирается мне подсказывать? Кто? Сама начальница пансиона! Важная дама с лорнетом и волосами белыми, как салфетка. Суровая, как солдат на часах у губернаторского дворца. Она будет подсказывать мне, как Алеша Гриневич, которого она сама ставила за это в угол носом? Невероятно! А если и ее поставит в угол носом вон этот грозный старик в синем сюртуке с золотыми пуговицами — директор Костырко-Стоцкий? Все институты, как я узнал вскоре, называли его Касторка с Клецкой.

Я пишу диктант. Сердце — ледяная сосулька, а в голове чад, как на кухоньке у Мити Лопушка, где всякий день жарили на конопляном масле превкусные оладьи. Мы с Митей частенько менялись: он мне давал две оладьи, а я ему бутерброд с ветчиной и бутерброд с швейцарским сыром, которыми мне полагалось завтракать в пансионе.

Лысый педагог, коварный человек с невнятно скрипучим голосом, нарочно диктует так, чтобы я сделал как можно больше ошибок:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...

Где писать «не», где «ни»? А как писать «птичку»? С мягким знаком или без мягкого?.. Вся надежда на Марью Федоровну. В ней мое спасение! Но в актовом зале все нижние стекла молочные, непроницаемые! А Марья Федоровна все-таки не великан, даже на своих французских каблуках. Может быть, она догадается и встанет на цыпочки, чтобы увидеть, какой кошмар творится в моей тетради?

И вдруг ее спасительный лорнет сверкнул над молочным стеклом.

Ледяная сосулька в моей груди постепенно оттаивает.

Но...

Что это?

Глаза Марьи Федоровны от ужаса вылезают из орбит. Над молочным стеклом появляется ее рука в черной кружевной митенке. Сухонький палец растерянно подает мне какие-то непонятные сигналы и знаки. Из всего этого ясно одно: я сделал ошибку... Где? Какую?.. Перечитываю. Вон она! Вот! Я написал «птичку» без мягкого знака.

Радостно исправляю: «Птичька».

И победоносно смотрю на Марью Федоровну, поднявшуюся на цыпочки. А она с искаженным от ужаса лицом в отчаянии хватается за голову и стремительно отходит от окна.

«Дура! Старая дура! — ругаюсь я. — Даже подсказать как следует не умеет!»

Ее авторитет безнадежно падает в моих глазах.

«А еще начальница пансиона!»

За диктант я получил тройку. Но меня все-таки приняли, так как все остальные предметы сдал на пять.

Итак, я институтец!

С осени уже буду расхаживать в черных суконных брюках и в длиннополом мундире с красным воротником, как у предводителя дворянства.

2

Умирает мама. Тяжело, мучительно умирает. Нет, это гипсовое лицо — не лицо моей мамы! Эти глаза — запавшие, мутные, скорбные — не ее глаза. Эти прямые поредевшие влажные волосы, утерявшие свой изумительный блеск, — не ее!

Нас, детей, двое. Сестра еще совсем маленькая. Она играет в куклы, ничего не понимая.

Наша детская комната отделена от спальни родителей просторной столовой и папиным кабинетом. В старом доме толстые стены. И все-таки зловещие звуки, несущиеся из спальни, бьют по голове.

Бьют, бьют, бьют.

Зарываюсь под одеяло. Прислушиваюсь. Холодные мурашки пробегают по телу. Холодные слезы скатываются по щекам. Я знаю: это икает мама.

Так начался тот день. Солнечный весенний день.

Мама икает. Икает час, два, три...

Шаги по коридору. Отворяется дверь. Входит папа.

— Идем, Толя, — он берет меня за руку, — мама хочет тебя видеть. Вытри слезы и будь мужчиной.

И вот мы около ее кровати.

У изголовья сидит доктор. Я смотрю с какой-то неиссякаемой злобой на его черный сюртук, на сверкающие белые манжеты с тяжелыми золотыми запонками. Руки пухлые, выхоленные. Черная борода пахнет духами и тщательно расчесана. А лицо как из сливочного масла. Важное, серьезное, горестное. Словно играет в театре. «А вот вылечить маму не можешь! У, так и убил бы! убил бы!»

Мама гладит меня по голове.

Когда на минуту прекращается зловещая икота, она говорит очень тихо:

— Что же будет... что будет со всеми вами без меня...

И плачет. И поднимает на отца свои бесконечно усталые глаза:

— Боря, запомни, пожалуйста...

И начинает объяснять, где что лежит — Борино, Толино, сестренки.

Мама умерла в девять часов вечера. У нее был рак желудка.

О, как я ругал Бога! Какими ужасными словами! Ведь с трех лет, ежевечернее на сон, грядущий я горячо молился ему: «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы мама, папа, сестренка, я и собачка Нерошка умерли в один и тот же день, в одну и ту же минуту».

Я в третьем классе.

Прошли рождественские каникулы. Началось второе полугодие. Мы решили издавать журнал.

Мы — это задумчивый нежный красавчик Сережа Бирюков, барон Жоржик Жомини по прозвищу Япошка и я.

Жоржик маленький, самый маленький в классе, желтый, как гоголь-моголь, и в очках! Зубки всегда оскалены. У него больше всех двоек, дерзостей и проделок. Поэтому он чаще других сидит в карцере. Мой отец говорил: «Он похож на заводную игрушку, завод которой никогда не кончается».

Будущему журналу даем название «Сфинкс». Почему? В том единственном номере, который нам удалось выпустить, ничего загадочного не было.

Сережа Бирюков сочинил рассказ о собаке. Разумеется, она была гораздо умней, добрей и порядочней человека. Так уж принято писать о собаках, что в сравнении с ними наш брат довольно противное животное.

Япошка нарисовал ядовитые карикатуры: на директора Касторку с Клецкой, сидящего в столовой ложке. Малыш в

институтском мундире глядел с омерзением на это лекарство. Подпись: «Фу-у-у! Не хочу!» Вторая карикатура была на классного надзирателя Стрижа. Он порхал в нашем саду и пачкал на головы веселящихся институтцев.

Ну а я напечатал в «Сфинксе» стихотворение. Помню только две первые строчки:

Волны, пенясь, отбегали
И журчали вдалеке...

Журнал приняли в классе бурно. Он переходил из рук в руки, читался вслух, обсуждался.

Рассказ про собаку и лихие карикатуры оказались в глазах институтцев, как ни странно, не бог весть чем. Этому все поверили. Но сочинить стихотворение в правильном метре, да еще с настоящими рифмами: «Э, надувательство!»

И весь класс стал надо мной издеваться: «Поэт!.. Ха, поэт!.. Пушкин!» Больше всех приставал Борька Розинг, прилизанный с пробритым средним пробором:

— Ну, Анатолий, признавайся, как на духу: стишок-то свой из какого календаря сдул?

Я не выдержал и дал ему в морду. Удар удался. Из носа хлынула кровь на выутюженный мундирчик.

Борька, зажав ноздри в кулак, с ревом побежал жаловаться к Стрижу. Тот доложил Касторке с Клецкой.

— В карцер его. На четыре часа. Этого Пушкина! — не поднимая голоса, презрительно сказал директор.

Так началась моя поэтическая деятельность и мои литературные страдания.

Сейчас мне за шестьдесят, но они еще не окончились.

Я влюблен в Лидочку Орнацкую.

Каждая самая обыкновенная первая любовь необыкновенна.

Лидочка очень тоненькая девочка. Довольно долго мне нравились исключительно «очень тоненькие». А когда повзрослел, отлично понял, что и в полненьких немало своей прелести.

У Лидочки темные волосы, пухлые розовые губки и круглые серебряные глаза, похожие на новенькие полтинники. Когда она улыбается, мне кажется, что улыбается весь Нижний Новгород, окружающий меня. А когда ее полтинники тускнеют, я уверен, что Нижний Новгород переживает великую драму.

Мы с Лидочкой вместе ходили в театр. Самой любимой нашей пьесой был «Гамлет».

Стоило только потускнеть Лидочкиным глазам (неизвестно, по какой причине — получила ли она двойку по арифметике или поссорилась с подругой из-за ленточки в косе) — и я уже сравниваю ее судьбу с судьбой безумной Офелии, утопившейся в холодной воде. А свою трагическую участь — с участью Датского принца, предательски заколотого отравленной рапирой. А Жоржика Жомини... Вернее, не его самого, а только его круглую неугомонную голову, похожую на летающий шарик бильбоке, я представлял себе в виде черепа придворного шута, «бедного Йорика». И у меня сейчас же вставал перед глазами актер Орлов-Чужбинин, любимец нижегородской публики. Вот он стоит в черном плаще перед открытой могилой и бархатным голосом говорит отполированному черепу с черными впадинами глазниц:

— Ну а теперь отправляйся в спальню к какой-нибудь цветущей красавице и скажи ей, что если она даже положит себе на лицо румян толщиной в палец, то все равно довольно скоро будет похожа на тебя.

После чего любимец нижегородской публики левой рукой довольно высоко подбрасывал этот трагический костяной мячик и почти с балетной грацией ловил его правой рукой.

Зал, конечно, гремел аплодисментами.

Слова Гамлета запомнились мне на всю жизнь. Я даже купил себе костяной череп с черными впадинами глазниц. Он стоял у меня на письменном столе.

После спектакля я провожал Лидочку домой на лихаче. Это случалось нечасто. Из Москвы, от тети Нины, два раза в год я получал по сто рублей. Это являлось королевским подарком, если принять во внимание, что тетя Нина была не черноземная помещица, а только классная дама в женском Екатерининском институте и жила на жалованье более чем скромное.

У нас в доме про эту «Катеньку» тети Нины (на сторублевке был портрет Екатерины II) шутливо говорили:

— Это Анатолию на блеск рода.

Ах, лихачи, лихачи! Плетеные желтые сани, медвежья полость на зеленом сукне, тонконогая кобылка цвета крепкого чая под шелковой попоной. Копыта глуховато цокали по свежему снегу, такому же мягкому, как белая медвежья полость.

— Как вы думаете, Лидочка, — спросил я, нежно обнимая ее за талию, — сколько лет Гамлету?

— Девятнадцать! — весело, звонко ответила она. — Или двадцать.

Я отрицательно помотал головой:

— Увы, Лидочка, он старый.

— Старый? Гамлет старый?

Она удивленно метнула в меня свои серебряные полтинники.

— Да! Ему тридцать.

— Не может быть!

— Вы, Лидочка, вероятно, не очень внимательно слушаете разговор на кладбище. Могильщик ведь говорит, что он тридцать лет тому назад начал копать ямы для людей. Как раз в тот день, когда родился принц Гамлет.

— Неужели я это прослушала?

— Трижды, Лидочка.

— Ну и хорошо сделала! А вам, Толя, не надо мне говорить, что Гамлет старик.

— Да еще толстый и с одышкой.

— Что? Нет, уж это вы придумали!

— Ничего подобного.

— Придумали, придумали! Из ревности. Потому что знаете, как я влюблена в Гамлета.

Мне не оставалось ничего другого, как высокомерно улыбнуться:

— Вы опять, Лидочка, трижды прослушали.

— Что? Что прослушала?

— Да во время дуэли мама-королева так прямо и говорит: «Ты, мой Гамлет, тучный, поэтому задыхаешься и потеешь».

— Перестаньте, Толя!

— Честное слово!

Лидочка отвернулась, сердито надув розовые губки, которые она то и дело облизывала острым кончиком языка, чтобы они были еще розовей.

В ту эпоху четырнадцатилетние красавицы еще не мазали их помадой.

«Вот болтун! — обратился я к самому себе. — Сегодня уж тебе, идиоту, не целоваться с Лидочкой».

Мы неслись над замерзшей Волгой по откосу, где стояли дворцы купцов-миллионщиков.

Под шелковой попоной дымилась наша кобылка цвета крепкого чая.

Большими хлопьями падал снег. Падал лениво, нехотя, не торопясь с неба на землю.

Несколько поумнев — это случилось примерно лет через двадцать, — я вторично сказал самому себе: «И вправду, дружище, ты был тогда не слишком умен».

Лидочка оказалась права со своим Датским принцем. Какой же он у Шекспира тридцатилетний? Вздор! Мальчишка он у Шекспира, юноша. А сделал его тридцатилетним первый в Англии исполнитель «Гамлета» Ричард Бербедж — главный актер театра «Глобус». Немолод, невысок, усатый, бородатый, он являлся и хозяином «Глобуса». Играл Бербедж и старика Лира, и Ричарда III, и генерала Отелло.

Получив от Шекспира трагедию мести «Гамлет, принц Датский» и оценив по достоинству роль мстителя, Бербедж, нимало не смутясь, подработал заманчивую роль под себя, «подмял», как сказали бы нынче.

А почему бы этого и не сделать актеру, великому не только в своих глазах, но и в глазах Англии. Кто был такой в то время по сравнению с ним, с великим Ричардом Бербеджем, какой-то драмописец мистер Шекспир? Литературная безымянная мелочь.

Вот Бербедж со спокойной совестью и вставляет в роль Гертруды и могильщика несколько строк, вероятно, собственного сочинения.

Право, XVII век не слишком далеко ушел от нашего. Тогда тоже портили пьесы. Кто? Актеры, заказчики, королева, вельможи. Теперь их портят редакторы, режиссеры. Только в этом и различие.

Мы с Лидочкой виделись два раза в неделю: в субботу на катке и в воскресенье в театре или на концерте. Но переписывались ежедневно. А почта у нас была своеобразная: это Константин Иванович Гастев. Он преподавал русский язык в институте и во 2-й женской гимназии, где училась Лидочка. Строгий и самоуверенный педагог являлся отменно исполнительным почтальоном — свои письма мы клали под стельку его галоши. Константин Иванович тоже разъезжал на лихаче (но без шелковой попоны), и через десять — пятнадцать минут Лидочкин продолговатый конвертик, чуть-чуть надушенный персидской сиренью, попадал в мои руки.

«Но что будет, — спрашивал я себя, — когда сойдет снег, высохнут тротуары и Константин Иванович снимет свои галоши?.. Ведь любить Лидочку Орнацкую я буду не до середины апреля, а вечно!»

У меня соперник. Это вихрастый гимназист Вася Косоворотов, сын, сторожа из Вдовьего дома.

Если бы я мог оценить относительно спокойно наши взаимные шансы на победу, то, вероятно, мое отроческое сердце не отбивало бы в груди трагическую барабанную дробь.

Смотрю и смотрю на себя в зеркало: «Да, у меня римский нос. Абсолютно древнеримский!.. Тонкие иронические губы... Благородно-удлиненный профиль... Как вычеканенный на античной монете (отец коллекционировал их). Интересное лицо!»

Я никогда не был повинен в чрезмерной скромности. «А Васька? Он же типичный губошлеп! Что-то безнадежно курносое. Да еще в коричневых веснушках! Даже зимой. А что будет летом?»

Но у ревности такие же громадные глаза, как у страха. И я говорю себе: «То, что я красивей, это неоспоримо, но в его проклятой физии есть какая-то чертовская милота. Он похож на Митю Лопушка, героя моего детства. Пропади пропадом Васькина круглая морда! Вместе со своей улыбочкой — “душа нараспашку”!»

И стучит ревнивое сердце — утром, днем, вечером. Однако сплю как убитый. Четырнадцать лет!

«А главное, он замечательно катается на коньках, этот чертов сын, Васька! Выкручивает на льду какие-то невероятные кренделя. Даже танцует вальс-бостон! Леший с ним! Пусть бы танцевал на своих дрянных снегурочках хоть танец самого дьявола. И раскроил о лед свою башку! Но ужас в том, что Васька всей этой конькобежной премудрости обучает Лидочку. Мою Лидочку! Ой, а теперь они танцуют польку-бабочку!»

Я, конечно, презрительно смотрю на них прищуренными глазами и улыбаюсь печоринской улыбкой. Но коварная девица в крохотной горностаевой шапочке (раскрасневшаяся, сияющая, сверкающая серебряными глазами!) не обращает на мою печоринскую улыбку ни малейшего внимания.

«Оказывается, она — дура! Пустышка! Круглый ноль!.. А я-то ее на “Гамлета” вожу. Нашел кого! Пустышку, которой бы только крутиться на льду в каких-то кретинских танцах».

И я отворачиваюсь в сторону от «дуры», от «пустышки», от «круглого ноля». Однако выдержки у меня маловато: опять не отрываясь, гляжу на нее, на него, на них. Гляжу прищуренными глазами. То и дело сдергиваю с руки и вновь нервно натягиваю белую замшевую перчатку. Совсем как Орлов-Чужбинин в «Коварстве и любви» Фридриха Шиллера.

Наш Чернопрудский каток обнесен высокой снежной стеной. В дни, когда играет большой духовой оркестр под управлением Соловейчика, билет стоит двугривенный. Это большие деньги. На них можно купить груду пирожных в булочной Розанова. Откуда взять такую сумму сыну сторожа из Вдовьего дома? И вот, рискуя жизнью, мой соперник всякий раз кубарем скатывается по снежной крутой стене. Раз! два! — и на льду. И уже выписывает свои замысловатые кренделя на допотопных снегурочках.

В одну прекрасную субботу я, терзаемый ревностью, говорю своей даме в крохотной горностаевой шапочке (боже, как она к ней идет!):

— Взгляните налево, Лидочка.

И показываю ей сына сторожа из Вдовьего дома в то самое мгновение, когда он скатывается на лед. Собственная спина служит ему салазками. Фуражка слетела. Желтые вихры, запорошенные снегом, растопорщились, как шерсть на обозленном коте при встрече с собакой.

— Что это? — растерянно шепчет Лидочка.

— «Заяц»! — отвечаю я с искусственным равнодушием. — Самый обыкновенный чернопрудский «заяц». К счастью, уборщик снега не видел, а то бы ваш кавалер получил метлой по шее.

На Лидочку это производит страшное впечатление. Она надувает губы, задирает носик и прекращает всякое знакомство с моим грозным соперником.

— Нет, — говорит она, — этот чернопрудский «заяц» мне не компания.

Я торжествую победу. И в тот же вечер всю эту историю рассказываю отцу, с которым привык делиться событиями своей жизни. У нас товарищеские отношения.

Отец снимает с носа золотое пенсне, кладет на книгу, закуривает папиросу и, кинув на меня холодный, недружелюбный взгляд, говорит негромко:

— Так. Значит, победитель? Победитель!.. А чем же это ты одолел своего соперника? А? Тем, что у тебя есть двугривенный, чтобы заплатить за билет, а у него нет?.. Н-да! Ты у меня, как погляжу, герой. Горжусь тобой, Анатолий. Продолжай в том же духе. И со временем из тебя выйдет порядочный сукин сын.

Отец не боится сильных выражений.

Я стою с пылающими щеками, словно только что меня больно отхлестали по ним.

Отец надевает на свой крупный нос золотое пенсне и берет книгу. Он перечитывает «Братьев Карамазовых».

— Иди, Анатолий. — Таким тоном он разговаривал со мной не больше одного раза в год. — Иди же! Готовь уроки.

Я медленно выхожу из его кабинета.

«Стыд, стыд, где твой румянец?» — спросил бы принц Датский.

Разумеется, в тот вечер я не приготовил уроков. Не до латинского языка мне было.

Прошло пять десятилетий. И, как видите, из моей памяти не изгладились скверные события зимнего нижегородского дня.

Лидочка Орнацкая... Вася Косоворотов... Первая любовь. Первая ревность. Ну?.. И первая мерзость, что ли?.. Стоп, стоп! Пожалуй, не первая. А история с мячиком, закатившимся под диван?

Нет, друзья мои, я не считаю, что угрызения совести — это всего-навсего устаревшее литературное выражение. Чувства и страсти не так уж быстро выходят из моды. Это ведь не штаны и шляпы.

Нижегородское футбольное поле раскинулось в полуверсте от города, влево от Арзамасского шоссе, обрамленного с обеих сторон тенистыми дедовскими березами. Божии странники с посошками из можжевельника и странницы в белых платках под этими березами хоронились от солнца, от дождя, полудничали, вечерничали и занимались любовью.

Трехэтажный Вдовий дом в розовую штукатурку тогда являлся последним городским зданием. Его приходилось огибать футболистам.

Ножной кожаный мяч я обожал почти с той же горячностью, как поэзию символистов и трагедии Шекспира.

В роковое майское воскресенье с фибровым чемоданчиком для бутс в руке я возбужденно отшагивал на ответственный матч между нашим КЛФ (кружок любителей футбола) и 1-й сборной Нижнего Новгорода.

Вдруг возле высоких железных ворот Вдовьего дома я увидел Васю Косоворотова. В яркой сатиновой рубашке навыпуск, в синем картузнике на веселых вихрах. Он стоял в куче вдовьедомских ребят в таких же ярких сатиновых рубашках, подпоясанных либо широким ремнем, либо плетеными шнурами с кисточками на концах. Ребята были несколько повзрослей моего бывшего соперника.

Заметив меня, бывший соперник что-то сказал ребятам, и те выстроились в подлинную стенку. А он, надвинув на брови картузик, грозно зашагал мне навстречу.

«Ух, плохо твое дело!» — мысленно сказал я себе.

И скосил глаз на стенку: «Вон ведь какие верзилы...»

Ребята в стенке так же, как Вася Косоворотов, воинственно надвинули на брови свои картузы и засунули руки в карманы штанов.

Бывший соперник быстро шел мне наперерез.

Пришлось напрячь всю свою мальчишескую волю, чтобы бессмысленно не пуститься наутек. Но ходу я все-таки понадбавил. Тут сами ноги действовали, а не расчетливая голова, в которой прыгала все та же мысль: «Плохо дело. Ой, плохо!»

Секунды шли, как часы.

Не мигая я смотрел вперед, только вперед.

«Уф-ф!»

И в то же мгновенье бывший соперник, превратившийся в лютого врага, со всего размаха ударил меня ладонью по щеке. Да, именно — не съездил в морду, а ударил по щеке. Дал пощечину, звонкую, как в цирке.

«Вот оно!»

У меня запылала левая часть лица и свалилась на землю фуражка с красным дворянским околышем.

Ее надо было поднять. Нагнуться, поднять и надеть на голову.

Мне показалось это самым унизительным.

А вдруг он даст мне еще пинок по заду, и я растянусь, как жалкий клоун в цирке, — губами и носом прямо в загаженный песок дороги. Потом буду отряхиваться, вытирать лицо и выплевывать песок. А лютый враг захохочет надо мной, и все вдовье омские ребята тоже захохочут.

«О-ой!» — простонало внутри.

Но пинка по заду я не получил. Пощечина осталась пощечиной, оскорблением. Совсем как в великосветском романе.

Я поднял фуражку, надел ее и молча зашагал по дороге, позорно не дав сдачи. Ведь Васька со своими ребятами в картузах, воинственно надвинутых на брови, сделали бы из меня «кашу-размазню», как говорила уличная детвора.

«Ишь, семеро на одного!»

Быть побежденным в жизненной схватке одинаково тяжело, обидно, горько во всех возрастах.

В тот день я отвратительно играл в футбол.

И почти не спал ночь.

«Вызвать его на дуэль?.. Господи, какое идиотство!.. Гусары в таких случаях выходили из полка... Застрелиться?»

И я заплакал. Уж очень стало себя жалко.

Эта пощечина была первой и, к счастью, последней в моей жизни.

Отцу я не рассказал о ней.

Я либо читаю, либо пишу стихи. Пишу и читаю днем, ночью, дома и в институте на уроках. Читаю из-под парты, положив себе на колени декадентскую книжку.

Вслед за мной добрая половина институтцев распевает на все лады Валерия Брюсова:

О, закрой свои бледные ноги!

Писать стихи — это значит еще и бормотать их в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте: на улице, за обедом, во время общей молитвы в актовом зале, в уборной и даже стоя в воротах футбольного поля в качестве голкипера.

Вот юродивое сословие эти сочинители рифмованных строк!

В ранней юности над ними измываются приятели, иронизируют трезвые подруги, подтрунивают тети и дяди, смеется хорошенькая горничная; несколько позже сердятся жены, ес-

ли они из богатого и делового дома. И скажем честно: сердятся на полном основании. Из бормочущего мужа ничего путного не выйдет. Ни вице-губернатора не выйдет, ни председателя Казенной палаты, ни члена правления солидного банка.

Отец, как правило, возвращается из клуба после трех часов ночи. В клубе он бывает ежедневно. Даже после концерта или театра он едет туда «выкурить папироску». Так говорится.

Глубокая ночь.

Я пишу жестокую поэму о своей первой любви. Себя не щажу. В этом суровом приговоре есть доля кокетства. И немалая. Ах, как приятно не щадить себя!

Входит отец.

— Батюшки! А ты все еще не спишь? Ложись, брат, ложись. Завтра рано вставать.

— Я, папа, завтра не пойду в институт.

— Почему?

— Кончаю поэму.

— Ну, как? Вытанцовывается?

— Не знаю. Скоро тебе прочту.

— Жду с нетерпением. Ну, пиши, пиши. Я оставлю Дуняше записку, чтобы тебя не будила.

— Спасибо, папа. Спокойной ночи.

И целую у него руку. А в детстве я любил засыпать, положив себе под голову эту большую ласковую руку, которая не дала мне ни одного шлепка.

Весной меня не допустили к переходным экзаменам: три годовые двойки — по алгебре, по геометрии и по латыни.

«Сел! Второгодник!»

Огорчился я смертельно.

Отец меня утешал:

— Экой вздор! Ну, кончишь институт на год позже. Зато, мой друг, ты написал две поэмы и несколько десятков стихотворений. Из них, по-моему, три-четыре хороших.

Но Дворянский институт мне окончить не довелось. Дела сложились так, что мы должны были осенью того же года уехать из Нижнего.

Отец принял представительство на Пензу и Пензенскую губернию английского акционерного общества «Граммофон» («Пишущий Амур») с процентами от оборота, довольно значительного, так как общество давало широкий индивидуальный кредит на аппараты и пластинки.

К средней школе у меня была лютая ненависть.

— Я, папа, не имею ни малейшего желания сидеть лишний год за проклятой партой.

— Что же делать, мой друг?

— Буду заниматься летом, — ответил я. — А осенью в Пензе держать экзамен по всем предметам в следующий класс.

— Недурная мысль. Но я думал, что мы поедем месяца на два в Швейцарию, — сказал отец.

Он еще в декабре задумал этот променад. Из Москвы, Берлина и Женевы выписывал путеводители и читал их с превеликим увлечением.

— Нет, папа, мне, к сожалению, не до путешествия.

— Ну, тогда мы и не поедем. Я буду тебе подыскивать хорошего репетитора.

Он снял пенсне.

— По моим сведениям, в Пензе имеется частная гимназия некоего Пономарева. Вот, значит, и сыпь туда — полегче будут экзаменовать. Особенно воспитанника Дворянского института. Я этих Пономаревых, этих интеллигентов из поповского племени, немного знаю: на них гипнотически действуют ваши дурацкие фуражки с красными околышами и с геральдическими гербами.

Отец оказался прав: экзаменовали меня кое-как, наспех — словно боялись, что я возьму, да и срежусь. Даже по геометрии и по алгебре я получил пятерки.

Моя фуражка с дворянским околышем да красный воротник мундира действительно зачаровали господина Пономарева.

Начало занятий. Первый день.

Я подавлен пономаревской гимназией: облупившиеся крашеные полы, как в небогатых кухнях; темные потолки с потрескавшейся штукатуркой; плохо вымытые оконные стекла. «Чтобы жизнь казалась потускней!» — говорю я себе.

А уборная!.. Зашел и выскочил. Защемило сердце. Вспомнилась институтская: зеркала, мрамор, писсуары, сверкающие январской белизной; горящая медь умывальников; мягкие махровые полотенца. Эх-хе-хе!

Как только я появился в классе, ко мне подошел плотный гимназист на коротких ногах и с большой головой.

— Сергей Громан, — представился он.

У гимназиста были волосы ежиком и мыслящие глаза. Даже чересчур мыслящие. А рот этакий девический, капризный, с припухлыми, как у Лидочки Орнацкой, розовыми губками.

— Хотите, Анатолий, сидеть со мной на парте?

— Буду очень рад.

— А теперь разрешите вас познакомить с товарищами по классу: Синебрюхов... Васильев... Петров... Никаноров... Коган...

Я пожал тридцать шесть рук.

Всклокоченный щетинистый «дядька» позвонил в колокол, давно не чищенный мелом. Мы вошли в класс.

— Вот наша парта, — сказал Сережа Громан с гордой ноткой в голосе.

Ух, в первом ряду! Все погибло. Теперь и не посочинять стихи во время геометрии, и не почитать из-под парты Александра Блока на латинском уроке.

Блоком я бредил и наяву, и во сне. Даже восьмилетняя сестренка вслед за мной истомно тянула с утра до вечера:

Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи...

А за обедом она страстно убеждала отца, что Александр Блок «гениальней Пушкина», сказки которого уже прочла.

Большая перемена.

Мы с Громаном ходим под ручку по «обжорному залу». Так называется большая комната с ненатертым паркетом. В ней широкобедрая грудастая бабуся, с лицом, обсыпанным бородавками и бородавочками, торгует холодными пирожками, плюшками и бутербродами с вареной колбасой без горчицы.

— А вы знаете, Анатолий, где я родился? — спрашивает Громан.

— Где?

— В тюрьме. В одной камере сидела мама, в другой папа.

И складывает губки кокетливым бантиком.

«Вот так бал!» — грустно думаю я.

— А кто ваш отец теперь?

— Теперь у него бюро.

Я смотрю на своего нового друга искоса: чудное занятие! В молодости, значит, папочка с мамочкой людей грабили и резали, за что и угодили в тюрьму, а теперь они их по первому разряду хоронят. Им, вероятно, принадлежит Бюро похоронных процессий на Московской улице против аптеки Маркузона.

Возвращаюсь домой с насупленными бровями и вытянувшимся носом.

— Что с тобой, Толя?

— Да вот, папа, новым другом обзавелся. Очень приятная семья! В недалеком прошлом его папочка и мамочка уголовные преступники. Сам он родился в тюрьме.

— Любопытно!

— Теперь они зарабатывают деньги на покойниках.

— То есть?

— Ты, наверно, заметил на Московской улице против аптеки большую черную вывеску Бюро похоронных процессий.

Такими бодрыми золотыми буквами написано: «ВЕЧНОСТЬ».

— Видел.

— Их предприятие.

Отец, улыбнувшись, закуривает толстую душистую папиросу:

— Это тебе новый друг рассказал? Сам рассказал?

— Конечно. Всю большую перемену мы с ним под ручку ходили. Пока меня не стошнило. Трупами, понимаешь ли, от него пахнет.

— Пылкая поэтическая фантазия!

Я сердито возражаю:

— Ничего подобного!

— Папочка, — хнычет сестра, — я кушать хочу.

Отец звонит в колокольчик, чтобы Настя подавала.

— У твоего нового друга, Толя, очень интересная биография. Тебе повезло как будущему писателю.

— Безумно! — бурчу я. — Сплошное везенье! Как тебе в карты.

Отец постоянно проигрывал.

— Расскажи еще что-нибудь.

— Пожалуйста, с наслаждением.

И я рассказываю о сортире в пономаревской гимназии.

Теперь уже тошнит сестренку.

— Хватит, Толя! Прекрати! — обрывает отец. — Как-нибудь переживешь и это несчастье.

— Легко сказать — «переживешь». Мне, папа, в этом заведении три года учиться.

Отец протирает пенсне полоской замши и говорит, как всегда, негромко:

— Чистое полотенце в уборной — это, конечно, важно. Но все же, думается, не самое важное в жизни. А вообще сия обыкновенная российская гимназия мне куда больше по ду-

ше, чем твой безмозглый институт. Кстати, в который ты поступил из-за моей мягкотелости. Тетя Нина настояла. Ох уж эта мне аристократка!

Старая дева тетя Нина была классной дамой в московском женском Екатерининском институте, что «против Красных ворот». Так мы писали ее адрес на конвертах. Примерно с трех лет она называла меня не иначе как «Анатоль» и любила той сумасшедшей любовью, которой любят старые девы своих собачонок и кошек.

— Боб, — обращалась она к отцу деловым тоном, — я для Анатоля наметила приличную партию. Моя воспитанница, княжна Натали Черкасская. Вы, Боб, наверно, слыхали — их родовое имение тоже в Арзамасском уезде.

Тетя Нина говорила «тоже», потому что она и моя мама, урожденные Хлоповы, были из-под Арзамаса, родившись и проведя раннее детство в хиленьком, разоренном именьице.

— Вы, Боб, вероятно, знаете по истории, что у царя Алексея Михайловича была невеста Хлопова? Мы этого рода! — при каждом удобном случае лгала тетя Нина.

А дед мой по отцовской линии из Курляндии. В громадном семейном альбоме я любил его портрет: красавец в цилиндре стального цвета, в сюртуке стального цвета, в узких штанах со штрипками и черными лампасами. Он был лошадник, собачник, картежник, цыганолюб, прокутивший за свою недлинную жизнь все, что прокутить было можно и что нельзя.

— И умер, как Вильям Шекспир! — говорил отец. — После доброй попойки. Отец был москвичом. Он воспитывался в дорогом неказенном учебном заведении, но уже посиротски — на чужие деньги, на деньги миллионера Коншина, неразлучного друга моего роскошного деда.

Разговоры о моей женитьбе начались, когда мне было лет двенадцать.

— Что вы на это скажете, Боб? Право, надо как следует подумать о Натали Черкасской.

— Милая Ниночка, — отвечал отец, пытаясь спрятать улыбку под мягкие золотистые усы, — а может быть, вам удастся просватать ему принцессу Гессенскую?

— Ах, Боб, — сердилась тетя, — с вами никогда нельзя поговорить серьезно!

Но я несколько отклонился от рассказа.

Всю ночь я проворочался в кошмарах: Сережа Громан запихивал меня в гроб; я сопротивлялся; меня это не очень устраивало; но он, в конце концов, запихнул, взгромоздил крышку и стал ее заколачивать громадными гвоздями.

— Вставайте, Анатолий Борисович. Пора! А то на урок опоздаете.

Сжалось сердце: «О Господи, идти в эту проклятую гимназию!»

А во время второй перемены выяснилось, что Владимир Густавович Громан (отец Сережи), бывший политический ссыльный, стоял во главе не безнадежной «Вечности» — похоронного бюро, а Пензенского статистического бюро, лучшего в Российской империи. В семнадцатом году, при Керенском, он был продовольственным диктатором Петрограда.

Теплый осенний вечер. Веснушчатое небо. Высокие степенные деревья нарядились в золото и пурпур, как шекспировские короли.

Мы расхаживаем с Сережей Громаном по дорожкам Поповой горы и философствуем. В этом возрасте обычно больше всего философствуешь. Впрочем, в ту эпоху русские начинали философствовать, едва вызубрив таблицу умножения, а кончали, когда полторы ноги уже были в кладбищенской яме.

Самые сложные вопросы жизни и смерти мы с Сережей решали легко, просто и смело. Даже те, которые неразреши-

мы. Например, вопросы счастья, семьи, любви, верности. Значительно проще вопрос «меню». Рано или поздно человечество с ним справится: все будут не только сыты, но и есть то, что им нравится. В этом я убежден.

Внизу, под нами, светятся яркие огни в окнах одноэтажных домиков. Но самих домиков не видно. И улиц не видно. И то, что раскинулось у подошвы Поповой горы, представляется мне южным морем, бухтой, кораблями на рейде. А эти мигающие яркие точки — фонарями на мачтах.

Шагая в задумчивости, я говорю:

— Вокруг каждого огонька — человеческие жизни... Жизни, жизни и жизни! И они лепятся к этим ярким точкам, как дачная мошкара.

Я говорю не слишком просто. Это от молодости — говорить красиво и литературно гораздо легче, чем говорить просто, по-человечески.

— Но почему мошкара? — обижается Сережа за всех людей, населяющих землю.

Я упрямо повторяю:

— Однодневная мошкара со своими маленькими радостями и жалкими несчастьями.

Сережа недоволен моими словами и моей правдой. Его розовые девичьи губы складываются капризным бантиком.

— Вот мы с вами, Анатолий, и должны бороться за то, чтобы люди не крутились, как мошкара, со своими маленькими несчастьями. К черту их!

Я молчу, но про себя думаю: «Э, безнадежное занятие!»

— Человек должен парить, как орел! — говорит сын меньшевика.

И поднимает свои мыслящие глаза к небу:

— Парить в звездах!

Я морщусь. Я не переношу высоких, напыщенных слов, как пересахаренного варенья.

Сухие листья шуршат под ногами. В общественном саду оркестр вольной пожарной дружины играет вальс «На сопках Маньчжурии».

Да простят мне изощренные ценители и знатоки музыки, но я считаю, что на свете не было и нет прекрасней, трогательнее этих звуков.

— Скажите, Анатолий, вы читали «Капитал» Маркса? — обращается ко мне Громан со всей строгостью.

— Нет.

— Завтра я принесу вам оба тома.

— Толстые?

— Очень. И все-таки вам придется прочесть.

— А это не слишком скучно?

Мой новый друг, выпрямившись на бревнышках своих коротких ног, принимает величественную позу:

— Для глупцов и мерзавцев скучно!

«Погиб во цвете лет! — думаю я. — Заставит прочесть».

— Ну как же, Анатолий? Принести?

— Пожалуйста, — отвечаю ему со вздохом. — Не могу же я быть в ваших глазах глупцом или мерзавцем.

— Полагаю! — снисходительно отзывается Сережа.

«Капитал» более или менее прочитан. В это трудно поверить даже мне самому. Мало того: в потайном ящике секретера у меня лежат брошюрки в ярко-красных обложках: «Рабочий вопрос», «Аграрный вопрос», «Диктатура пролетариата».

В 1905 году эти брошюрки выходили легально. А нынче я могу за них вылететь даже из пономаревской гимназии. Это приятно щекочет самолюбие.

Перелистываю свой юношеский дневник. Фиолетовые чернила выцвели, потускнели. Вот запись тех дней: «Бездельники едят жирно и сладко, утопают в енотовых шубах и разъезжают на рысаках. А те, которые на них работают, все-

гда полусыты и волочат ноги от усталости. Может ли с этим примириться честный человек?»

Сережа Громан приходил ко мне почти каждый вечер. Мы поселились на Казанской улице «в большом двухэтажном доме». Так говорила Настя про наш шестиоконный дом из некрашеного кирпича. На Казанской улице он действительно «большой», потому что все остальные дома деревянные, одноэтажные, не всегда с мезонинами.

Настя — тридцатилетняя вдова. У нее было все «тиколка в тиколку», как говорил отец. Тиколка в тиколку — носа, глаз, ржаных волос, бровей на спокойном белом лице с красивыми ушами какого-то особенного цвета — словно огонек спички. Только губы — толстенькие. И когда улыбалась — зубов! зубов! «Полон хлевец белых овец» — по ее собственному выражению.

Настенька не только являлась нашей поварихой, горничной с наколкой, полновластной хозяйкой, но и нашим другом. Разговаривать с ней было одно удовольствие.

— Настенька, а почему это вы всегда уши чешете?

— Как же, Анатолий Борисович, мне их не чесать, если я к осени родилась.

И, помолчав, добавляла:

— А если подошвы чешутся — это к дороге. А когда лоб — спесивому кланяться.

И все-то она знала, все у нее было ясно, все просто.

— Самоварчик уж закипает.

— Спасибо, Настенька.

Горела керосиновая лампа «молния». Абажур напоминал громадный букет васильков.

Настя принесла нам из столовой чай с апельсином, с лимоном, с яблоком, с вареньями — и вишневым, и клубничным, и черносмородиновым. Принесла домашнее хрусткое печенье и коробку шоколадных конфет. Сережа, как женщи-

на, любил сладкое. Он, бывало, съест всю эту фунтовую коробку один, и его не вырвет.

— Первый, стало, знак, — говорила Настенька, — что Сергей Владимирович пьяницей не будет. Пьяницы ведь на сладкое и не взглянут. Вроде как на мусорное ведро.

Она считала это утешительным, но и шоколадных конфет ей всегда было жалко, хотя ни в какой мере не отличалась скупостью.

— Кушайте на здоровье, Сергей Владимирович, — вздохнув, сказала она и придвинула коробку поближе к моему гостю.

— Спасибо, Настенька.

— А это я для барышни. Они у нас тоже сладкоежка.

И, положив две конфетки на маленькое фарфоровое блюдце, вышла из комнаты.

За окном орали мартовские коты, хотя весной еще и не пахло. Вероятно, эти измельчавшие тигры и тигрицы, не обращая внимания на погоду, живут по отрывному сытинскому календарю: если наступил март — надо заниматься любовью.

— Сережа, — спросил я, — вы читали «Воскресение» Толстого?

И взял с полки книгу, только что вернувшуюся в мягкой коричневой коже от старика переплетчика, знаменитого на всю Пензенскую губернию, которая славилась дворянскими гнездами. А те, в свою очередь, славились библиотеками, состоящими из книг в прекрасных переплетах.

У отца тоже была страсть к хорошим переплетам... для хороших книг. Он покупал их довольно широко, но не для шкафа и полок, украшавших кабинет, а для чтения.

Отец любил рассказывать про своего кузена-биржевика, неожиданно разбогатевшего:

— Став миллионером, Лео купил дом на Каменноостровском проспекте и стал роскошно обставлять свою новую квартиру. Для кабинета, само собой, потребовалась солидная

библиотека. Я как раз тогда приехал по делам в Петербург. Неожиданно ко мне в номер явился Лео: «Выручай, брат! Мне до зареза надо быстро купить тысчонку красивых книг! Составь, пожалуйста, список». Я написал, возглавив список восьмьюдесятью шестью томами «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Перед отъездом зашел к Лео проститься. Он прямо из передней, не дав снять пальто, торжественно повел меня в свой кабинет. О, ужас!.. Увлекшись золотыми корешками Брокгауза и Ефрона, мой свежеиспеченный миллионер сразу купил четыре комплекта «Энциклопедического словаря». Длинная стена громадного кабинета сверкала золотом. Миллионер был в восторге.

В этом рассказе все от жизни. По-моему, тем он и прелестен.

Итак, я спросил:

— Сережа, читали ли вы «Воскресение»?

— Читал ли я «Воскресение» Льва Николаевича Толстого?.. — И Громан, поджав губки, поднял на меня взгляд укоризненный и оскорбленный. — Однако, Анатолий, вы обо мне не слишком высокого мнения.

Я себя почувствовал столь неловко, словно спросил моего друга: «А вы, Сережа, не воруете бутерброды из карманов своих товарищей?»

— Простите, Сережа, это, конечно, глупый вопрос...

И пролепетал еще что-то, смущенно оправдываясь.

Его розовые бантики снисходительно улыбнулись. Он любил извинения и покаяния, как их любят и поныне члены социалистических партий.

— Так вот, Сережа, разрешите мне вам напомнить одно место из романа.

— Пожалуйста.

Я прочел:

— «В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он меч-

тал о женщине только как о жене. Все же женщины, которые не могли, по его мнению, быть его женой, были для него не женщины, а люди». По-моему, Сережа, это все неправда. А как вы считаете?

Он медленно залился пунцовой краской от самых бровей:

— Что... по-вашему... неправда?

— Да о Нехлюдове. Будто он мечтал о женщине только как о жене. И вот это тоже неправда — что все женщины были для него не женщины, а люди. В девятнадцать-то лет! И зачем, не понимаю, Толстой говорит неправду? Ему-то уж это стыдно. Француз Руссо в этом гораздо правдивей. Вы ведь...

Я хотел спросить, читал ли он «Исповедь», но вовремя прикусил язык.

Мне вспомнилось то место из этой превосходной книги, где Жан Жак чистосердечно рассказывает, как он в восемь лет, благодаря уже развившемуся половому инстинкту, получал чувственное наслаждение, когда его порола тридцатилетняя мадемуазель Ламберсье, приходившаяся ему родной тетей.

И это написано в XVIII веке! Какая смелость! Особенно по сравнению с нашим временем. Мы ведь пишем словно для девиц с косичками. А уже и Пушкина это злило.

Сережа Громан отвел взгляд к окну, за которым орали коты, вероятно, тоже юные, девятнадцатилетние, но, разумеется, не по нашему человеческому летосчислению, а по их — котиному.

Мне было приятно мучить и пытать моего друга.

— Вот вам, Сережа, — сказал я, — только что исполнилось пятнадцать...

Тут не только его щеки, но лоб, нос и подбородок стыдливо запунцовели.

— Ну, Сережа, по правде... Вы ведь всегда говорите правду...

Он в жизни все делал «принципиально». И действительно — «из принципа» говорил только правду, хотя это было

не совсем приятно окружающим и довольно трудно для него самого.

— Так вот, Сережа, «по чистой правде», для вас в пятнадцать лет, а не в девятнадцать, как было Нехлюдову, все молодые привлекательные женщины — не женщины?.. А только люди?..

Он, проповедующий из принципа «чистоту до брака», взглянул на меня почти с ненавистью. Так, вероятно, при Иване Грозном смотрели пытаемые на мастера по дыбе и колесу.

— Нет... для меня... они... к сожалению... не всегда... только люди, а...

И, не договорив, громко проглотил слюну.

— А кто?

— Женщины! — ответил он, покрываясь испариной. — Мне стыдно, но это так. Может быть, я чудовище и негодяй.

— Нет, Сережа! — поспешил я утешить его. — И для меня тоже — женщины. Но я не считаю себя чудовищем. Да, не считаю. Потому что понял: это нормально, это в природе человека. И никакие тут «крылышки» мамы помочь не могут.

Хочется забежать вперед, в двадцатые годы, и рассказать про свою последнюю встречу с Сережей Громаном.

Москва. Мы с Есениным жили в коммунальной квартире.

Вечер. Раздались звонки у парадной двери: раз... два... три... четыре... Я проскрипел челюстями, чертыхнулся, огрызнулся и, прикрыв рукопись однотомником Пушкина, раздраженно положил карандаш.

«Кого еще принесла нелегкая!»

Кто-то из соседей открыл гостю дверь.

— Можно войти? — спросил чужой хриплый голос.

— Можно.

И я тут же вскочил со стула:

— Сережа!..

— Не ждали, Анатолий?

Мы, конечно, поцеловались.

— Может быть, я не вовремя?

Он, как и в далекие времена, сложил губы обиженным бантиком. Но что это был за бантик! Какой жалкий!

Я воскликнул:

— Очень удачно пришли! Страшно рад! Я валялся на кровати, поплевывая в потолок... Раздевайтесь, Сережа.

И принялся торопливо стаскивать с него облезлую оленью доху.

— А где Есенин? Вы ведь живете вместе?

— Да. Он сейчас в бане.

— Довольно способный парень, — снисходительно промолвил Громан. — К сожалению, с эсеровщинкой.

Два-три года тому назад мой пензенский друг, став председателем Всероссийской эвакуационной комиссии при Совете народных комиссаров, разъезжал в громадной желтой машине по голодной, холодной и мужественной Москве. Мне казалось, что город похож на святого и на пророка. Его каменные щеки ввалились, и худое немытое тело прикрывало рубище. Но глаза Москвы были как пылающие печи. А голос — как у бури. Выражаясь библейским языком.

В те дни Сережа Громан не расставался с толстым портфелем из крокодиловой кожи и ходил в превосходной оленьей дохе, полученной по ордеру. Она была сшита на рост Петра Великого. Председатель эвакуационной комиссии путался в ней, как мадам Сан-Жен в придворном платье со шлейфом.

— Большевики меня ценят, — говорил Сережа Громан, величаво надуваясь. — Я с ними работаю, но отношусь к ним, если хотите знать, весьма критически: европеизма товарищам не хватает. Широких плехановских обобщений.

Двадцатилетний Громан не только критиковал, но и столь же ревностно эвакуировал. Вероятно, что нужно и что не

нужно. В конце концов, как нетрудно догадаться, наэвакуировался и накритиковался до Лубянки.

Просидел он недолго, но после этого «недоразумения», как говорили все попавшие за решетку, его больше не затрудняли ответственной работой. Карьера кончилась. Вместе с ней и громадная желтая машина отошла в распоряжение какого-то другого социалистического юноши. Тогда они были на командных постах. А как был великолепен в этой машине мой пензенский друг! В своей оленьей дохе! Со своим крокодиловым портфелем, раздувшимся от важнейших бумаг, от грозных мандатов, от картонных учрежденческих папок с наклейками: «срочные», «весьма срочные», «секретные», «совершенно секретные».

Сережа Громан всегда сидел рядом с шофером и сам поминутно со всей энергией сжимал левой рукой резиновую грушу гудка, играющего, поющего и ревущего.

Скромные советские служащие шарахались во все стороны и поднимали испуганные глаза. А председатель Всероссийской эвакуационной комиссии с наслаждением читал в этих глазах зависть, страх, уважение, а порой и ненависть. Один раз он даже услышал, как интеллигент с бамбуковой палкой, нахмурившись, проворчал: «Ишь, сильный мира сего». После этого Сережа стал еще величественней морщить брови, надувать щеки и выпячивать грудь.

Несуразный желтый автомобиль, конфискованный у охотнорядского купца, не только вихрем кружил Сережу по Бульварному кольцу и узким изломанным улицам, но еще и возносил его на ту головокружительную высоту, с которой Сережа мог смотреть сверху вниз на все человечество, не ездившее по Москве в машинах.

Войдя в комнату, Сережа Громан грузно опустился на наш единственный стул.

— Как живете, Анатолий?

— Ничего. Понемножку.

Он вставил дешевую папиросу в угол маленького рта.

— Курить стали, Сережа?

— Научился. В камере.

И выпустил сразу из обеих ноздрей серые струи.

— Может быть, Анатолий, у вас найдется стакан водки? Закуска у меня имеется.

Он вытащил большую луковицу из порыжевшего портфеля крокодиловой кожи.

— И пить стали, Сережа?

— Да! — ответил он коротко. — После МЧКа.

— А ведь раньше только апельсиновое ситро признавали. Помните, бутылок по шесть выпивали на наших гимназических балах?

— Лубянка меняет вкусы.

Он вытер лоб нечистым носовым платком и перевел разговор на другую тему:

— Мне предлагают несколько должностей на выбор. Очень ответственных. Но, знаете ли, — воздерживаюсь. Что-то не хочется идти заместителем. Привык возглавлять.

Я подумал, что он похож на пустой рукав, который инвалиды войны обычно засовывают в карман.

— Правильно, Сережа, что воздерживаетесь.

— Впрочем, возможно, и соглашусь. Я ведь работаю не на большевиков, а на Россию.

— В таком случае, Сережа, обязательно соглашайтесь, — ответил я, не глядя ему в глаза.

Вернемся в Пензу, на Казанскую улицу, в маленькую нашу гостиную, освещенную керосиновой лампой.

— Давайте, Сережа, издавать журнал, — предлагаю я. — В институте мы издавали «Сфинкс».

До сих пор почему-то мы с Сережей на «вы».

— Это, Анатолий, мысль! Я возьму на себя вводящие статьи. Журнал будет социал-демократическим. Плехановского

направления. Писать без твердых знаков. Это не буква, а паразит, — стремительно, одним духом говорит он.

— Великолепно.

— А печать на гектографе. Я умею его варить. Прокламации тоже печатают на гектографе.

Потом добавляет, понизив голос до шепота:

— Журнал будет подпольным.

И берет из коробки последнюю шоколадную конфету.

А я думаю о себе с тихим восторгом: «Ну вот, брат, ты и революционер. Как Герцен».

3

— Папа, можно к тебе?

— Конечно.

Вхожу в кабинет отца. Он раскладывает «Пасьянс четырех королей». В руке коварная дама пик. Но мысль его куда-то убежала. Вероятно, в прошлое. Это я вижу по взгляду — отсутствующему, подернутому туманцем легкой грусти и неполного счастья. Грусти и счастья одновременно. Это бывает! Бывает, когда они соединяются, смешиваются, одно переходит в другое, как акварельные краски на картине хорошего художника.

Прошлое! Чем больше седин на голове, тем оно кажется милей. Все, все мило! И детство, забрызганное горькими слезами; и отрочество, омраченное надоедливыми школьными зубрежками; и юность, разодранная трагедиями духа: для чего жить? как жить? чем жить? а главное — с кем? С горничной, с проституткой или с чужой женой?

На открытой книге лежит пенсне. Отец даже купается в них, а иногда и спит. Мне частенько доводилось осторожно снимать их с его крупного прямого носа. Как у всякого близорукого человека, у отца совсем другие глаза, когда они не смотрят на мир через стекла. Они принимают другое выражение, другой оттенок, окраску, еще более мягкую, рассеян-

ную, добрую. Они словно прикрываются тончайшим вуалем, который, как известно, делает лицо загадочным.

«Ах, какие они безвольные», — думаю я почти с раздражением. И тут же возникает глухая обида за отца. На кого? Не знаю. А в следующую минуту мне уже хочется взять его голову в руки и с мужской покровительственной лаской поцеловать в эти добрые умные глаза. Но я этого не делаю, боясь сентиментальности. Она не в чести у нас в доме.

— Папа, я написал небольшую поэму. Хочешь послушать?

— Конечно.

Он собирает маленькие атласные карты, неторопливо делает аккуратную колоду и прячет ее в старинную китайскую коробочку из слоновой кости.

— Читай, мой друг. Я весь внимание.

И заботливо придвигает ко мне поближе лампу под зеленым абажуром.

— Спасибо, папа. Я помню наизусть. Называется поэма «Гимн гетере».

— Кому?

— Гетере. Тебя это не устраивает?

— Читай, читай.

Он прячет улыбку под светлые шелковистые усы, слегка прокуренные над верхней губой.

Начинаю:

Тебе, любви поборница святая,
Тебе, наложница толпы,
Тебе, за деньги женщина нагая, —
Осанна и цветы!

Примерно после четвертой-пятой строфы отец стал слегка позевывать, всякий раз прикрывая ладонью рот.

— Тебе скучно, папа?

— Если говорить по правде, — скучновато.

— Не нравится?

— Нет, не нравится.

— Почему?

— Как тебе сказать... Видишь ли...

Он подбирает слова, пощипывая свою чеховскую бородку:

— Видишь ли, это что-то лампадное... семинарское...

Отец очень не любил попов.

— И почему «гетера»? Уж если ты хочешь писать об этих женщинах, которых, по-моему, совсем не знаешь, то называй их так, как они называются в жизни: проститутки. Есть и другое слово — простое, народное, конечно, грубоватое, но точное по смыслу. Ну и употребляй его. Пушкин в таких случаях ничего не боялся. А поэму свою так и назови: «Гимн бляди». По крайней мере, по-русски будет. А то — гетера!.. Наложница!.. Осанна!.. Семинарщина, Толя, бурсачество. И откуда бы?

Я огорчен почти до слез. Похрустывая пальцами, выдавливаю из себя:

— А Сереже Громану очень понравилось. Он говорит: идейная поэма. С направлением.

— Ага! С плехановским направлением?.. Что ж, весь ваш «подпольный» журнал с таким направлением будет?

Я сердито молчу.

— А тебе, Толя, не кажется, что Сережа ничего не понимает в поэзии? И что он очень высокопарный юноша?

Я продолжаю молчать. «Господи, только бы не зареветь!».

— Ты уж прости, пожалуйста, хоть это и твой друг, но мне думается, он не слишком умный. Как все высокопарное.

Я медленно подхожу к голландской кафельной печке и мелодраматическим широким жестом бросаю свою поэму в огонь.

— Вот и правильно. А теперь, Толя, пойдем погуляем, у меня что-то голова побаливает.

Морозный мартовский вечер. Весна запаздывает. Под ногами хрустит снег. Он кажется мне искусственным. Совсем как аптекарская вата, посыпанная бертолетовой солью.

Детство, детство! Таким аптекарским нетающим снегом покойная мама окутывала красноватый ствол рождественской елки. Она стояла посреди гостиной и упиралась в потолок своей серебряной звездой. Вокруг стройного дерева, увешанного сверху донизу всякой всячиной, мы, дети, должны были петь и скакать, хлопая в ладоши:

Заинька вокруг елочки попрыгивает,
Лапочкой о лапочку постукивает!

Уже в пять лет эта игра казалась мне очень скучной и глупой. Тем не менее я скакал, пел и хлопал в ладоши. Что это было: лицемерие? Нет. Похвальное желание доставить удовольствие маме, которая затратила столько сил, чтобы порадовать меня.

Мы выходим с отцом на Московскую улицу, скупо освещенную редкими фонарями.

В нашей богоспасаемой Пензе (злые языки называют ее Толстопятой) главная улица упиралась в громадный собор дурной архитектуры. Отец называл такую архитектуру «комодной».

По излюбленной левой стороне (если идти от базара) с шести до восьми вечера гуляли гимназисты и гимназистки старших классов. Влюбленные ходили под ручку.

Мы появились на Московской несколько позже. Гимназистов сменили мелкие чиновники и приказчики закрывшихся магазинов. А гимназисток — проститутки.

Во втором квартале, как раз против Бюро похоронных процессий, к отцу подошла женщина с пьяными глазами, подмалеванными жженой пробкой. В зубах у нее торчала папироса.

— Господин мусье, — поцедила она сиплым голосом, — угостите даму спичкой.

— Простите, но я не курю, — солгал отец.

— А твой щенок?

— Нет, нет, не курю! — пролепетал я.

Пьяная женщина, презрительно сузив подмалеванные глаза, ни с того ни с сего матерно выругалась.

Я взял отца за рукав:

— Идем, папа... Идем!.. Идем!

Она ругалась:

— Выблядок узкорожий!

Отец сказал негромко:

— Вам, сударыня, выспаться надо.

— А жрать, думаешь, мне не надо? Ты за меня пожрешь?

Отец поспешно протянул женщине три рубля:

— Простите... Вот... пожалуйста.

— Мерси боку!

Она послала отцу воздушный поцелуй.

Я не выпускал рукава отцовской шубы:

— Папа... папа!

— Ну?

Я шептал:

— Пойдем, папа. Пойдем направо, на Дворянскую. Там очень красиво. На тополях иней...

Отец ласково надвинул мне на глаза фуражку с голубым околышем:

— Вот, Толя, это и была та самая «гетера», которой ты посвятил свой гимн.

И улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой:

— «Осанна и цветы!..» Несчастная женщина. Боже мой, какая жалкая и несчастная.

Лето 1914 года.

В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шхуне по Балтийскому морю. Иностранные порты. Стокгольм, Мальме, Копенгаген... Вот она, Дания, — родина Гамлета.

Я стою под кливерами на вздыбленном носу шхуны. Нордвест воет что-то свое, а я — слова Датского принца:

Мой пульс, как твой!
И мерно отбивает
Он такт, как в музыке...

Стихи подкармливают мальчишеское зазнайство. Несколько позже я его назову честолюбием.

Мы в Копенгагене.

— Отдать концы! — говорит в рупор с капитанского мостика старший офицер.

Опять распущены паруса, опять море. Но оно не серебристое, не пепельное и не бледно-голубое, как русские глаза. А черт его знает какого цвета, вернее — цветов. Какая-то пенящаяся бурда.

Ночная вахта. Юнги называют ее «собакой». Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаясь прочесть там будущее своей жизни: «Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?»

А через несколько дней в открытом море, неподалеку от Ганга, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной Гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией.

Война! Какая мерзость!

А мы, дурачье, с восторгом орем:

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Орем до изнеможения, до хрипоты. На загорелых лбах даже вздуваются синие жилы.

Приказ командования: идти в порт Лапвик; затопить — шхуну; возвращаться на родину по железной дороге.

— Чтобы немцы не торпедировали, — поясняет старший офицер.

— Нас?

— Ну, разумеется.

«Торпедировали!..» О, это звучит шикарно.

Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными расфуфыренными дамами в шляпах набекрень или сползших на затылки, как у подвыпивших мастеровых. Возвращались с дамами в слишком дорогих платьях, но с нечесаными волосами и губной помадой, размазанной по сальным ненапудренным подбородкам. Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазии, — дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов.

Одна красивая стерва с болтающимися в ушах жирными бриллиантами едва не перегрызла мне большой палец на правой руке, когда я отворил дверь в купе. К счастью, я уже знал назубок самый большой матросский «загиб» и со смаком пустил его в дело.

Ехали день, ночь, день, ночь.

По горячим сверкающим рельсам навстречу гремели воинские эшелоны.

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам...

Пели красные вагоны «на сорок человек и десять лошадей».

Ночь, день, ночь, день.

Пенза.

Вокзал.

Он напомнил мне липкую смертоносную бумагу от мух в базарной пивной. Эта бумага шевелилась. Она была черным-черна от будущих мушиных трупов. А какое теперь преимущество перед мухой у человека? Бедняга, он также влип. Но это я понял несколько позже.

Казанская улица. Дом. Звоню. Вбегаю. Целуюсь с сестрой, с Настенькой, с отцом. И тут же, в прихожей, заявляю:

— Папа, я ухожу добровольцем на флот!

— Сними-ка, Толя, шинель... О, возмужал!

— Ты слышишь, папа?

— Конечно. Добровольцем?.. Сделай одолжение. На флот?.. Твое дело. Куда угодно, — говорит он совершенно спокойно. — На флот, в кавалерию, в артиллерию. Но... — и разводит руками, — после того, как окончишь свою гимназию.

— Как! Ждать почти целый год? Да ведь самое большее через три месяца наши войска будут в Берлине.

— Какой дурак тебе это сказал?

— Все говорят!

Он брезгливо поправляет на носу пенсне.

— Ты, папа, сомневаешься?

— По-моему, при таком количестве дураков и хвастунов будет очень трудно выиграть войну.

— Значит, вся Россия — хвастуны?

— Вся не вся, но... Словом, это не самая приятная черта нашего национального характера.

Под воинственную дробь двух барабанов по улице проходит маршевая рота. Отец пощипывает бородку. Это помогает ему сосредоточиться, довести мысль до логического конца.

— Ох и болваны все-таки!

— Кто, папа?

— Да наши с тобой современники. И мы в их числе. Вообразили, что живем в эпоху цивилизации, духовной культуры. Смешно! А сами в здравом уме стреляем один в другого, как в куропаток, режем, как петухов. Те после этого хоть для супа годятся.

Он вынимает из портсигара папиросу и разминает в ней некрепкий душистый табак:

— Нда... совершенно неоспоримо... лет через полтораста все эти наши пушки и пулеметы можно будет увидеть только

в музее. А экскурсовод 2164 года, показывая их ребятишкам, будет говорить: «Вот из этих орудий дикари, населяющие нашу землю в XX веке, истребляли друг друга...» Заведи-ка, Толя, будильник.

Изящные французские часы, сделанные при Наполеоне III, будили человека не обычным трезвоном, а ревом военной трубы.

— Спокойной ночи, папа!

Я завел будильник и, не удержавшись, сыронизировал:

— О варварстве нашей эпохи ровно в девять тебе напомнят твои любимые часы.

Он буркнул:

— Я давно собирался отнести их старьевщику.

А когда я перешагнул порог, отец вдруг рассмеялся в голос. Это было ему свойственно — сердиться, улыбаться или смеяться на свою мысль.

— Чему это ты, папа?

— Да так. Вспомнил один курьез. Видишь ли, в Риме в преддверии собора Святого Петра стоит конная статуя императора Константина.

— Что же тут смешного?

— Этот Константин приказал повесить своего тестя, удавить своего шурина, зарезать своего племянника, отрубить голову своему старшему сыну и запарить до смерти в бане свою жену... Вот за это он и попал в герои! Даже в святые. И не он один.

Я вернулся в комнату, почувствовав, что отцу хочется поговорить.

Он закурил.

— Так вот, мой друг, — всякий век чрезвычайно высокого о себе мнения. Так и слышу, как говорили в восемнадцатом: «В наш век! В наше просвещенное время!» Потом в девятнадцатом: «Это вам, сударь, не восемнадцатый век!» Или: «Сла-

ва богу, господа, мы живем в девятнадцатом веке!» И так далее, и так далее. А нынче? Бог ты мой, до чего ж расчванились! Только и трубят в уши: «В наш двадцатый век!», «В нашем двадцатом веке!» Ну и простофили!.. Дайка мне, пожалуйста, лист бумаги.

Я дал.

— И перо!

Я обмакнул в чернила и подал.

— Спасибо.

— Ты что, папа, завещание, что ли, писать собираешься?

Он молча положил лист на колено, согнутое под одеялом, и размашисто крупными буквами вывел:

«Я — Борис Мариенгоф — жил в XX веке. И никогда не воображал, что мой век цивилизованный. Чепуха! Еще самый дикий-предикий». И протянул мне записку, делово проставив день, число, месяц, год, город, улицу и номер дома.

— У меня, Толя, к тебе просьба: вложи это в пустую бутылку от шампанского, заткни ее хорошенько пробкой, запечатай сургучом, а потом брось в Суру.

— Слушаюсь, папа! — ответил я с улыбкой. — В воскресенье все будет сделано.

— Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и выловит.

Он погасил папиросу и снял пенсне:

— Все-таки приятно. Прочтут и, небось, скажут: «У этого мужчины на плечах голова была, а не арбуз. Как у многих его современников». А?

— Пожалуй.

— Ну, спокойной ночи, мой друг.

— Спокойной ночи, папа.

Свое обещание я сдержал и почему-то до сих пор верю, что отцовская бутылка еще плавает по Каспийскому морю, в которое, как известно, впадает Волга, а в Волгу — Сура.

История историей, война войной, Пенза Пензой.

Третий месяц мы ходим в театр, в кинематограф и гуляем по левой стороне Московской улицы всегда втроем: я, Тонечка Орлова и ее лучшая подруга Мура Тропимова.

О Тонечке я уже написал венок сонетов. Я сравнивал ее с июльским пшеничным колосом.

А ее лучшая подруга — коротенькая, широконькая, толстоносенькая и пучеглазая.

— Толя, подождем Муру, — лукаво говорит Тоня.

Я отдуваюсь:

— Уф!

— Но она очень веселая, добрая и совсем неглупая. Разве вы не согласны?

— Согласен, согласен.

«Лучшую подругу» я ненавидел лютой ненавистью только за то, что, Тоня без нее шагу не делала.

— Мурка Третья!.. Прицеп!.. Хвост!

— Что это вы там бурчите?

— Так. Несколько нежных слов о Мурочке.

И спрашиваю себя мысленно: «Почему у всех хорошеньких девушек обязательно бывают "лучшие подруги", и обязательно они дурнушки? Что за странное правило почти без исключений?

Хитрость?.. Случай?.. Ох, нет! Только не случай!.. Расчет, расчет!.. Математически точный женский расчет».

Вдруг у Мурки Третьей стрептококковая ангина. Температура сорок и пять десятых. Я сияю. Я танцую. Я на седьмом небе.

— Вы, Толя, ужасный человек!

— Чудовище!.. А вы знаете, Тонечка, что сказал Стендаль о влюбленных?

— Нет, не знаю.

—«Влюбленные, — сказал он, — не имеют друзей».

Идет снег.

Мы целуемся на Поповой горе под деревом, пушистым, как седая голова нашего гимназического попа, когда он приходит на урок прямо из бани.

Мы целуемся.

Тонечка шепчет, закрыв глаза:

— Милый!..

— Милая! — шепчу я с открытыми глазами.

И, взявшись за руки, со смехом бежим вниз, квартал за кварталом, чтобы целоваться под самыми окнами Сережи Громана. Он ведь очень нравственный юноша и принципиально возражает против «легкомысленных поцелуев».

— Безыдейные, Сережа? Ведь поцелуи тоже должны быть идейные? С плехановским направлением?

— Я говорю серьезно, Анатолий.

И он сердито надувает губы.

Опять забегу вперед: в восемнадцатом году Сережа женился на красивой, пышной, развратной до наглости женщине, вдове жандармского полковника, расстрелянного большевиками в Петрограде. Она ему, бедняге, на многое в жизни приоткрыла глаза. Даже слишком приоткрыла. Что я, целовавшийся на Поповой горе с «открытыми»! Куда мне! Я ведь даже при военном коммунизме в Москве, в «Стойле Пегаса» ни разу не понюхал белого порошка. А вот она моего пензенского плехановца и занюханным сделала. Ко всему прочему.

Вот и окна громановской квартиры.

Тонечка томно шепчет:

— Милый!..

— Милая!..

Моя первая пензенская любовь не изобиловала длинными разговорами.

— Толя, побежим целоваться перед окнами нашей гимназии!

Эта мысль приводит меня в восторг:

— Есть, Тонечка!

И снова бежим, взявшись за руки.

— Стоп!

Тонечка уже закрыла глаза.

До войны «абитуриенты», как называли тогда гимназистов последнего класса, строили всевозможные планы и пытались заглянуть в будущее. Так обычно перед началом любительского спектакля взволнованные исполнители ролей заглядывают в щелку занавеса.

А теперь?

«Ах, — сказал бы Николай Васильевич Гоголь, — все пошло, как кривое колесо».

Какие теперь планы? Какое будущее?

Вот оно, как на ладони: окончание гимназии без выпускных экзаменов, школа прапорщиков, действующая армия.

А уж разговаривать будем после войны, если только не угодим в братскую могилу. Впрочем, господа офицеры не без комфорта лежат в земле под собственным березовым крестом, если, на счастье, имеются березы поблизости. Лежат в собственной яме с нежно-розовыми червями.

Тонечка сжимает мою руку:

— Я пойду сестрой милосердия на тот фронт, Толя, где вы будете драться с немцами.

— Драться?

И убежденно повторяю слова отца:

— Я, Тонечка, не очень люблю убивать людей.

— Все равно придется.

— Вероятно.

Потом она задает мне важный вопрос:

— Толя, а какая любовь самая большая?

— Последняя.

— Почему?

— Потому, Тонечка, что всякая настоящая любовь кажется нам последней.

4

Отец спросил:

— Толя, ты бывал в шантане?

— Нет.

— Хочется пойти?

— Не прочь.

— Ну что ж, сегодня суббота, завтра гимназии нет, тебе можно поспать вдосталь. Пойдем в кафешантанчик.

— А меня из гимназии за это не выгонят?

— Авось не попадемся. В форме-то, конечно, не пустят. Обряжайся в мое.

— Можно, папа, в синюю тройку с искоркой?

— Валяй. И в демисезонное. Сегодня не холодно. Роста мы уже одного, да и в плечах тоже.

Наш пензенский кафешантан носил гордое имя «Эрмитаж». Помещался он на Московской, в том же квартале, что и Бюро похоронных процессий.

Половина двенадцатого мы сидели за столиком в общей зале, забрызганной розовым светом электрических лампионов, как пензяки называли тюльпановые люстры. В углах стояли раскидистые, мохнатые пальмы, такие же, как в буфетах первого класса на больших вокзалах. Но не пыльные. Стены были оклеены французскими обоями в голых улыбающихся богинях с лирами, гирляндами цветов вокруг шеи и какими-то райскими птицами на круглых плечах. Все богини, как по команде, стыдливо прикрывали левыми ручками то, что полагалось прикрывать после изгнания из рая.

Зал заполняли офицеры, преимущественно Приморского драгунского полка, черноземные помещики, купцы и «свободная профессия» — так величал простой люд врачей и ад-

вокатов. Немногие явились с женами в вечерних платьях провинциального покроя.

Отец заказал бутылочку «Луи Редера». Вовремя войны был сухой закон, и шампанское нам подали в большом чайнике, как Кнурову и Вожеватову в «Бесприданнице».

Я был торжественно-напряженным и чувствовал себя, как в церкви на заутрене в светло Христово Воскресенье.

Тучный тапер, с лицом, похожим на старый ротный барабан, яростно ударил подагрическими пальцами по клавишам фортепьяно. Сейчас же на сцену выпорхнула шансонетка.

На ней была гимназическая коричневая форма до голых пупырчатых коленок, белый фартучек, белый стоячий воротничок, белые манжеты. Вдоль спины болтались распущенные рыжие косы с голубыми бантиками.

Я маленькая Лизка,
Я гимназистка...
Тру-ля-ля!
Тру-ля-ля!
А вот, а вот — мои учителя!

И она полусогнутым «светским» мизинчиком показала на громадного жирного купца в просторном пиджаке, потом на усатого пожилого помещика с многолетним загаром до половины лба, потом на длинного лысого ротмистра в желтых кантах Приморского драгунского полка.

Обучалась я прилежно
Всем урокам вашим нежным.
Тру-ля-ля
Тру-ля-ля!
Вот, вот, вот — мои учителя!

И стала высоко задирать ноги, показывая голубые подвязки и белые полотняные панталоны, обшитые дешевыми кружевцами.

У «гимназистки» было грубо раскрашено лицо: щеки — красным, веки и брови — черным, нос — белилами. От этого она показалась мне уродливой и старой, то есть лет тридцати.

— Папа, как ты думаешь, сколько ей лет?

— Восемнадцать, девятнадцать... А что?

— Так.

Мне стало грустно за «гимназистку».

Справа, через столик от нас, сидели постоянные партнеры отца по винту: пензенский златоуст — присяжный поверенный Роберт Георгиевич Вермель и его жена Маргарита Васильевна — сорокалетняя упитанная дама. Щеки у нее были как мячики, а глаза — как две открытые банки с ваксой. Она поминутно обращала их в нашу сторону и что-то возбужденно шептала мужу, пожимая декольтированными пышными плечами. При этом длинные брови, похожие на земляных червей, все время шевелились.

Супруг, в знак согласия, величаво кивал большелобой головой и тоже пожимал плечами,

— Папа, здесь Вермеля.

— Я уже поздоровался с ними.

— По-моему, они здорово возмущены, что ты привел меня в кафешантан.

— Конечно, — невозмутимо ответил отец.

Я скрипочку имею,
Ее я не жалею.
И у кого хорош смычок,
Пусть поиграет тот разок, —

пищала с подмостков уже другая шансонетка — толстогрудая, толстоногая, в юбочке, как летний зонтик. Она так же,

как «гимназистка», была грубо раскрашена: щеки — красным, брови и веки — черным, нос, похожий на первую молодую картошечку, — белилами.

Я брезгливо заморщился.

— Тебе не нравится? — поинтересовался отец.

— А что тут может нравиться? Бездарно, безвкусно! — хмуро ответил я.

Маргарита Васильевна, поймав взгляд отца, сделала ему знак лорнетом.

— Пойду поцелую ручку у Марго, — сказал отец.

Шансонетка пищала, задирала до подбородка толстые ноги в стираном-перестиранном розовом трико.

Я скосил глаз на Вермелей: златоуст страстно ораторствовал, а Марго то выпускала из мячиков воздух, то вновь надувала их. Черви на лице шевелились.

«У-у, попадает батьке за меня!»

Тучный тапер неожиданно перестал стучать по клавишам.

Унылый зал снисходительно похлопал в ладоши.

До меня донесся спокойный голос отца:

— Анатолий все равно бы отправился в шантан. Вот я и решил: пусть уж лучше пойдет со мной, пойдем вместе.

Тапер опять принялся неистово шуметь. Шансонетка — пищать.

Когда отец вернулся, я сказал;

— Мне что-то скучно, папа.

— Домой хочешь?

— Да, если ты не возражаешь.

— Ну иди. Я еще часок посижу с Вермелями.

И он попросил лакея, зевающего в салфетку, перенести чайник с шампанским за их столик.

Отец взял ложу на концерт известного пианиста, приехавшего из Москвы.

— Пойдем, друзья, всей компанией, — сказал он.

— Спасибо, папа, за приглашение.

С музыкой у меня были отношения довольно странные. Когда я еще щеголял с ленточками в волосах, в Нижний приехал знаменитый скрипач Ян Кубелик. Почему-то он должен был выступать днем в том клубе, где отец ежедневно играл в винт.

Мама сказала:

— Я возьму Толю в концерт.

— Отлично.

Отец возражал в самых редких случаях. А по пустякам — того и в помине не было. Поэтому дом наш совсем не знал мелких «мещанских» ссор.

Меня одели в новое шелковое платьице с кружевами. «Господи, — молил я, — только бы Лопушка не встретить! Вот уж он завизжит на весь мир: “Девчонка! Девчонка!”»

Отец проводил нас до парадной двери:

— Наслаждайтесь, друзья мои.

Очевидно, из опасения, что я буду слишком громко выражать свои чувства, мама купила билеты на хоры.

Ян Кубелик играл, как мне показалось, бесконечно. Я смотрел сосредоточенно, слушал тихо. Мама была в восторге и от Яна Кубелика, и от меня. Вдруг я дернул ее за мизинец:

— Мамочка, а скоро он перепилит свой ящик?

Она посмотрела на меня с отчаянием, словно я внезапно заболел менингитом:

— Ах, Толя, какие ты задаешь странные вопросы!

Любопытно, что этому «странному вопросу» суждено было превратиться в анекдот. Очевидно, мама рассказала папе, он своим партнерам по винту, те — своим приятелям и сослуживцам... Короче говоря, ровно через двадцать лет мой «странный вопрос» докатился до московского кафе «Стойло Пегаса». В моем присутствии Вадим Шершеневич рассказал его Всеволоду Мейерхольду. Я даже весь зарумянился от гордости. Но своей тайны открыть не решился. «Все равно эти

скептики не поверят!» Поэтому лишь бросил небрежно: «У этого анекдота, Вадим, очень длинная борода».

«Ах, если бы и наша поэзия была так долговечна! — сказал я себе. — Нет, пустая надежда! Что может тягаться с глупостью? Только она бессмертна!»

А вот еще разговор о музыке.

Мы гуляли с отцом по двухъярусному залу Главного дома Нижегородской ярмарки. Играл военный оркестр. Некоторое время я терпел это мужественно.

Потом стал тащить отца за палку с набалдашником из слоновой кости:

— Папочка, уйдем отсюда.

— Ты устал, Толя? Хочешь домой?

— Нет, не хочу, не хочу! Мы опять сюда вернемся... скоро... когда они перестанут шуметь.

И я показал пальцем на блестящие медные трубы, изрыгавшие несносный шум.

— О, брат, да из тебя Бетховен вырастет! — сказал отец без улыбки. Очевидно с музыкой у меня происходило то, что бывает с куреньем, от первой папиросы тошнит, а после десятой становишься заядлым курильщиком. Надо только втянуться.

Когда в Пензу приехал на гастроли московский пианист, я уже более или менее втянулся в музыку, которую Кнут Гамсун называл «водкой проклятых».

Отец продолжал:

— Если хочешь. Толя, пригласи свою даму. В ложе есть свободное место.

— Благодарю, папа.

А ночью после концерта я спросил:

— Она тебе понравилась, папа?

— Очень.

— Правда?

— Прелестная девушка.

Я, конечно, засветился. Значит, поэт Анатолий Мариенгоф ничуть не преувеличивал. Тонечка действительно похожа на золотой пшеничный колос, обласканный теплым солнечным небом, омытый проливными дождями и вскормленный тучным пензенским черноземом. Так было написано в моем сонете.

— Я давно не видел таких розовых девушек, — продолжал отец, отстегивая крахмальный воротничок от похрустывающей сорочки.

— Розовой?.. — настороженно переспросили.

Отец кивнул головой

— У нее, наверно, великолепное здоровье! Даже ветряной оспы в детстве не было.

И, сняв ботинки, взял ночные туфли, вышитые бисером и купленные еще в Нижнем Новгороде у рукодела — монаха Печорского монастыря.

— О, сейчас она прелестна! Сейчас она очаровательна!

— А потом, папа?

Мой голос прозвучал робко и умоляюще.

— Потом?..

Отец положил на мое плечо большую ласковую руку:

— А потом... верная, любящая жена и отличная мать пятерых детей. Потом... умная и доброжелательная теща. А ведь это довольно редкое явление. И наконец, добрейшая бабушка целого выводка внучат... Проживет она долго — лет до девяноста. Еще и правнуков воспитывать будет.

Отец снял пенсне и стал играть ими. У взрослых тоже имеются свои игрушки.

— Вот и погадал тебе на воображаемой кофейной гуще.

Он ни в какой мере не хотел покушаться на мою любовь, но этими словами ранил ее смертельно.

Это случилось еще и потому, что за три дня до ночного разговора Тонечка показала мне свой семейный альбом. На

большой глянцевой фотографии ее покойной мамы (она погибла при крушении поезда) я увидел мою Тоню. Бывает же такое поразительное сходство! Я увидел Тоню — поблекшую, рыхлую, с двумя подбородками и черепаховым веером в полных пальцах, унизанных кольцами. А на следующем листе (ох, какая коварная вещь эти семейные альбомы!) я увидел Тоню в пожелтевшем портрете ее бабушки — грузной, седой, морщинистой старухи с добрыми вылинявшими глазами в больших очках. Обычно такие очки придают суровость лицу. Но тут даже они были бессильны преобразить природу.

Бабушка еще здравствовала, но мне повстречаться с ней не довелось. Старуха, держась старины, выезжала только в свою приходскую церковь Трех Святителей, где и венчалась она ровно шестьдесят пять лет тому назад.

Однажды отец спросил меня:

— Как ты считаешь — Тонечка умна?

— Видишь ли, папа, Тургенев о своей Виардо говорил: «Она так умна, что не только видит насквозь человека, но и спинку кресла, на котором он сидит». Ни за какие коврижки я бы не женился на такой женщине.

— Боже упаси! — воскликнул отец, хватаясь за голову.

Прошло, пожалуй, не меньше месяца.

— Вот, Настя, что получается, — тихо закончил я свою любовную исповедь, — в моей, стало быть, любви червячок завелся. Как в папином александровском бюро.

Настенька задумчиво почесала в волосах штопальной спицей:

— Ничего тут не поделаешь, Анатолий Борисович. Пролитого уж не поднять.

И утешила, заглянув в комнату отца:

— У Бориса Михайловича пасьянс вышел. Хороший знак!.. Пожалуйте-ка за стол. Самовар давно из себя выходит.

Теперь бы о Тонечке я сказал шуточными строчками, к сожалению, не моими:

Молодуха, молодуха,
Много тела, мало духа.

Сегодня торжество в нашем «обжорном зале»: окна вымыты, полы натерты воском, прилавок с холодными пирожками вынесен вон, а вместо него стоит длинный стол, покрытый синим сукном с золотой бахромой.

За столом — директор, поп в шелковой рясе и все педагоги. Они подстриглись, подровняли усы и бородки, пахнут цветочным одеколоном. Выглядят хотя и торжественно, но несколько поглупевшими, как это обычно бывает с людьми, только что вышедшими из парикмахерской. Директор в новом сюртуке; на шее какой-то орден, а через живот — толстая золотая цепь со множеством брелоков. При малейшем движении директор звенит, как положенный на крышку гроба венок с железными цветами. Но от этого погребального звона не делается тоскливо на душе, потому что на синем сукне с золотой бахромой высится порядочная стопка аттестатов зрелости.

С величавой скрипучестью в голосе директор вызывает к длинному столу счастливых выпускников.

У меня чуть-чуть замирает сердце.

— Ма-ри-ен-гоф.

О, как я ждал этой минуты!

Стараюсь приблизиться к столу неторопливо, спокойно и с иронической улыбкой, которой я уже научился прикрывать себя в сложных и неприятных жизненных обстоятельствах.

А ведь они приходят очень рано. Чуть ли не в тот день, как принимаются купать человека в цинковой ванночке, и мыло попадает ему в глаза, и человек начинает горько плакать, орать, реветь от боли, обиды и гнева.

Я все это отлично помню. Помню свои чувства и свои мысли (да, да, свои мысли!) в эти драматические минуты. Причем помню гораздо лучше, острей, чем то, что случилось со мной, приближающимся к старости, лет пять тому назад.

А может, это все мое воображение. Ведь уверял же Андрей Белый, лично меня горячо уверял, что он помнит себя в животе матери.

Директор, издавая трубные звуки, сморкается в большой белый платок голландского полотна, хотя никакого насморка у господина Пономарева нет.

— Поздравляю, мой друг, с окончанием гимназии.

— Благодарствуйте, Сергей Афанасьевич.

— Желаю вам с честью защищать царя и отечество от тевтонских орд.

Потом величаво встает поп, шурша своей шелковой рясой:

— Сын мой, да не оставит тебя Всевышний на ратном поле!

Я наклоняю голову и мысленно говорю: «Куда угодно — к черту, к дьяволу, на ратное поле, будь оно проклято, только б выскочить из вашей гимназии».

Поп благословляет. Педагоги благосклонно улыбаются.

— Вот-с! — сипит господин Пономарев. — Вот-с...

И церемонно вручает мне аттестат, который шелестит в руках, так как напечатан на отличном пергаменте.

Сколько огорчений, волнений, головной боли, сколько дней, месяцев и лет, выброшенных на ветер, из-за этого листа голубой казенной бумаги, ничего не говорящей о человеке!

...27-го мая 1916 года, при отличном поведении, окончил полный восьмиклассный курс, причем обнаружены нижеследующие познания:

Закон Божий... три (3)
Русский язык с церковно-славянским и словесность... три (3)
Философская пропедевтика... три (3)

Математика... три (3)
Математическая география... три (3)

И так далее — три, три, три, три...

— Распишитесь, мой друг, в получении аттестата.

Я ставлю четкую подпись.

Директор смотрит, и глаза у него становятся скорбными, страдальческими.

В чем дело?

Оказывается, по домашней привычке, установившейся со времен нашего журнала с плехановским направлением, я не поставил твердый знак в конце фамилии.

— Ну, вот-с... — сокрушенно качает директор своими почтенными сединами, — вы, господин Мариенгоф, окончили гимназию, аттестат зрелости у вас в руках, вы вольный человек и теперь можете писать без твердого знака!

Мне делается по-человечески жаль старика:

— Простите, Сергей Афанасьевич. Это я по рассеянности. Разрешите, поставлю.

— Сделайте милость, голубчик, уважьте. Уважьте на прощанье.

— Да, да...

Беру костяную ручку и ставлю жирный твердый знак, столь дорогой его педагогическому сердцу.

Сергей Афанасьевич доволен, успокоился:

— Спасибо, мой друг, спасибо!

А через семнадцать месяцев произошла Октябрьская революция. Одни ли твердые знаки она уничтожила?

Я опять забегаю вперед.

Москва.

Военный коммунизм.

— К вам, Анатолий Борисович, гость! — уважительным голосом сообщает соседка по коммунальной квартире в Богословском переулке.

Выхожу в полутемный коридор.

— Сергей Афанасьевич!..

Сам не понимаю почему, но я очень обрадовался:

— Милости прошу!.. Пожалуйста!.. Пожалуйста, заходите...

И распахиваю дверь в комнату.

Мой бывший директор несколько похудел. Голова и бородка стали как декабрьский снег, только что выпавший. Но выглядит старик, как говорится, молодцом.

— Я учительствую, — сообщает он, — в той же нашей с вами гимназии... Преподаю российскую словесность юным большевикам... Отрокам и девицам... Славные ребята.

Мысленно улыбаюсь этому слову — новому для Сергея Афанасьевича. Нас он называл «господами».

— Да, любопытные ребята... И, знаете, даже не командуют мной, а вроде как я ими. Ладим, ладим.

Разговор переходит на политику.

— Если толком разобраться во всем, что происходит, — продолжает Сергей Афанасьевич, — можно прийти к выводу, что большевики осуществляют великие идеи Платона и Аристотеля. «Все доходы граждан контролируются государством»... Так это же Платон!.. «Граждане получают пищу в общественных столовых»... И это Платон! А в Фивах, как утверждает Аристотель, был закон, по которому никто не мог принимать участия в управлении государством, если в продолжение десяти лет не был свободен от занятия коммерческими делами... Разве неправильно? Какие же государственные деятели из купцов? Мошенники они все, а не государственные деятели!

Мне становится весело.

— А как же, Сергей Афанасьевич, с твердым знаком? — спрашиваю не без ехидства. — Помните, как вы огорчились, когда я отменил его при получении аттестата зрелости?

Старик добродушно смеется. Он все помнит.

— Теперь, друг мой, прошу просветить меня светом имажинизма. Все манифесты ваши прочел, все книжицы ваши у меня имеются, да как-то не в коня корм.

Мне приходится держать ответ перед директором Третьей пензенской гимназии, принявшим Октябрьскую революцию через Платона и Аристотеля.

5. 1916 год

Западный фронт.

Наша инженерно-строительная дружина сооружала траншеи третьей линии, прокладывала дороги и перекидывала бревенчатые мосты через мутные несудоходные речки.

Шла позиционная война — ни вперед, ни назад. Офицеры напивались медицинским спиртом, играли в карты и волочились за сестрами милосердия из ближайших полевых госпиталей. Солдаты били вшей и скучали. Кто по чему. У каждого была своя скука. Перед заходом солнца по какой-то нелепой привычке бесцельно стреляли пушки — немецкие и наши. А со снарядами у нас было худо.

В лазаретах бездельничал врачебный персонал. В 27-м эпидемическом занято было несколько коек дизентерийными. Мы жили, как на даче: охотились, ловили рыбу, играли в покер. У меня была двуколка польского образца и под седлом длинноногий злой жеребец по имени Каторжник. Он обожал, надо не надо, вставать на дыбы или лягаться обеими задними. После ужина мы отправлялись целоваться в 27-й эпидемический. Либо сестры приезжали к нам. Но и это надоело. Тогда сообща затеяли спектакль. В несколько дней я написал свою первую пьесу. Двухактную, в стихах — «Жмурки Пьеретты». Сережа Громан справедливо за безыдейность испепелил бы ее молниями своего общественного гнева. Но врачам, инженерам, офицерам и сестрам милосердия «Жмурки» нравились. Вероятно, тоже за безыдейность,

так как никто из моих персонажей никого не уговаривал драться с немцами до последней капли крови. А кавалерийский генерал Ломашевич просто таял в эстетическом восторге. Живот у кавалериста был как на девятом месяце. Шея толстая, короткая, красная. «Хоть оладьи пеки на ней», — сказала бы Настенька. Нос приплюснутый, с легким наклоном в левую сторону. Будто генерал смотрел на улицу, прижавшись к стеклу, а когда отошел — мягкий нос его, вылепленный из фарша для пельменей, так и не расправился. Но святое искусство его превосходительство обожал смертельно. «Я, видите ли, первый театрал на всю Астрахань!» — с гордостью повторял он после каждой выпитой рюмки, вернее, баночки, — потому что пили мы разбавленный спирт из баночек, которые при люмбаго ставят на поясницу.

— Как это вы сочиняете? Ну как? Как? — допытывал меня генерал. — Да еще в стихах! Да еще не о людях обыкновенных, а, видите ли, про арлекинов и пьеретт!

Откуда было знать его превосходительству, что всего трудней писать о самых обыкновенных людях?

Генералу я искренне симпатизировал и очень хотел объяснить таинственный процесс поэтического творчества, но из этого ничего не получалось.

— Туманно-с... Туманно-с, господин поэт, — досадовал генерал.

Это происходило более сорока лет тому назад. Спрашивается: а сумел бы я объяснить теперь? Вряд ли.

Так провоевал я Первую мировую войну. Молитва нашего гимназического попа, очевидно, была услышана: Всевышний не оставил меня на ратном поле.

Ну а если говорить серьезно? Ведь в человеческой жизни все бывает не с брызгу. Почему же я воевал так противно? Перетрусил, что ли? Не захотелось пупком вверх лежать раньше времени? Да нет! Помнится, мне всегда нравилось

поиграть со смертью в орла и решку. Пофорсить, пофигурять. Разумеется, если бывали зрители. Особенно пофигурять при сестрах милосердия. Когда немецкий аэроплан бросал бомбы на 27-й эпидемический, отмеченный большим красным крестом, и все, запыхавшись, лупили в блиндаж, я довольно спокойно покуривал на крыльце фанерного дома и с преувеличенным интересом смотрел на разрывы шрапнелей вокруг летающего мерзавца.

А сестры перешептывались:

— Ах, какой он бесстрашный! Ну просто душенька!

Душенька-душенька-душенька наш Анатоль!

В свое время, то есть в XVI веке, Монтень писал: «Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос». Со мной, к счастью, этого никогда не случалось. Поэтому, говоря по-честному, я не могу назвать себя ни жалким трусом, ни отчаянным храбрецом.

Об Октябрьской революции я узнал в железнодорожном вагоне — ехал домой в Пензу, в отпуск.

Поезд был в гнетущем противоречии с ритмом мятущихся дней. Безудержные события неслись, мчались, обгоняя друг друга. А выпавший из графика поезд волочил свои неподмазанные колеса, как разбитые параличом ноги.

То и дело горели буксы. На полустанках, где полагалось стоять минуту, мы застревали на часы.

Я смотрел в окно, забрызганное дождем, и думал стихами Александра Блока:

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Ветряные мельницы испуганно махали деревянными руками. Трепещущие осины плакали красными листьями. Они

казались кровавыми. Паровозы выли в истерике. Грузные чернокрылые птицы, похожие налетающие попарно маленькие рояли, кружили над мокрыми полями, словно ожидая трупов в — Тульской, Тамбовской, Пензенской губерниях: «Вот, мол, и здесь мы скоро полакомимся».

Вот когда воронье любит кретинские человеческие бойни, это мне понятно. Очень понятно. А когда...

— Ты пацифист! Паршивый пацифист! — презрительно говорили мне лет сорок и после 1917 года.

Да!

Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...

Опять Блок. Куда от него деваться?

Припомнилась гимназия, Сережа Громан, два толстых тома «Капитала», брошюры в красных обложках, юношеский дневник и записи в нем.

«Ну, вот, — шептал я себе, — это она, твоя революция. Революция полусытых, революция одетых в лохмотья. Тех, что работают на бездельников».

Потом спрашивал себя: «Ну, господин честной человек, скажи-ка по совести — нравится?.. Где ты?.. С кем **ты?»**

И отвечал дерзко: «С ней!»

Поезд трогался.

Небо было измазано солнцем, как йодом.

Мысли переносились на отца, от которого больше месяца не получал писем: «Жив ли?.. Здоров?.. Как он там?..»

Наконец на пятые... нет, ошибаюсь, — на шестые сутки я прибыл в Пензу, уже большевистскую.

Вечер. Холодный дождь. Платформа — серая от солдатских шинелей.

В зале первого класса, который уже ничем не отличался от зала третьего класса, ко мне подошел немолодой солдат,

похожий на Федора Михайловича Достоевского. Левый пустой рукав был у него засунут в карман шинели.

Солдат властно распорядился:

— Эй, гражданин офицер, содерите-ка свои погончики!

К этим «погончикам» я никогда не испытывал особой привязанности, но тут уж больно пришлась не по нутру солдатская властность.

— Что-то не хочется, — сказал я с наигранным спокойствием. — Нет. Не «содеру», дорогой товарищ.

В зале, переполненном солдатами — однорукими, одноногими, ненавидевшими золотопогонников, — это была игра с огнем над ямой с порохом.

Вот чертовщина! И перед кем играл? Сестер-то милосердия поблизости не было.

Вероятно, закусив удила, подобно моему норовистому Каторжнику, я встал на дыбы только из чувства противоречия. Проклятое! До гробовой доски оно будет мне осложнять жизнь, портить ее, а порой ломать и коверкать.

— Э-э!.. — И солдат, похожий на Достоевского, посмотрел на меня с каким-то мудрым мужицким презрением.

— Что «э-э-э»? — позвякивая шпорой, спросил я.

Вместо ответа солдат презрительно махнул своей единственной рукой и отошел в сторону, даже не удостоив меня матерным словом.

Этого, признаться, я ожидал меньше всего. Стало стыдно.

Настенька сказала бы: «Запряг прямо, а поехал криво».

«Интеллигентишка паршивый!» — выругался я мысленно.

И как только солдат затерялся в толпе, я со злостью содрал с бекеши свои земгусарские погоны.

В революции извозчичья лошадь сдала раньше человека.

К нашему дому из некрашеного кирпича на Казанской улице я не подкатил, а приплелся на бывшем лихаче.

Отец лежал в кровати, вытянувшись в стрелку и подложив левую руку под затылок. Я сидел у него в ногах.

Сквозь тяжелые шторы уже просачивалось томленое молоко октябрьского рассвета.

Незаметно мы проговорили часов восемь.

— Да, Толя, — заключил он, — ты был очень похож на глупого майского жука, который, совершая свой перелет, ударяется о высокий забор и падает в траву замертво.

На кухне Настенька уже звенела ножами, вилками и медной посудой.

— Ты сегодня красиво говоришь, папа! — сказал я с улыбкой.

— Стараюсь!.. Дайка мне папиросу.

Я подал и зажег спичку.

— Спасибо. Вообще, мой друг, советую тебе пореже ссориться с жизнью.

Он затянулся.

— Какой смысл из-за пустяков портить с ней отношения?

И добавил, постучав ногтем о толстый мундштук, чтобы сбросить пепел:

— Ей что? Жизнь идет своим шагом по своей дорожке. А ты наверняка в какой-нибудь канаве очутишься с переломанными ребрами.

— Обязательно! И не раз, папа.

Эти слова мои оказались пророческими. Но кто же на этом свете слушается умных советов?

6

По новому стилю, еще не одолевшему старый, уже кончался ноябрь.

Они сидели за ломберным столом, поджидая четвертого партнера.

Можно было подумать, что в России ничего не изменилось, а уже изменилось все. Но люди и вещи по привычке еще находились на своих местах: высокие стеариновые свечи горели в бронзовых подсвечниках; две нераспечатанные ко-

лоды карт для винта и пачка красиво отточенных мелков лежали на зеленом сукне ломберного стола.

— А мне нравятся большевики! — сказал отец, вынимая из серебряного портсигара толстую папиросу.

— Вам, Борис Михайлович, всегда нравится то, что никому не нравится, — небрежно отозвался Роберт Георгиевич.

Марго (так называли Вермельшу близкие люди), нервно поиграв щеками, похожими на розовые мячики, добавила желчно:

— Борису Михайловичу даже «Облако в штанах» нравится... этого... как его... ну?

— Владимира Маяковского, — мягко подсказал отец.

— Что? — ужаснулся знаменитый присяжный поверенный. — Вам нравится этот бред сивой кобылы?

— Талантливая поэма.

— Талантливая?

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий, —

с улыбкой прочитал отец по памяти, на которую не мог пожаловаться.

— Типичнейший большевик! Этот ваш... Ну, как его?

— Маяковский, Маргарита Васильевна, — подсказал отец с тою же улыбкой, без малейшего раздражения.

— Вся их нахальная психология тут. В каждом слове! В каждой букве!

И у Марго от возмущения даже заискрились ее открытые банки с ваксой.

— По всему видно, что ваш... — запнулась она, — ... Маяковский тоже на каторге воспитывался.

А Роберт Георгиевич шикарно захохотал. Он был эффектер, как говорили в XIX веке.

— Уф-ф!.. Насмешил, Борис Михайлович!.. Насмешил!..

У златоуста буйно росли волосы на руках, в ушах, в носу, словом, везде, где они не слишком были нужны, и упрямо не росли на голове, где было их законное место. Это еще увеличивало его лоб, и без того непомерный.

— И эта гнусь, родной мой, называется у вас поэзией?

— Такой уж у меня скверный вкус, Роберт Георгиевич, — как бы извиняясь отвечал отец.

— Не смею возражать, не смею возражать.

И златоуст, очень довольный своей репликой, нежно погладил лысину, желтую и блестящую, как паркет, только что натертый.

Огромные лбы принято считать чуть ли не признаком Сократовой мудрости. Экой вздор! В своей жизни я встречал ровно столько же высоколобых болванов, сколько и умников, в числе которых, надо сказать, довольно редко оказывались краснобаи.

— Нет, господа, с большевиками я даже на биллиарде играть не согласен! — всюду заверял Роберт Георгиевич своих судейских коллег и партнеров по винту.

— Этого еще не хватало! — фыркнула Марго. — Нашел себе подходящую компанию.

Следует заметить, что большевики тогда не нравились и доктору Петру Петровичу Акимову, которого сейчас поджидали. А ведь про доктора не только в гостиных и в клубе, но и на базаре всегда говорили: «У-у, это голова!»

Когда к Петру Петровичу приходил пациент с больным сердцем и спрашивал: «Доктор, а коньячок-то небось, мне теперь пить нельзя?.. И курить, небось, — ни-ни?.. И насчет дамочек...» — Петр Петрович обычно клал такому пациенту на плечо свою костистую руку и внушительно поучал: «Са-

мое вредное для вас, дорогой мой, это слово “нельзя” и слово “ни-ни”. А все остальное — Бог простит... И я вслед за ним».

По уверениям пензяков, больные уходили от умного терапевта почти здоровыми. Я бы, например, добавил: «Психически». А ведь и это немаловажно.

Да и прочие медицинские советы Петра Петровича, по моему разумению, были прелестны.

«Вам, батенька, — наставлял он свежего пациента, — прежде всего надо к своей болезни попривыкнуть. Сроднить-ся с ней, батенька. Конечно, я понимаю, на первых порах она вам кажется каким-то злодеем, врагом, чудовищем. Чепуха, батенька! Вот поживете с ней годик-другой-третий, и все по-хорошему будет. Уж я знаю. Даже полюбите ее, проклятую эту свою болезнь. Станете за ней ухаживать, лелеять ее, рассказывать про нее. Вроде как про дочку. Приятелям своим рассказывать, родственникам, знакомым. Да нет, батенька, я не смеюсь, я говорю серьезно. Честное слово. И чем раньше это случится, тем лучше. Вообще, батенька, в жизни философом надо быть. Это — самое главное. Обязательно философом... Хочешь не хочешь, а к полувеку надо же какую-нибудь болезнь иметь. Помирать же от чего-нибудь надо. Так ваша болезнь, батенька, не хуже другой. Даже, на мой глаз, посимпатичней».

Пациент сначала смеялся, потом сердился на Петра Петровича, потом говорил: «Такого врача и в Москве не сыщешь!» И, привыкнув к своей болезни, наконец помирал, как и все другие пациенты на этой планете.

Однако вернемся к политике, которая тогда занимала все умы.

Так вот: Роберту Георгиевичу с супругой большевики не нравились, Петру Петровичу тоже, Сергею Афанасьевичу Пономареву... ну, конечно же! Словом, как это ни грустно, но знаменитый на всю губернию присяжный поверенный был

совершенно прав, когда заявлял, что они «никому не нравятся». Разумеется, надо понимать под словом никому солидную пензенскую интеллигенцию.

Звонок продребезжал у двери.

— Вот и Петр Петрович, — сказал отец. — Это его колокол.

Настенька живой рукой, по ее любимому выражению, кинулась отворять парадную дверь.

— Пожалуйте, доктор, пожалуйте! Вас заждались!

— А я, лапушка, к приятелю своему заезжал, к провизору Маркузону, — хрипел в ответ доктор. — К чудотворцу Абраму Марковичу. Вот...

И по установившемуся обычаю, он засовывал в карман ее белоснежного фартучка пузырек с персиковым ароматным маслом.

— Вот секрет твоей красоты. На сон, грядущий перед молитвой в щеки втирай, лапушка, в щеки и в нос... пять капелек.

— Ой, спасибо, Петр Петрович!

А из гостиной, состроив кислую гримаску обиды и, шевеля бровями, мурлыкала Марго:

— Опять, доктор, на полчаса опоздали!

— Доктор всегда опаздывает, — поддержал знаменитый оратор свою супругу. — Он и к своему больному является через пять минут после его смерти.

— Хи-хи-хи!.. Хи-хи-хи!.. — этаким валдайским бубенчиком аккомпанировала Марго.

— Поверьте, господин Демосфен, к вам я приеду вовремя: к самому выносу, батенька, вашего величественного тела! — неласково отозвался доктор, снимая возле вешалки высокие суконные боты, изрядно забрызганные знаменитой пензенской грязью — черной, как осенняя ночь.

Партнеры разошлись в начале второго.

Задув стеариновые свечи на ломберном столе, Настенька грустно спросила:

— Небось, барин, опять проигрались?

Отец, как всегда, отвечал несколько сконфуженно:

— Сущие пустяки.

— Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра...

Глубоко вздохнув, Настенька стала собирать в колоду небрежно разбросанные карты.

— Папа, а ведь он совсем не умен, выражаясь мягко.

Отец, разумеется, сразу понял, о ком я говорю.

— Тебя это удивляет?

— Ну, как-никак — присяжный поверенный, оратор, именьице уже заработал и четырехэтажный каменный дом.

— Видишь ли, я давно убедился, что процент дураков во всех профессиях примерно один и тот же.

— Не понимаю.

— Ну, допустим, если ты возьмешь десять министров — добрая половина обязательно дураки. Десять купцов — пропорция та же. Десять полотеров или дворников — картина не изменилась. Десять миллионеров, десять бедняков — тот же закон природы. Совершенно железный закон.

— Парадокс, папа?

— Избави меня Бог!

Действительно, на этот раз его глаза не были окружены веселыми насмешливыми морщинками. Он явно говорил то, что продумал, в чем убедился, наблюдая жизнь сквозь стекла пенсне в золотой оправе.

— Поэтому, мой друг, вероятно, Герцен и советовал считаться с глупостью как с огромной социальной силой.

И, сняв пенсне, презрительно добавил, продолжая думать о Роберте Георгиевиче:

— Н-д-а-а, патриот Российской империи!

И так как у нас в доме было что-то вроде семейного культа Вильяма Шекспира, заключил цитатой из него:

Он уверял, что если б не стрельба,
То сам бы, может быть, пошел в солдаты.

Я представил себе эту картину: Роберт Георгиевич в бескозырке набекрень и с винтовкой на плече — «шагом марш!..»

И в голос рассмеялся.

— Ты что?

— Да так, папа. Обожаю Шекспира. До чего ж умен!

А напоследок, как всегда в те недели, мы поговорили о русской интеллигенции.

— Вот, — сказал отец, — к примеру, Марго. Через каждые десять фраз у нее: «Мы — русская интеллигенция!», «Мы — образованные люди!» Ну какая она, в сущности, «мы — интеллигенция!», какая — «мы — образованные люди!»? Да что она знает, эта барыня, толстокожая, как плохой апельсин? Что у нее после гимназии осталось в голове? Что помнит? Ну, скажем, о древних римлянах? Да, кроме того, что Нерон ради красивого зрелища Рим поджег, ничего она больше не знает, ничего не помнит. Ну, разве еще, что римляне на пирах для облегчения желудка вкладывали два пальца в рот и тошнились. Вот и все. Вот и все ее познания о римлянах. И о древних афинянах не больше, и о французах Средневековья, и о Пушкине. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» И — тпру! А ведь таких у нас интеллигентов, как Марго, — девяносто процентов.

— Это твое общество, папа, — уколол я.

— Увы! Но остальные десять процентов нашей интеллигенции, пожалуй, даже получше, пошире будут, чем европейские. А почему?

— Ну-с?

— Да потому, что мы не можем сразу заснуть, как легли в постель. Нам для этого необходимо с полчасика почитать. Это убаюкивает. Сегодня полчасика, завтра, послезавтра... так из

года в год. Глядь, и весь Толстой прочитан, и весь Достоевский, и весь Чехов. Даже Мопассан и Анатоль Франс. Вот мы и пошире и поначитанней французов и немцев. Те засыпают легче.

— Что-то, папочка, ты сегодня ядовит.

— Ага, — усмехнулся он, — как змий библейский. Только малость поглупей.

— Кокетничаешь, папочка.

— А что делать?

Под самым потолком плавали голубовато-серые облака папиросного и сигарного дыма. Как нетрудно догадаться, «Гавану» курил знаменитый присяжный поверенный. Это импонировало его клиентам. Вторые рамы еще не были вставлены.

Я подошел к окну и распахнул его настежь. В беззвездную ветреную черную ночь. Социалистическая революция уже погасила все керосиновые фонари на нашей Казанской улице.

7

Чехословацкие белые батальоны штурмовали город.

Заливая свинцом близлежащие улицы, они продвигались от железнодорожной насыпи обоих вокзалов: «Пенза 1-я» и «Пенза 2-я», — то есть от пассажирского и товарного.

Падали квартал за кварталом, улица за улицей.

Настенька ходила хмурая.

— Одолевают, сукины сыны. Ох, одолевают!

Отступающие красноармейцы втащили пулемет на чердак нашего дома.

Мы только что пообедали. Вдвоем. Сестра гостила у подруги где-то на Суре. Отец аккуратно сложил салфетку, проткнул ее в серебряное кольцо с монограммой и встал из-за стола:

— Спасибо, Настенька. Спустите, пожалуйста, шторы у меня в спальной.

— Сию минуточку, — ответила она шепотом.

После первых же орудий выстрелов. Настя почему-то стала говорить шепотом и ходить на цыпочках.

— Я прилягу на пол часика, — сказал отец, развязывая галстук.

Мне думается, что, если б даже мир перевернулся вверх тормашками, отец все равно после обеда прилег бы вздремнуть «на полчасика».

Кстати, я полностью наследовал эту его привычку: говорю те же слова и так же развязываю галстук, перед тем как растянуться на тахте.

Настенька подала ночные туфли, вышитые бисером:

— Отдыхайте, барин. Все приготовлено, — опять прошептала она.

— Пожалуйста, Толя, не вертись возле окон.

— Хорошо.

— Пуля — дура, как тебе известно.

Отец притворил за собой дверь спальной.

— Тут из пушков по нас стреляют, а они спать. Бесстрашные какие-то.

— Спускайтесь, Настенька, в подвал, — предложил я.

— Да нет, у меня посуда не вымыта.

Она прошла в кухню на цыпочках.

Артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь усиливался с каждой минутой. Я нашел в ящике письменного стола перламутровый театральный бинокль и, протерев стекла замшевой полоской, засунул его в нижний карман френча.

— Куда это вы собрались, Анатолий Борисович?

— В театр, Настенька. Сегодня очень интересный спектакль у нас в Пензе. Бой на Казанской улице.

— А что на это барин скажут?

— Ничего не скажет. Папа уже спит.

В задний карман синих диагоналевых бриджей я положил маленький дамский браунинг. Его пульки были величиной с

детский ноготь на мизинце. Более грозного оружия в доме не оказалось.

— Пойду все же прислушаюсь. А вдруг барину не спится.

— Этого быть не может. Дайте-ка мне, Настенька, папирос побольше... для товарищей.

Вернувшись с папиросами, она прошептала:

— Уснули. Как безгрешное дите, посапывают.

— Вот и превосходно.

Со спокойной душой я полез на чердак защищать социалистическую революцию. Красноармейцы почему-то не послали меня к черту. Только один — большой, рыжебородый, с отстреленным ухом — добродушно пошутил, остужая пулемет из Настиного зеленого ведра:

— И бородавка телу прибавка.

— Это точно! — поддержал его молодой пулеметчик.

И закурил мою папиросу.

Вдруг снизу, с улицы донесся голос отца:

— Анатолий!..

Говорят: «Сердце матери». А отца?.. Вот им, этим сердцем отца, он, очевидно, почувствовал, что я вышел на улицу. И сразу же, накинув пиджак, пошел вслед за мной, чтобы вернуть «сыночка» под защиту кирпичных стен.

— Анатолий!

— Что, папа?

— Ты стреляешь?

— Нет.

— А что делаешь?

— Смотрю в бинокль.

— Товарищи... — обратился отец к красноармейцам, — он вам нужен?

Молодые молчали. А большой, безухий опять пошутил с добрым глазом:

— Ни дудочка, ни сопелочка.

Это, думается, относилось ко мне.

Улица была мертвой, и только со шмелиным жужжанием (совсем не страшным, я бы даже сказал, мирным, лирическим) летали невидимые пули — «белые» со стороны вокзалов, «красные» от собора.

— В таком случае, Анатолий, — скомандовал отец, — немедленно марш домой!

Это были последние папины слова.

Через секунду, истекая кровью, он лежал на пыльных булыжниках мостовой.

— Такая уж судьба, — глухо сказал рыжебородый. — Такая стерва!

И под его грузными сапогами заскрипели чердачные ступеньки.

Пуля попала в пах левой ноги. Кровь била из раны широкой струей. Мы с рыжебородым осторожно перенесли папу в дом и положили на узкий диван в гостиной.

Настя стояла как деревянная, прижав обе ладони к щекам.

Рыжебородый туго перевязал рану тремя полотенцами. Они сразу стали буро-багровыми.

Папа не стонал. Тяжелые восковые веки закрывали глаза.

— Да не пужайся ты, не пужайся. В беспамятстве батя твой. Это, милый, с того, что крови много повытекло, — успокаивал рыжебородый. — Тута ведь самая толстая жила проходит. Ар-те-ри-ей, значит, звать ее.

И распорядился:

— Дай-ка, Настенька, еще полотенцев.

Из меня тоже как будто вытекала кровь широкой струей.

— А теперь, милой, слетай-ка поблизости в пожарную часть. Может, тебе и дадут лошадь с телегой. Надобно твоего батю в лазарет везть.

Я без надежды, без веры в спасенье выбежал из дома. Пули жужжали.

Рыжебородый кричал вдогонку:

— К стенкам прижимайся!.. К стенкам!.. Слышь?.. К стенкам!

Я продолжал бежать посреди мостовой. Губы беззвучно молили, повторяя: «Убей... Меня!.. Меня тоже!.. Убей!.. Убей!»

Но я был твердо уверен, что ни одна пуля не сжалится надо мной, не будет ко мне милосердна, не положит меня на месте.

Белые чехословаки занимали первые дома нашей улицы.

Пожарная часть находилась за углом, через площадь. Брандмайор оказался отзывчивым человеком. Он приказал:

— Запряги, Петрович, им Лебедя.

Это был четвероногий скелет, обтянутый чем-то грязным. Скелет с хвостом и жалкими клочьями гривы.

— А вот человека, простите, я не могу посылать на убой, — извинился брандмайор. — Вам уж придется самому править.

— Да, да... Спасибо.

Глаза у скелета были бесконечно усталые и печальные.

Брандмайор на прощанье ласково похлопал его по обвисшему заду.

Но и к этому четвероногому Лебедю свинцовая пуля не пожелала стать милосердной. Она и ему не даровала того длинного и заслуженного отдыха, которого лошади боятся так же, как и люди.

Когда на красной пожарной телеге я с грохотом подъехал к дому, папа уже был мертв.

Настя плакала и не вытирала слезы.

Пулеметчики отступили.

Я подошел к дивану, тихо лег рядом с папой, обнял его, и так вместе мы пролежали конец этого дня, ночь и все утро.

8

Прощай, Пенза. Прощай, моя Толстопятая. Прощай, юность. Вероятно, в старости ты покажешься мне счастливой. Прощай... Нет, папа, я не прощаюсь с тобой. Я не уйду от те-

бя и никуда не уеду. Мы не расстанемся. Я не могу этого сделать. И чувствую, что никогда не смогу. Ты был моим первым другом. Прекрасным другом. И ты остался им в моей душе. Вероятно, у меня будут еще друзья. Большие, хорошие друзья. Потому что по природе своей я склонен к дружбе. Направлен к ней, обращен и раскрыт. А вот к родству по крови не направлен и не раскрыт. Для меня существует только «избирательное родство». Так назвал это мой любимый автор девятнадцатого века. С ранних лет отец являлся для меня родственником — и избирательным. Тут было удивительно счастливое и очень редкое совпадение: отец и друг. За полвека, за полусотню соображающих лет я достаточно насмотрелся на людей и теперь могу сказать с уверенностью: не слишком это часто случается, чтобы отец и сын были настоящими друзьями, такими, как мать с дочерью или брат с сестрой.

9

Москва.

Сережа Громан, как было сказано, разъезжает по голодным улицам в огромной машине канареечного цвета, реквизированной у охотнорядского купца.

А глаза города как пылающие печи.

И голос как у бури.

И впалые щеки как у пророка, питающегося саранчой.

Ко дню первой годовщины Великой социальной революции композитор Реварсавр (то есть Революционный Арсений Авраамов) предложил советскому правительству свои услуги. Он сказал, что был бы рад продирижировать «Героической симфонией», разумеется собственного сочинения. А-де исполнят ее гудки всех московских заводов, фабрик и паровозов. Необходимую перестройку и настройку этих музыкальных инструментов взялся сделать сам композитор при соответствующем мандате Совнаркома.

У Реварсавра было лицо фавна, увенчанное золотистой гривой, даже более вдохновенной, чем у Бетховена.

— Итак? — Зеленоватые глаза фавна впились в народного комиссара. — Слово за вами, товарищ Луначарский.

— Это было бы величественно! — сказал народный комиссар. — И вполне отвечало великому празднику.

— Не правда ли?

— Я немедленно доложу о вашем предложении товарищу Ленину.

— Благодарю вас.

— Но, признаюсь, — смущенно добавил Луначарский (он не любил отказывать), — признаюсь, я не очень уверен, что товарищ Ленин даст согласие на ваш гениальный проект. Владимир Ильич, видите ли, любит скрипку, рояль...

— Рояль — это интернациональная балалайка! — перебил возмущенный композитор.

— Конечно, конечно, Н-н-но…

И народный комиссар беспомощно подергал свою рыжеватую бородку.

— Эту балалайку... с педалями... я уж, во всяком случае, перестрою.

— Пожалуйста, товарищ, пожалуйста.

Луначарский поднялся с кресла. Разгневанный Реварсавр также.

— Надеюсь, Совнарком не может мне этого запретить.

— Боже упаси!

— Прощайте.

— До свидания.

Анатолий Васильевич поспешил крепко-крепко пожать ему руку:

— Если вам, товарищ Реварсавр, понадобится от меня какая-нибудь бумажка для революционной перестройки буржуазного рояля...

— Конечно, понадобится.

— Весь к вашим услугам.

— Премного благодарен.

Впоследствии, примерно года через полтора, я с друзьями-имажинистами — с Есениным, с Шершеневичем, с Рюриком Ивневым и художником Жоржем Якуловым — восторженно слушал в «Стойле Пегаса» ревопусы Реварсавра, написанные специально для перенастроенного им рояля. Обычные человеческие пальцы были, конечно, непригодны для исполнения ревмузыки. Поэтому наш имажинистский композитор воспользовался небольшими садовыми граблями. Это не шутка и не преувеличение. Это история и эпоха.

Свои ревопусы — № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и т. д. — Реварсавр исполнял перед коллегией Нарком-проса.

— Ты, Арсений, сыграл все восемнадцать ревопусов?

— Конечно.

— Бисировал?

— Нет. Это было собрание невежд.

— Воображаю!

— Представь, Анатолий, у них у всех довольно быстро разболелись головы, — он говорил мрачно, без юмора. — Они жрали пирамидон, как лошади.

— Несчастный идеалист! — воскликнул Есенин. — На кой черт ты попер к ним, к этим чинушам?

— Понимаешь ли, Серега, Луначарский навыдавал мне столько внушительнейших бумажек... Я хотел отблагодарить его.

— И отблагодарил? Своими ревопусами?

— А чем же еще? Не колбасой же и селедками!

— Да, к сожалению, продовольствием ты, милый, не очень богат.

— Но буду! Когда человечество поумнеет.

— А у Анатолия Васильевича тоже разболелась голова? — спросил Шершеневич.

— Вероятно. Но он держался довольно стойко. Человек тренированный. Закаленный.

И глаза фавна сверкнули:

— На ваших стихах закалился.

Несколько позже Реварсавр (уже как Арсений Авраамов) написал книгу «Воплощение» (о Есенине и обо мне). На первом листе в качестве эпиграфа было напечатано: «В вас веру мою исповедую».

10. 1919 год

«В Архангельском районе противник превосходящими силами с артиллерийской подготовкой ведет наступление на наши позиции».

«Одесса занята французами и добровольцами. Город разбит на четыре участка: французский (156-я дивизия); африканский (зуавы), польский (легионеры) и добровольческий».

«На Ревельском направлении появились на фронте новые белогвардейские отряды в черных касках с белыми крестами. Эти отряды организованы местными баронами при ближайшем участии англичан».

«Из Баку в Батум проследовал эшелон английских войск».

«Центром воссоздания белой России назначается Харьков».

«Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создается Московская Чрезвычайная Комиссия».

«Французский министр иностранных дел Пишон заявил: “Мы намерены отстаивать в России наши права, нарушенные большевиками”».

«Английские адмиралы заявили, что они будут без предупреждения расстреливать всякое судно, имеющее на вымпеле красный флаг».

«В связи с чрезвычайным переполнением московских тюрем и тюремных больниц сыпной тиф принял там эпидемический характер».

«Утвержден закон об учреждении Донского правительствующего Сената, две трети которого составлены Красновым из бывших царских сенаторов».

«В Сибири, в каждой губернии Колчаком назначен генерал-губернатор из старых царских генералов».

«Признать Советскую Республику угрожаемой по сыпному тифу».

«Запасы нефти на Московской электрической станции почти совершенно иссякли».

«Установлено новое движение трамвайных вагонов. Линии 1, 3, 5, 8, 11, 13, 18 и 19 отменяются».

«Коллегия Горпродукта постановила продажу часов отменить».

«Работники Советской власти в провинции часто бывают в безвыходном положении: надо представить смету в 10 экземплярах, а бумаги нет».

«Постановлено в Москве прекратить подачу потребителям электричества с 11 часов вечера».

«С 10 января хлеб в Петрограде выдается населению по прежней норме, то есть по I категории по $^1/_2$ фунта, по II — $^1/_4$ и по III — $^1/_8$ фунта на день».

«Объявляется на 5 и 6 января с. г. всеобщая обязательная повинность по очистке площадей, улиц, тротуаров и бульваров Москвы от снега».

И так далее в том же роде.

Это из газет за первую неделю января.

11

Бонч-Бруевич рассказывает:

«В 1919 г., в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд.

Гзовская задорно объявила "Наш марш" Владимира Маяковского.

Артистка начала читать. То плавно ходя, то бросаясь по сцене, она произносила слова этого необыкновенного марша:

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
Перемоем миров города.

— Что за чепуха! — воскликнул Владимир Ильич. — Что это, "мартобря" какое-то?..

И он насупился.

А та, не подозревая, какое впечатление стихи производят на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила:

Видите, скуплю звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица!
требуй, чтоб на небо
нас взяли живьем.

И после опять под марш:

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

И остановилась. Все захлопали. Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательное отношение. Он прямо смотрел на Гзовскую и не шевелил пальцем.

— Ведь это же черт знает, что такое! Требует, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьемся со всякими предрассудками, а тут, пойдите, пожалуйста, со сцены Кремлевского красноармейского клуба нам читают такую ерунду.

И он поднялся.

— Незнаком я с этим поэтом, — отрывисто сказал Владимир Ильич, — и, если он все так пишет, его писания нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечерах — это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать! Ведь словечка понять нельзя, тарарабумбия какая-то!

Все это он сказал вслух отчетливо, ясно и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошел сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет.

Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: «А не

будут ли там читать нам “Их марш”?..» Его задевало, что словом “наш” Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно.

Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос: «Это автор “Их марша?”...» — и тотчас же прервал разговор, как-бы совсем не желая ничего больше знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте».

Луначарский добавляет: «“Сто пятьдесят миллионов” Маяковского Владимиру Ильичу определенно не нравились. Он нашел эту книгу “вычурной и штукарской”».

Да и по словам Горького, «Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно: “Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно”».

Отношение как на ладони. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом.

Он продолжал издаваться, печататься, даже в ЦО.

Выиграла ли от этого наша поэзия?

Как будто выиграла.

Четырнадцать держав шло на нас с мечом и огнем. Хлеба выдавали для первой категории по полфунта на день. А цензуры не было. Мы знали только РВЦ, то есть: «Разрешено военной цензурой». Если никаких военных тайн поэт или прозаик не разглашал, этот штамп РВЦ ставили на корректурные листы без малейшей канители. А уж за эпитеты, за метафоры и знаки препинания мы сами отвечали.

12

В газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина».

Одним из редакторов газеты был Борис Федорович Малкин, мой земляк по Пензе. Одновременно он заведовал и Центропечатью.

Дня через три после выхода номера газеты с «Магдалиной» я зашел к нему в кабинет:

— Доброе здоровье, Борис Федорович.

Он поднял на меня свои большие коричневые, всегда очень грустные библейские глаза и сказал пискливым голоском, столь же безнадежно-грустным, как и глаза:

— Здравствуйте, Анатолий. Садитесь. Побеседуем.

А перед дверью кабинета ждали приема два сотрудника Центропечати с желтыми папками для бумаг и несколько посетителей.

Я спокойно сел в архиерейское кресло, еще не протертое советскими служащими, поэтами, писателями, журналистами и прочей богемой, приходящей к Малкину по делу и без всякого дела.

— Вчера ночью, Анатолий, я был в Кремле у Ильича, — грустно пропищал Малкин. — Он только что прочел вашу «Магдалину».

Борис Федорович замолчал. А глаза его стали еще грустней. «Ладно, — подумал я, — мы тоже не лыком шиты. Мы тоже умеем помолчать, когда надо. Посмотрим, кто кого перемолчит».

И я перемолчал Бориса Федоровича, хотя это было дьявольски трудно.

— Ильич спросил меня: «Сколько лет ему, этому вашему поэту?» Я, Анатолий, ответил: «Лет двадцать».

— Мне двадцать два года, Борис Федорович.

— Неужели?

И он тут же добавил, как в таких случаях добавляют почти все и почти всегда:

— До чего же быстро летит время!.. Как сейчас помню вас в Пензе. Помню тоненьким хорошеньким гимназистиком в

светлой шинели. Вы явились ко мне в редакцию «Чернозема» с синей тетрадочкой в руке, в ней были ваши первые стихи. А вот теперь, Анатолий, вы уже...

И Малкин опять замолчал. Но на этот раз у меня не хватило выдержки, и я хрипло спросил:

— Что сказал Ленин о моей поэме?

— Ничего.

— Как ничего!

— Но о вас, Анатолий, Владимир Ильич сказал: «Больной мальчик».

— Это все?

— Да. После этого Ильич сразу же заговорил о делах Центропечати.

Надо признаться, я очень обиделся на Ленина и за «больного», и за «мальчика».

«Черт побери — “больной!”. Да у меня и насморка никогда не бывает!.. “Мальчик!..” “Мальчик!..” Меня уже вся Россия читает и пол-Европы, а он...»

Друзья знали, что я даже год тому назад бледнел от злости, когда в статьях или на диспутах меня называли «молодым поэтом».

После малкинского разговора в Кремле «Советская страна» напечатала обо мне две хвалебные рецензии — о книжице «Витрина сердца», изданной еще в Пензе, и о «Магдалине». Рецензентам, конечно, и в голову не влетело называть меня в них «больным мальчиком». Хотя Малкин уже широко разнес по Москве свой разговор с Владимиром Ильичом о «Магдалине».

13

— Я читала ваши стихи. Очень рада познакомиться... Никритина... Анна Борисовна.

Она протянула мне маленькую руку с ухоженными ноготками.

Во всей Москве только она сама с важностью называла себя столь пышно: «Анна Борисовна».

Этой осенью Нюша Никритина экзаменовалась в студию Камерного театра. Тут же, за экзаменационным столом, Алиса Коонен сочинила о ней двустишие:

Как искры, глазенки,
Как пух, волосенки.

Нюша Никритина приехала с Украины, где уже была знаменитой актрисой... города Полтавы.

Восторженную рецензию о ее шумном полтавском бенефисе я довольно быстро выучил наизусть.

Теперь в Москве на Тверском бульваре, на сцене Государственного Камерного театра «юная Комиссаржевская» (как назвал ее полтавский рецензент) тоже пыталась создавать большие человеческие характеры, созвучные нашей революционной эпохе.

Три раза в неделю она самозабвенно танцевала в оперетке Лекока «Жирофле-Жирофля» и со страстью, более чем достаточной для Джульетты, играла бессловесного Негритенка в «Ящике с игрушками» Дебюсси. Впрочем, это нисколько не умаляло ее положения в российском эстетском театре с мировой славой, так как в «Ящике» все роли являлись бессловесными. Это была пантомима. Очаровательная пантомима! Но очаровательней всех в ней был Негритенок! Так громогласно утверждал я направо и налево. Спорили со мной? Возражали? Нет! Никто! Но довольно часто спрашивали: «Между прочим, а как ее фамилия?» Этот вопрос приводил меня в ярость: «Вот она — современная интеллигенция! Вот они — современные театралы! Невежды! Круглые невежды! Варвары! Даже не знают фамилии юной Комиссаржевской!»

Моя первая любовь Лидочка Орнацкая, если помните, была тоненькая и большеглазая. Однако в сравнении...

Нет, это, пожалуй, не дело — предавать свою первую любовь. Придется обойтись без сравнения. Тем не менее, портрет моей будущей половинки мне нарисовать необходимо.

В 1917 году в Киеве после приемных испытаний в Соловцовскую театральную школу режиссер Марджанов сказал:

— В первую очередь, знаете ли, необходимо принять ту, у которой мало носа.

В самом деле, у Нюши Никритиной его было не слишком много. Но Марджанов Марджановым, а вот дебелые молочницы из подмосковских деревень, встречая ее на улице, смеялись в голос.

Но больше всего меня огорчила одна вредная старуха с петухом в корзине. Увидав «юную Комиссаржевскую» на углу Тверской и Газетного, когда та стремглав выскочила из железных ворот нирнзеевского дома, где жила со своей маленькой мамой, — вредная старуха, прижав к груди корзину с петухом, презрительно взвизгнула:

— Ой, землячки!.. Ой, люди: чертяка!.. Чертяка!..

И со смаком плюнула в ее сторону.

У Лидочки Орнацкой глаза были, как серебряные полтинники. У Нюши Никритиной — как николаевские медные пятаки, почерневшие от времени. И это при голове, похожей на мячик для лапты, и при носе, за который не ухватишь!

Красное разлетающееся платьице, шелковый красный берет и балетные туфельки.

По кривым московским улицам она не ходила, а как бы носилась на пуантах. Второго платьица не было, а вот берет был — зелененький. Из маминой старой кофточки. Прелестно? Я, конечно, в этом не сомневался, но... вредная старуха с петухом, пожалуй, кое в чем была права: очень мало общего с человеком!

К месту упомянуть, что весь этот гарнитур: береты, платье и балетки — были собственного изделия, чему не приходи-

лось особенно удивляться, так как артистического жалованья одухотворенной исполнительницы роли Негритенка едва хватало, чтобы, разумеется, не досыта, прокормить себя и маму. Ежедневное меню было несложным: каша-шрапнель и забронзовевшая селедка. Ее приходилось мочить не меньше трех суток, чтобы она стала относительно съедобной. Очень относительно!

Однако такого полного единодушия, как среди молочниц и торговок петухами, к счастью, не было среди мужчин и дам, посещавших столичные премьеры и вернисажи. Одни заявляли: «Чертовски хороша!»; другие: «Форменная мартышка!»

А наиболее заинтересованное лицо хотело быть объективным и беспристрастным. Желание, пожалуй, столь же похвальное, как и безнадежное. Во всяком случае, лесть меня не устраивала.

«Форменная мартышка!»

«Как будто».

«Чертовски хороша»

«Безусловно!»

Есенин мирно спал. Над окном висела луна, похожая на желток крутого яйца. Ослепительно сверкала заснеженная крыша соседнего дома. Она казалась мне северной пустыней, потому что по ней криво петляли черные кошачьи следы. Они казались следами волчицы. В этом было что-то извечное.

Ни один звук не проникал в комнату. Даже часы не тикали, так как у нас их не было.

Я вскочил с кровати с восклицанием покойного папы:

— Эврика!..

И поднял вверх указательный палец:

— Она... некрасивая красавица!

— Кто? — не открывая глаз, промычал Есенин.

— Нюша.

— Иди к черту!

Мне казалось, что мое это определение было объективным и беспристрастным.

— Подожди, Сергун, не засыпай. Пожалуйста, не засыпай.

Но он уже залез с головой под одеяло. Было ясно, что его не больно взволновала моя «эврика!».

Я с грустью подумал: «Вот и разошлись интересы».

И сердце защемило.

Правильно защемило.

Между шестью и семью часами вечера к нам на Богословский приходил парикмахер Николай Севастьянович. Брил, стриг и во всякий приход мыл шампунем голову Есенину, который любил, чтобы его волосы были легкими, золотистыми, а главное — вьющимися. Точней — волнистыми.

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Нет, этого еще не было! Но ведь поэты видят свое грустное будущее.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

И месяц еще не собирался садиться в кудри, вымытые шампунем.

Друзья, приятели и добрые знакомые, зная о существовании домашней парикмахерской, нередко в этот вечерний час заглядывали к нам, чтобы навести красоту. Николай Севасть-

янович являлся великим мастером своего дела. Острейшие ножницы сверкали в его правой руке, как белые молнии. А в левой трепетала черепаховая расческа. Вдохновенным пальцам Николая Севастьяновича могли позавидовать и пианист-виртуоз, и скульптор, и хирург. От нашего куафера никто еще не уходил поглупевшим, какими обычно мужчины уходят из уличной парикмахерской. Никто еще от прикосновения его сверкающих ножниц не потерял своего природного характера и своеобразия. Хотя кое-кому очень не мешало бы кое-что потерять. Как, например, жирному коротконогому критику — Громовержцу.

Почему он бывал у нас? Да, вероятно, потому, что и мне, и Есенину было лень дать ему в шею. Теперь я совсем не ленив на такие действия. Двери нашего дома крепко закрыты для тех, для кого закрыто и сердце. Мне кажется, это хорошее жизненное правило.

Черногривый гном, женственный Рюрик Ивнев и Вадим Шершеневич, словно сошедший с римской монеты времен Августа, между шестью и семью пожаловали к нам.

— Привет юным олимпийцам! — сказал Громовержец.

— Привет клиентам! — ответил Есенин, вытирая махровым полотенцем свои волосы, поскрипывающие от чистоты.

А я неподвижно сидел в кресле, замотанный в простыню, как в смирительную рубашку.

Великолепен был Лоренцо,
Великолепней Мариенгоф! —

процитировал Шершеневич из моей новой поэмы.

— Совершенно верно, — небрежно согласился я, — великолепней Мариенгоф.

Вадим Шершеневич постучал костяшками согнутых пальцев по моей будущей лысине и произнес тоном оракула:

— А вот из этого места у нашего Лоренцо Великолепного вырастут рога... если его, как последнего идиота, женит на себе какая-нибудь обезьяна, слегка очеловеченная.

— Иди к чертовой матери! — прорычал я, корчась в своей смирительной рубашке. — Ты мешаешь работать Николаю Севастьяновичу.

— Нисколько! — возразил мастер.

И он, как большинство людей, очевидно, любил поразвлечься за счет своих ближних.

У величественной красивой мужской дружбы всегда найдется враг в лице пленительной женщины. А у любви, если она не ощущается мимолетной, — целая шеренга врагов. И тем длинней эта шеренга, чем больше друзей у мужчины, находящегося под угрозой тех неизбежных уз, которые в начале революции еще назывались «узами Гименея».

Жирный Громовержец поднял над головой короткую руку. Как и большинство критиков, он был довольно умен чужими мыслями.

— Древние греки, — сказал Громовержец, — эти истинные мудрецы, считали, что против безумной любви есть два верных средства: голод и время. Если они не помогут, остается третье и последнее средство, самое верное: веревка! Веревка, привязанная в наше время к крюку для люстры.

Он сделал соответствующий жест вокруг моей шеи.

Вся компания, приняв печальный вид, закивала головами. А Рюрик Ивнев сказал тоненьким голоском:

— Бедный, бедный наш Толюнок!

Ножницы Николая Севастьяновича сверкали над моей головой.

Сидя в кресле, я чувствовал себя пригвожденным к кресту и стонал беззвучно: «Голгофа! Голгофа!»

Впоследствии Велимир Хлебников в стихотворении, посвященном мне, срифмовал эту «Голгофу» с Мариенгофом. Исторически срифмовал и пророчески.

— Толя, друг мой, что же ты молчишь? — сердечно спросил Есенин. — Ну, скажи хоть что-нибудь, миленький. Скажи.

— Не надо! Пусть лучше молчит, — возразил Громовержец. — Влюбленные не бывают мудрыми.

Вероятно, и этот афоризм не принадлежал критику.

Шершеневич встал со стула:

— Бессмертные, я вторично прошу у вас слова.

— На сколько минут? — спросил Громовержец.

Для него было нестерпимым мученьем слушать других.

Опять оседлав стул, Шершеневич придвинул его вплотную к моему креслу, чтобы я ни одной фразы не пропустил мимо уха.

Для восстановления тишины Есенин лихо свистнул, заложив в рот четыре пальца.

— Известно ли вам, бессмертные, — начал Шершеневич, — что во время своего исторического путешествия Чарлз Дарвин посетил людоедов. Ознакомившись с их бытом и нравами, он спросил вождя каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете преимущественно своих жен? Уж лучше бы ели своих собак. Разве они менее вкусны, чем леди?» Рассудительный вождь ответил: «Наши собаки ловят выдру. А женщины ни на что не годны. Поэтому мы предпочитаем утолять ими свой аппетит». Старейший из людоедов, желая быть гуманным в глазах европейца, мягко добавил: «Но перед тем, как поджарить женщину, мы ее обязательно душим».

— Ах, как это мило! — воскликнул Рюрик Ивнев своим девичьим голоском.

— Не правда ли?.. Так вот, друзья, — заключил Шершеневич, — я бы тоже обязательно душил женщин, которые разбивают большую мужскую дружбу!

Этот разговор происходил осенью 1922 года, а женился я на Никритиной 31 декабря. То есть примерно через три месяца.

Об этом событии я немедленно известил Настеньку. Довольно быстро по тому времени пришло от нее чудное письмо.

«Родной Анатолий Борисович, — писала она, — любовь — это кольцо, а у кольца нет конца. Чего и Вам желаю с Вашей любезной супругой Анной Борисовной».

Если бы меня спросили: «Кто родоначальник имажинизма?» — я бы ответил, не задумываясь: «Настенька».

Имажинизм родился в городе Пензе на Казанской улице. «Исход» — первый имажинистский сборник — был отпечатан в губернской пензенской типографии осенью восемнадцатого года.

— Вы слыхали, — спрашивал я стихотворца Ивана Старцева, тоже окончившего пензенскую пономаревскую гимназию, — вы слыхали, как сейчас сказала Настенька своей куме Степаниде Петровне, которую супруг частенько вожжами учит?

— Нет.

— «Беда, — говорит, не дуда: поиграв, не кинешь». Хорошо сказано? Стихи надо писать так, как говорит Настенька: образы, образы, образы.

Корни имажинизма!

В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой книге, по-моему, цены нет. Какое богатство словесное! Какие поговорки! Пословицы! Присказки и загадки! Разумеется, они примерно на одну треть придуманы Далем. Но что из того? Ничего. Важно, что хорошо придуманы.

Этот толковый словарь в переплете, тисненном золотом, являлся не просто любимой книгой Настеньки, а каким-то ее сокровищем. Она держала его у себя под подушкой. Читала и перечитывала каждодневно. Как старовер Библию.

От него, от Даля, и пошла эта Настина чудная русская речь. А когда она впервые приехала в Пензу прямо из своей

саранской деревни Черные Бугры, ничего такого и в помине не было — говорила Настенька обычно, серовато, как все.

14

В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев.

Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в Колонном зале бывшего Благородного собрания, в Политехническом музее, в трех поэтических кафе и на сценах государственных театров в дни, свободные от спектакля.

Народные комиссары первого в мире социалистического государства и среброголовые мэтры российского символизма: Брюсов, Бальмонт и Андрей Белый — самозабвенно спорили с юношами-поэтами из Пензы и Рязани, возглашавшими эру образа, и не менее горячо — с несовершеннолетними поэтессами из Нахичевани, верующими в ничего.

Они так и назывались — ничевоками.

«Я, товарищи, поэт гениальный». С этой фразы любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич.

И Маяковский примерно говорил то же самое, и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.

В переполненных залах — умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали.

А говорилось это главным образом для них — для дураков.

«Гусей подразнить», — пояснял Есенин.

Древняя традиция. Очень древняя. Иисус из Назарета еще посмелей был. Он забирался на крышу и объявлял: «Я — сын Бога», «Я сошел с небес».

Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:

— Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы же знаем мать его и отца. Как же он говорит, что сошел с небес?!

А четыре родных брата «сошедшего с небес»: Иаков, Иосиф, Иуда и Самсон — тут же мозолили глаза.

Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, опять же по словам евангелиста, очень удивлялись: как, мол, такое можно слушать?!

Значит, хочешь не хочешь, а надо признать, что мы со своим «я, видите ли, поэт гениальный» не очень-то были оригинальны и храбры.

Если маленькое «Стойло Пегаса» не вмещало толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вскакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и, подняв высоко над головой ладонь (жест эпохи), заявлял:

— Товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются; милости прошу: двери нашего театра для вас открыты — сцена и зрительный зал свободны. Прошу пожаловать!

Жаждущие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить партер, ложи и ярусы.

Если очередной диспут был платным, сплошь и рядом эскадрон конной милиции опоясывал общественное здание. Товарищи с увесистыми наганами становились на места билетерш, смытых разбушевавшимися человеческими волнами.

О таких буйных диспутах, к примеру, как «Разгром “Левого фронта”», вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внукам.

В Колонный зал на «Разгром» Всеволод Мейерхольд, назвавший себя «мастером», привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок.

Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячей и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши с самыми высокими званьями.

К Колонному залу подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейерхольдом шел «знаменосец» — вихрастый художник богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развевающиеся в воздухе.

У всей этой армии «Левого фронта» никаких билетов, разумеется, не было. Колонный был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны зазмеились под хрустальной люстрой.

— Держись, Толя, начинается, — сказал Шершеневич.

В ту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завыли сирены, задребезжали свистки.

Мне пришлось с равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны.

Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи.

Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев лорнировал переполненные хоры и партер.

Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие, модное накануне революции:

Я выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной — всегдашняя бонна —
Моя будущая известность.

Докурив папиросу, Шершеневич кисло сказал:

— «Разгром» не состоялся.

Нашего блестящего Цицерона это слегка огорчило. Надо было утешить его.

— Не горюй, Дима. Мы сразу объявим второй диспут. В Большом зале консерватории.

— Правильно. Другого выхода нет.

На этот раз на афишах стояло: «Мы — ЕГО!» (то есть Мейерхольда).

Мелкой рысцой на доисторическом извозчике подъехал мастер к зданию на Никитской. Рядом с ним гордо сидела Зинаида Райх. Брошенная Есениным, она стала женой вождя «Левого фронта», который в спешном порядке делал из этой скромной совслужащей знаменитую актрису.

— А где же свистуны? — удивленно спросил я у нашего администратора. — Где левая армия под красными штанами?

— Сегодня у него в театре идет спектакль. Занята почти вся труппа, — со счастливым видом отвечал степенный администратор. — Нам повезло, Анатолий Борисович.

— Великолепно!

Бедный Мейерхольд левой рукой прикрывал от ветра перевязанную щеку, а правой отстегивал облезлую полость.

— У Всеволода Эмильевича флюс. Очень болят зубы, — грустно сообщил мне угодливо-вертлявый рецензентик из мейерхольдовского лагеря.

— Вот так камуфлет! Ну как же его драконить? Такого несчастного с флюсом?

Шершеневич, как Анатэма в МХАТе, вскинул правую бровь:

— Очередной балаган, Толя. Головой ручаюсь, никакого флюса у него нет. А вот актер он все-таки замечательный!

Администратор кивнул:

— На жалость берет. Не столько вас, друзья мои, сколько публику. Расчет тонкий, психологический.

Купив билеты у перекупщика, Мейерхольд расслабленной походкой больного старика вошел в зал, тяжело опираясь на руку Зинаиды Райх.

— А ну-ка, Боря, — сказал я своему приятелю Глубоковскому, — сорви ненароком черную тряпицу с его физиономии.

— Есть!

И через несколько минут он уже победоносно ею помахивал.

Само собой, никакого флюса у Мейерхольда и в помине не было.

— Можно начинать? — осведомился степенный администратор. — Всеволоду Эмильевичу «фокус не удалей».

— Начинайте.

Заложив руки за спину, администратор вышел на сцену и с профессорской важностью произнес:

— Слово принадлежит Анатолию Мариенгофу, члену ЦК Имажинистского ордена: «Мейерхольд — опиум для народа».

На одном из театральных диспутов Маяковский сказал с трибуны, обтянутой красным коленкором:

— У нас шипят о Зинаиде Райх: она, мол, жена Мейерхольда и потому играет у него главные роли. Это не тот разговор. Райх не потому играет главные роли, что она жена Мейерхольда, а Мейерхольд женился на ней потому, что она хорошая актриса.

Отчаянная чепуха!

Райх актрисой не была — ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советские канцелярии. В Петрограде — канцелярия, в Москве — канцелярия, у себя на родине в Орле — военная канцелярия. И опять — московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.

И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых.

Зима. Большую Никитскую, словно кровать, застелил снег. Застелил будто простыней, отлично выстиранной. Тротуары, как накрахмаленные, похрустывали под ногами.

Из окна нашей книжной лавки Есенин с лирической грустцой поглядывал на улицу.

Вдруг:

— Ух, извини-подвинься… Зинаида!

И, проводив насмешливым взглядом ее крылатые сани, он запел, как старая цыганка:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою
И возбуждаете смех у иных.

Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание), я обычно говорил о ней:

— Эта дебелая еврейская дама.

Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на райхитичные ноги!» Эпоха, к счастью, была не чересчур деликатной.

Во второй рецензии он написал еще наглей: «Конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем. Кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним».

На следующий день после неотпразднованной свадьбы Мейерхольд спросил меня (мы снова стали приятелями):

— Как ты думаешь, Анатолий, она будет знаменитой актрисой?

— Кто?

— Зиночка.

Я вытаращил глаза:

— Почему актрисой, а не изобретателем электрической лампочки?

Тогда, по наивности, я еще воображал: для того чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться. А потом лет пять говорить на сцене: «Кушать подано!»

Мейерхольд вздернул свой сиранодебержераковский нос:

— Талант? Ха! Ерунда!

И ткнул себя пальцем в грудь, что означало: «Надо иметь мужем Всеволода Мейерхольда! Вот что надо иметь. Понял? И все!»

Мастер оказался прав. Я бы добавил: «Еще полезно иметь дуру-публику». Примерно так же Мейерхольд относился, по крайней мере на словах, и к драматической литературе:

— При чем тут пьеса? Что такое пьеса? Дай мне справочник «Вся Москва» или телефонную книжку, и я сделаю гениальный спектакль.

Хорошей актрисой Зинаида Райх, разумеется, не стала, но знаменитой — бесспорно. Свое черное дело быстро сделали: во-первых, гений Мейерхольда; во-вторых, ее собственный алчный зад; в-третьих, искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки; и наконец, многочисленные ругательные статейки. Ведь славу-то не хвалебные создают! Кому они интересны? Это бы давно надо понять нашим незадачливым критикам.

Про «Всю Москву» и телефонную книжку Мейерхольд охотно говорил, а ставил «Маскарад», «Ревизор», «Лес», «Доходное место», «Смерть Тарелкина».

Наконец, как и следовало ожидать, он задумал «Гамлета».

Одним из первых Мейерхольд рассказал об этом Есенину и мне.

— Чертовски интересно! — сказал я. — Думается, Всеволод, даже поинтересней, чем ставить телефонную книжку.

А Есенин перекрестил члена партии:

— Валяй, Всеволод! Благословляю.

Вскорости Мейерхольд собрал главных актеров и кратко поделился с ними замыслом постановки.

Главный администратор спросил:

— А кто у нас будет играть Гамлета?

Не моргнув глазом, мастер ответил:

— Зинаида Николаевна.

Актеры и актрисы переглянулись.

— На все другие роли, — заключил он, — прошу подавать заявки. Предупреждаю: они меня ни к чему не обязывают. Но может случиться, что некоторые подскажут то, что не приходило мне в голову. То есть: ад абсурдум. В нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь.

Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд его сатаной. Но ведь сатана — это тот же бог, только с черным ликом. Не правда ли?

Как мы знаем по истории прекрасного, в предшествующую эпоху некоторые стоящие служители муз и граций даже предпочитали иметь дело с ним, с сатаной, считая его умней, дерзновенней, справедливей, а потому и выше Бога.

Один из лучших артистов мейерхольдовской труппы, к тому же и самый смелый, неожиданно спросил мэтра:

— Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета по вашему принципу — ад абсурдом?

Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд сделал вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом сатира, сбрившего свою козлиную бородку.

В полном согласии с богом, то есть с Константином Сергеевичем Станиславским, я совершенно не переношу на сцене кривляющихся актеров (под видом гротеска) и ставлю на

высшую ступень тех, которые могут довести острейший характер до абсолютной правды. Редчайший случай!

Артист, спросивший мастера о Зинаиде Николаевне, нередко бывал очень смешным в сценах трагических и горестным до слез, подступающих к горлу, — в смешных.

Редчайшее дарованье!

Не получив ответа, этот артист поспешно вынул из кармана вечное перо и написал заявку на роль... Офелии. Результат?

Ну, конечно, Мейерхольд выгнал его из театра.

Этот артист впоследствии везде ругательски ругал Мейерхольда. Но всегда делал это с сияющими глазами. Потому что подтекст неизменно был один и тот же: «А все-таки я его боготворю!»

Однажды Всеволод Эмильевич с Зинаидой Николаевной приехали в Рим.

Вечный город был напоен истомой.

В каком-то чрезвычайно античном месте они стали целоваться слишком горячо для таких близких знакомых.

И вот вышла неприятность с полицией, которая даже в Италии представляется любящей целомудрие и добрые нравы.

Русские артисты не говорили по-итальянски, а полицейские-итальянцы — по-русски. Не слишком молодой женщине и почти старику пришлось документально доказывать в участке, что они супруги.

— Совершенно законные! — засвидетельствовал переводчик-эмигрант.

Пораженные полицейские долго и крепко пожимали руки супругам-любовникам:

— Муж целуется с женой! На камнях! Со своей собственной женой! Жена целуется с мужем! Со своим собственным мужем!.. Нет, — заверяли блюстители добрых нравов, — у нас, у итальянцев, этого не бывает. Ах, русские, русские!..

Растроганные полицейские отвезли в отель на своей машине Всеволода Эмильевича и Зинаиду Николаевну.

В том же Риме, в доме нашего посла Платона Михайловича Керженцева, Мейерхольд рассказывал о философском замысле постановки «Гамлета», о понимании шекспировских характеров, о режиссерском решении всей трагедии и отдельных сцен.

Ему благоговейно внимала небольшая избранная компания. Так, кажется, пишут салонные романисты.

— Надеюсь, товарищи, — сказал мастер, — вы все помните гениальную ремарку финала трагедии: «Траурный марш. Уносят трупы. Пальба». Конечно, товарищи, мы воплотим ее беспрекословно на нашей сцене. Творческая воля великого драматурга для меня не только обязательна, но и священна.

Избранная компания благоговейно зааплодировала.

Мастер спросил:

— Быть может, кто-либо из товарищей хочет задать мне вопрос? Или вопросы?

— Разрешите, Всеволод Эмильевич? — откликнулся посол.

— Пожалуйста, Платон Михайлович. Я буду счастлив ответить.

— Дорогой Всеволод Эмильевич, вы сейчас с присущим вам блеском рассказали нам решение целого ряда сцен. Даже, казалось бы, третьестепенных. Но...

И посол улыбнулся своей лисьей улыбкой.

— Но...

— Неужели я упустил что-либо существенное? — с искренней тревогой спросил Мейерхольд.

— Всеволод Эмильевич, дорогой, вы забыли нам рассказать, как вы толкуете, как раскрываете, какое нашли решение для знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть».

Вся маленькая избранная компания как бы выдохнула из себя:

— Да!.. Да!.. «Быть или не быть»!.. Умоляем, Всеволод Эмильевич!

Хотя вряд ли многие из них помнили вторую строчку бессмертного монолога.

— А-а-а... Это... — небрежно бросил Мейерхольд, — видите ли, товарищи, я вычеркиваю гамлетовский монолог.

И мастер сделал небольшую паузу, чтобы насладиться впечатлением от своего ошарашивающего удара.

— Да, товарищи, я вычеркиваю его целиком, как место совершенно лишнее, никому ничего не говорящее.

— Что?.. — вырвалось прямо из сердца Марии Михайловны, супруги посла.

— Поверьте, товарищи, этот монолог, триста лет по недоразумению считающийся гениальным, тормозит действие.

Почти все сконфуженно закивали головами.

— Кроме того, он всего лишь точное переложение в белые стихи отрывка из философского трактата «О меланхолии», очень модного в ту эпоху.

Тут избранное общество просто замлело от эрудиции мастера, действительно прочитавшего побольше книг, преимущественно переводных, чем провинциальные режиссеры, которым приходилось два раза в неделю ставить новую пьесу.

— Вы, товарищи, вероятно, не согласны со мной? — тоном примерной скромности спросил Всеволод Эмильевич. — Вы считаете...

Аплодисменты не дали Мейерхольду договорить.

Только Марья Михайловна простодушно шепнула на ухо своему соседу, военному атташе:

— Он просто издевается над нами.

Супруга посла и в роскошном вечернем туалете от Пуаре осталась сельской учительницей из самой скудной полосы царской России.

— Тише, тише, Марья Михайловна! — испуганно ответил сосед.

Он не хотел показаться невеждой.

О, я так и вижу Мейерхольда на премьере «Гамлета», к сожалению, не состоявшейся.

Вот он сидит на некрашеном табурете, как сатана Антокольского на утесе, и царапает кулису длинным ногтем. Это в том случае, если постановка была бы решена в конструкции.

Вероятно, Полония играл бы Игорь Ильинский.

В моем воображении возникает следующая неосуществленная сцена.

Полоний: Вот он идет. Милорд, уйдемте прочь. Скорей.

(Выходят Король и Полоний. Входит Гамлет.)

Наш сатана спрыгивает с табуретки и, как пойнтер, делает стойку.

Зрительный зал замирает. Два часа он с трепетом ждал:

Быть или не быть? — вот в чем вопрос!
Что благородней для души — терпеть
Судьбы-обидчицы удары, стрелы
Иль, против моря бед вооружась,
Покончить с ними? Умереть, уснуть...

А вместо этого:

— На, выкуси-ка, товарищ публика!

И сатана самого передового театра на земном шаре показывает зрителям нахальный шиш с маслом!

Есть от чего прийти им в восторг.

И будущий зал ахает,

А сатана уже сидит на некрашеной табуретке, самодовольно вздернув свой абсолютно неправдоподобный нос.

Очень обидно, что эта поучительная картина оказалась только в моем воображении. Невероятно грустно, что Мейерхольду не довелось осуществить постановку «Гамлета». Пусть даже с Зинаидой Райх в роли принца Датского.

Спасибо, что мастер показал «Горе от ума», то бишь «Горе уму», как похуже сначала назвал Грибоедов свою комедию.

Мейерхольд всегда поступал по украинской пословице; «Нехай буде гирше, абы инше», что значит: «Хуже, да иначе».

А ведь это великое дело! Без него, без этого «инше», все искусство (да и жизнь тоже) на одном бы топталось месте. Скучища-то какая!

Нередко, впрочем, у Всеволода Эмильевича бывали не только «гирше», а и «краще».

Сотню лет кряду Чацкий являлся «чуть свет» перед Софьей этаким кудрявым красавцем. Будто он выпорхнул прямехонько из-под горячими щипцами куафера. И, уж конечно — вылощенным проутюженным щеголем. Как говорится, с иголочки.

Словно до Мейерхольда все режиссеры читали книгу, а видели фигу.

Чацкий-то что рассказывает?

Я сорок пять часов, глаз мига не прищуря,
Верст больше семисот пронесся; ветер, буря,
И растерялся весь, и падал столько раз...

И приехал «чуть свет» прямо к Софье, а не к куаферу. Это уж после, к балу, он прикуаферится.

Поэтому у Мейерхольда Чацкий и вбегал (а не «появлялся» перед Софьей) в дорожном зипуне, в теплых шарфах:

Ну, поцелуйте же, не ждали?

А уж после того сбрасывал дорожный зипун, подбитый белым бараньим мехом. Сколько психологии! Какая правда! Умная, грубоватая правда, не притеатраленная бессмысленным франком в корсетную талию. И какое знание горячего благородного сердца! С таким сердцем тогда выходили на Сенатскую площадь. А в кармане — пистолетишко был про-

тив всей Российской империи. Потом с николаевской виселицы срывались и, упав на скрипучие доски эшафота, с горечью говорили: «У нас в России даже повесить как следует не умеют».

Именно так представил нам Мейерхольд Александра Андреевича Чацкого, вопреки Достоевскому, который нес на него напраслину, что «сам-то он-де был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса».

И, пожалуй, вопреки Пушкину, который был не слишком высокого мнения об его уме. Потому что: «Первый-де признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подобным». Не прав Пушкин. И самые умные люди частенько мечут бисер перед болванами.

У Мейерхольда Чацкого играл Эраст Гарин. Совсем уж не первый любовник. И нос с нашлепкой, и волосы не «кудри черные до плеч». Но в голове была мысль и был человеческий огонь в глазах, хотя они и не являлись «черными агатами». Куда там!

Эраст Гарин незадолго до того полюбился Москве в мещанском сынке Гулячкине из «Мандата», комедии не только смешной, но и насмешливой. Она принадлежала перу Николая Эрдмана, нашего юного друга, тоже имажиниста.

Он пришел к нам из Сокольников с медной бляхой реалиста на лаковом ремне. Мать его — Валентина Борисовна — была почти немкой, а отец — Роберт Карлович — самым чистейшим немцем со смешным милым акцентом. Из тех честных трудолюбивых немцев-мастеров, которых так любовно писал Лесков в своих повестях и рассказах.

Эрдмановские синие брюки, без пятнышка и всегда в классическую складку, мы называли «зеркальными». Право, если бы их повесить на гвоздь и в соответствующее место гля-

деть, можно было бы не только прическу сделать, но и без особого риска побриться безопасной бритвой.

Очень уж милым носом наградила мать-природа Николашу Эрдмана: под стать Гулячкину. С этакой гаринской нашлепкой и еще — с ямочками на щеках.

И небольшими умными глазами, чуть-чуть не черными. Совсем черные редко бывают умными. И широкоплечей спортивной фигуркой, когда и руки, и ноги в меру. Со всем этим Эрдман так и лез в душу. Как в мужскую, так и в дамскую... что приносит всегда удовольствие, но не всегда счастье. Несколько беспокойно это.

Вначале он поотстал от нас в славе, как пышно называли мы свою скандальную известность.

Пришли мы к ней путями многими, путями нелегкими. Доводилось темной осенней ночью даже московские улицы переименовывать. Отдирали дощечки «Кузнецкий Мост» и приколачивали «Улица имажиниста Есенина», отдирали «Петровка» и приколачивали «Улица имажиниста Мариенгофа». Председатель Московского Совета Л.Б. Каменев, похожий лицом на Николая II, потом журил меня:

— Зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок.

А в предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным коленкором. Они были выставлены в витринах по Тверской — от Охотного Ряда до Страстного монастыря. Не лишенные юмора завмаги тех дней охотно шли нам настречу.

— Поотстал, Николаша, в славе, — огорчался Есенин, — поотстал!

И быстро придумал:

— Ты, Николаша, приколоти к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску: «Имажинисту Николаю Эрдману».

— На памятнике-то женщина в древнеримской рубахе, — задумчиво возразил Эрдман. — А я как будто мужчина в брюках. Да еще в зеркальных.

— Это совершенно не важно! — заметил Есенин не без резона. — Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговоров будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.

— То-то и оно! — почесал нашлепку на носу имажинист Эрдман. — Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду незнаменитым.

Тем не менее через несколько лет он туда угодил за свои небезызвестные басни с подтрунивающей политической моралью. Угодил сначала в эту самую Чекушку, а потом и на далекий Север — в Енисейск, в Томск.

Оттуда все письма к матери, милейшей Валентине Борисовне, он подписывал так: «МАМИН-сибиряк».

А во времена лакового пояса с медной бляхой реального училища Коля Эрдман писал лирические стихи.

К примеру:

Все пройдет и даже месяц сдвинется
И косу заплетет холодная струя.
Земля, земля — веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края.

Мейерхольдовский Эраст Гарин навестил своего автора в Енисейске.

Он отправился туда весной.

Разлились реки и речушки.

Плыл, ехал и шел двадцать дней.

Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, перевязанный бечевкой.

Когда он вошел в комнату ссыльного Эрдмана, у того от неожиданности глаза раскрылись и округлились. По его же словам, «стали как две буквы О».

— Эраст!..

— Здравствуйте, Николай Робертович.

Ссыльный драматург поставил на стол поллитру, селедку с луком и студень.

Выпили. Перекусили. Поговорили малость.

Гарин расположился против окна:

— Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолет сел возле пристани. Может, он на запад летит...

— Вероятно.

— Может, меня прихватит. Пойдемте-ка спросим.

Пилот согласился «прихватить», и Гарин через час улетал на запад, так и не распаковав своего багажа... в газету перевязанного.

Через три года в Москве, опять же за рюмочкой и глазуньей, Эрдман спросил Гарина:

— Почему, собственно, Эраст, вы так быстро тогда от меня улетели?

— Да мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага.

Так хорошие артисты относились к своим авторам, если они тоже были хорошие.

Бог театра шел, шел путями мысли и опыта и наконец-то пришел к системе, которая, как известно, стала называться системой Станиславского.

— Ха, им без системы как без штанов! — сказал сатана. — Ну что ж, будет им и система. Бабахнем!

Это было еще до поездки в Италию.

И вдохновенно придумал слово: «биомеханика».

С той минуты, что ни собрание театральщиков, что ни заседание, что ни диспут, что ни статья в их журнале: би-о-меха-ни-ка!

О ней, стоявшей на трех китах: «акробатика, гимнастика и клоунада» — Мейерхольд пишет, говорит и докладывает.

У бога, конечно, — чистейший идеализм!

А у него, у сатаны, — чистейший материализм!

На улице стояла самая беспорядочная погода: ветер, мокрый снег вперемешку с ледяным дождем.

С Господом вовсе не спорница
Богословская наша горница, —

где-то написал Есенин, а потом вычеркнул. Не понравилось.

На березовых поленцах мы присели возле жаркой буржуйки. Сумерки сгущались. Но зажигать электричество не хотелось. Поглядывая на фыркающий и кашляющий огонь (поленца-то были сырые), на огонь, всегда располагающий к лирике и философии, мы с Есениным размечтались о золотом веке поэзии.

— Теперь уж недалече, — тихо сказал Есенин.

— Да. Вот стукнет нам лет по сорок...

— У, куда хватил! Значит, по-твоему, он наступит, когда уж мы старушками будем? Нет, не согласен! Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием «Эпоха Есенина и Мариенгофа».

— Давай.

— Это ведь сущая правда! Эпоха-то — наша.

— Само собой, — ответил я без малейшего сомнения.

Есенин подбросил в огонь три коротких поленца, слегка пообсохшие на горячем животе буржуйки.

При военном коммунизме дрова покупали на фунты, как селедку.

— А следующий сборник, Сережа, назовем по-чеховски. С его эпиграфом на первой странице. Он лихо придумал, да только струсил.

— Ну?

— «Покупайте книгу, а не то в морду!»

— Ох, здорово!

— Может, Сережа, сначала выпустим «В морду!», потом «Эпоху»? Я как раз «Заговор дураков» кончу, а ты своего «Пугачева».

— Правильно!

— За «Эпоху»-то Рюрик и Шершеневич не обидятся? Скажут: «А где мы? Почему только ваша эпоха?»

Есенин крякнул и почесал за ухом.

Тут неожиданно явился Мейерхольд. Он был в кожухе, подпоясанном красноармейским ремнем; в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной; в дворницких рукавицах и в буденовке с большой красной пятиконечной звездой. На ремне — полевая сумка через плечо. Только пулеметных лент крест-накрест и не хватало.

— Ты что, Всеволод, прямо с поля боя? — серьезно спросил Есенин.

— Да! — еще серьезней ответил Мейерхольд. — Прямо из Наркомпроса. С Луначарским воевал.

— Так, так.

Мейерхольд снял полевую сумку, расстегнул ремень, сбросил рукавицы, скинул кожух и, отряхнув с него воду, повесил сразу на три гвоздя, заменяющие нам вешалку. Потом вытащил из полевой сумки свои фотографии. Их называют теперь «фотокарточки».

— Прошу принять. Как знак дружбы.

И торжественно преподнес нам. Мне с надписью: «Единственному денди в Республике».

У этого «денди» было четыре носовых платка и две рубашки. Правда, обе из французского шелка.

Мейерхольд сказал:

— Сережа, Анатолий, завтра приходите ко мне в театр. Ровно в восемь. В репетиционный зал.

— А что такое? — спросил Есенин.

Глаза у Мейерхольда сверкнули сатанинскими молниями.

— Бабахаю.

— Кого, Всеволод? — спросил я.

— Самых главных простофиль.

— ЧКМ? — спросил Есенин.

— Вот увидите и услышите.

Мы пристали: расскажи да расскажи.

— Клянетесь в вечном молчании?

— Клянемся!

— Чем или кем?

— Имажинизмом! — сказали мы без малейшего юмора. — Имажинизмом, Всеволод!

Это было для нас самое святое.

Клятва вполне устроила Мейерхольда.

— Отлично.

Он стащил с ног мокрые валенки, чтобы подсушить их возле буржуйки. Но в буденовке с красной звездой почему-то остался. Очевидно, в ту эпоху комната не совсем была комнатой, а как бы залом железнодорожной станции.

— Так вот, — сказал Мейерхольд, — третьего дня я призвал к себе трех самых верных своих негодяев и так же, как сейчас, потребовал: «Поклянитесь в вечном молчании». — «Клянемся!» — «Чем?» — «Театром Мейерхольда!» — ответили ребята. Тогда я спокойно выдал им: банку с тушью, три кисточки и несколько обойных рулонов. «За ночь, товарищи, — сказал я, — вы должны красивейшим образом размалевать эти рулоны: кругами, треугольниками, квадратами, конусами, спиралями, параллелограммами, параллелепипедами и прочей математической ерундой, какая придет вам в головы. Понятно?» Ответили: «Понятно!» Я спросил: «А что, товарищи, вам понятно?» Ответили: «Бабахать будете, Всеволод Эмильевич». — «Правильно! В понедельник у нас в театре читаю лекцию о биомеханике. Перед самой многоуважаемой аудиторией».

Ровно в восемь в понедельник мы с Есениным явились в репетиционный зал. На стенах висели рулоны, красиво исчерченные — кругами, спиралями, усеченными конусами и прочей «геометрией». Для невежд в математике вроде нас вид был до крайности внушительный и до предела чарующий своей безапелляционной научностью.

На венских облезлых стульях, сдвинутых в ряды, чинно сидели члены коллегии Наркомпроса, заведующие отделами, седовласые театральные критики (которых называют «зубрами»), юные развязные рецензентики и юркие хроникеры. А старательные фотокорреспонденты общелкивали рулоны при вспышке магния.

Мейерхольд начал свою лекцию с академическим опозданием в пятнадцать минут.

Он был в глухом черном пиджаке. Вместо жилетки толстый ворсистый свитер из верблюжьей шерсти. На голове красная турецкая феска с озорной кисточкой. А в руке биллиардный кий, заменяющий педагогическую указку.

Я шепнул Есенину:

— Все тот же Доктор Дапервутто.

Так называли мейерхольдовский журнал декадентской эпохи.

На превосходном портрете Бориса Григорьева сатана был написан во фраке, в белом жилете, белом галстуке, белых перчатках и в блестящем цилиндре, съехавшем на затылок.

— Конечно, тот же Дапертутт! — ответил Есенин. — Только переменил цилиндр на красную феску. Это нетрудно. А вот душу...

Слегка ссутулясь, Мейерхольд расхаживал по репетиционному залу весомыми вдумчивыми шагами, сосредоточенно тыкал кием в плакаты, похожие на громадные страницы учебника по математике, и с профессорским глубокомыслием второй час сдержанно нес какую-то наукообразную галиматью.

Ах, какой это был блестящий спектакль! Какой великий артист этот Мейерхольд!

Если бы здесь присутствовал Константин Сергеевич Станиславский, он бы самоуспокоенно потирал руки. Его гениальный ученик сатана проглотил всю СИСТЕМУ, насытился ею и переварил. Теперь пусть озорно поплевывает на нее! Ведь это старо как мир: только бездарные ученики бывают почтительны и благодарны своему учителю. Театральному богу это известно лучше, чем кому-либо другому.

Есенин родился поэтом, Мейерхольд — комедиантом (кстати, в XVIII веке существовало и слово «трагедиям»).

К сожалению, Всеволод Эмильевич был слишком интеллигентен для того, чтобы каждый вечер приклеивать к своей физиономии чужие волосы и размалевывать ее для позорища. Так ведь назывался в старину театр. Да еще напяливать на себя грязные бутафорские тряпки!.. Но не играть, не представлять, не изображать что-то — он просто не мог. Это была его органическая потребность.

И вот Всеволод Эмильевич, наморщив брови и заложив левую руку за спину, сосредоточенно тычет кием в шутовской параллелепипед.

Само собой — на мастера благоговейно взирают. Ему благоговейно внимают. Внимают взрослые, довольно образованные люди, смертельно желающие быть самыми передовыми в искусстве.

— Дапертутт! Доктор Дапертутт! — шепчет Есенин.

15

Кафе поэтов «Домино» помещалось на Тверской, 18, как раз против теперешнего телеграфа.

Я заметил, что чувством иронии иногда обладает и загадочный рок. Тот самый загадочный рок, с которым каждый из нас вынужден считаться, хотя бы мы и не верили в него. А

я говорю это к тому, что над футуристической вывеской «Домино» во весь второй этаж растянулась другая вывеска — чинная и суровая. На ней черными большими буквами по белому фону было написано: «Лечебница для душевнобольных». Вывеска радовала наших многочисленных врагов, а нас повергала в отчаяние, как самое настоящее бедствие. Но ничего поделать мы не могли, так как во втором этаже действительно пытались лечить сумасшедших.

В тот предвесенний вечер 1919 года в маленьком зале, плавающем в папиросном тумане ржаво-серого цвета, Громовержец выступал с докладом «Наши урбанисты — Маяковский, Мариенгоф, Шершеневич».

Трибуна и узкий стол, за которым сидели мы трое, были обтянуты пурпуром. Лица и фигуры различались с трудом. О посетителях придется сказать так: комиссарская доха из лошадиного меха, буденновская длинная шинель, студенческая шинелишка, овчинный полушубок, побуревший от фронтовых непогод, чекистская кожаная куртка, интеллигентская шуба с облезлым котиковым воротником-шалью, пальтецо, подбитое ветром...

Курили мужчины, курили женщины. Причем на каждую обыкновенную приходилось примерно две проститутки. Пар валил не только из открывающихся ртов, но и от стаканов с морковным чаем. Температура в зале была ниже нуля, но не настолько ниже, чтобы могла охладить литературные страсти.

Жена Громовержца, щупленькая, карликовая и такая же черноволосая, жгуче черноволосая, как ее супруг, сидела одна за столиком возле самой трибуны. Ее круглые глазки, не мигая, смотрели в упор на человека. Они были похожи на две дырки от больших гвоздей в белой штукатуренной стене. А ее толстые сочные губы цвета сырого мяса, не отрываясь, сосали дешевые папироски, дым от которых она по-мужски выпускала из ноздрей.

Громовержец гордо провел по волосам, серебрящимся от перхоти. Его короткие пальцы были похожи на желтые окурки толстых папирос.

— Разрешите, товарищи, мне вспомнить один совет Льва Николаевича Толстого... — И Громовержец надменно повернулся к нам. — «Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то читайте хоть Фета». Умный совет. Лев Николаевич кое-что понимал в литературе.

Щупленькая супруга Громовержца захохотала восторженно, но одиноко. Это было мужественно с ее стороны.

Громовержец пребывал в приятной уверенности, что каждого из нас он по очереди насаживает на вилку, кладет в рот, разжевывает и проглатывает. Не имея в душе ни своего бога, ни своего черта, он вылез на трибуну только для того, чтобы получить удовольствие от собственного красноречия. Говорил газетный критик с подлинной страстью дурно воспитанного человека.

— Товарищи, их поэзия дегенеративна... — Он сделал многочисленную паузу, которая в то время называлась «паузой Художественного театра». — Это, товарищи, поэзия вырожденцев! Футуризм, имажинизм — поэзия вырожденцев! Да, да, вырожденцев. Но, к сожалению, талантливых.

Щупленькая супруга в сиротливом одиночестве опять захохотала и бешено захлопала в ладоши. Ручки у нее были шершавые и красные, как у тех девочек, что до самой глубокой осени бегают по двору без перчаток.

— И вот, товарищи, эти три вырожденца... — Громовержец ткнул коротким пальцем в нашу сторону. — Эти три вырожденца, — повторил он, — три вырожденца, что сидят перед вами за красным столом, возомнили себя поэтами русской революции! Эти вырожденцы...

Всякий оратор знает, как трудно бывает отделаться от какого-нибудь словца, вдруг прицепившегося во время выступ-

ления. Оратор давно понял, что повторять это проклятое словцо не надо — набило оскомину, и тем не менее помимо своей воли повторяет его и повторяет.

Громовержец подошел к самому краю эстрады и по-наполеоновски сложил на груди свои короткие толстые руки:

— Итак, суммируем: эти три выродженца...

Маяковский ухмыльнулся, вздохнул и, прикрыв рот ладонью, шепотом предложил мне и Шершеневичу:

— Давайте встанем сзади этого мозгляка. Только тихо, чтобы он не заметил.

— Отлично, — ответил я. — Это будет смешно.

И мы трое — одинаково рослых, с порядочными плечами, с теми подбородками, какие принято считать волевыми, с волосами коротко подстриженными и причесанными по-человечески, заложив руки в карманы, — встали позади жирного лохматого карлика. Встали этакими добрыми молодцами пиджачного века.

— Эти выродженцы...

Туманный зал залился смехом.

Громовержец, нервно обернувшись, поднял на нас, на трех верзил, испуганные глаза-шарики.

Маяковский писал про свой голос: «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего».

Вот этим голосом он презрительно ободрил несчастного докладчика, глядя на него сверху вниз:

— Продолжайте, могучий товарищ. Три выродженца слушают вас.

Громовержец от ужаса втянул голову в плечи. Смех зала перешел в громоподобный грохот. Казалось, что вылетят зеркальные стекла, расписанные нашими стихами.

Бедняга-болтун стал весьма торопливо вскарабкиваться на стул, чтобы сравняться с нами ростом:

— Товарищи!.. Товарищи!.. Я... как всегда... остаюсь... при своем... мнении... Они... эти выродженцы...

Больше он не мог произнести ни одного слова. Зал, плавающий в тумане, как балтийский корабль, оглушительно свистел, шикал, топал ногами, звенел холодным оружием, шпорами и алюминиевыми ложками:

— Вон!.. Вон!.. Брысь!.. В обоз!.. В помойное ведро!..

В те годы подобные эмоции не считались предосудительными. В левых театрах висели плакаты следующего содержания: «Аплодировать, свистеть, шикать, топать ногами и уходить из зала во время действия РАЗРЕШАЕТСЯ».

Жирный оратор, тяжело отдуваясь, сполз сначала со стула, а потом с эстрады. Его щупленькая мадам, всхлипывая, вытирала слезы красными шершавыми кулачками. Губы цвета сырого мяса страдальчески дергались.

— Цилечка, голубонька, не надо... Не надо, — умолял ее Громовержец, сразу очеловечившийся.

Когда мы опять сели за пурпуровый стол, я шепнул Маяковскому:

— Одной фразой этот болтун мог бы нас уничтожить.

— Какой?

— На его месте я бы сказал так: «Аристотель утверждает, что в Эфиопии даже на высшие государственные должности выбирали граждан по росту и красоте».

Маяковский мрачновато рассмеялся. Он не умел смеяться лихо и весело.

— Но ведь для этого надо почитывать Аристотеля.

— Или хотя бы русские мемуары.

И я рассказал, как лет двести тому назад ответил Дмитриевский одному дураку. Спор шел об «Атрее», поставленном Алексеем Яковлевым в свой бенефис. Дурак воскликнул: «Значит, наш Алеша выше великого Лекена?..» Первейший артист ответил: «Ростом, душа моя, ростом выше. Вершка на три выше!»

— Вы правы, — сказал Маяковский, — мы сразили гнусняка не первоклассным оружием... Впрочем, наплевать. Лишь бы в дерьме валялся.

— Лезь, Толя, на кафедру, — сказал Шершеневич. — Тебе выступать.

Я поднялся на пурпуровую трибуну и в академическом тоне стал сравнивать человека с орангутаном.

— Это человекоподобное животное, — уверял я, сославшись на достопочтенного ученого, — испытывает ревность и бывает подозрительно. Знает великодушие и мстительность. Знакомо с благодарностью и умеет обманывать. Животное не только понимает смешное, но и само обладает чувством юмора. Оно не лишено воображения и любопытства. Так же как человек, сходит с ума. Что же в таком случае, — спросил я, — отличает нас с вами от орангутана?

И ответил, кивнув на Л. Б.:

— Друзья мои, из всех различий между человеком и человекообразными животными наиболее существенное — это нравственное чувство. То есть как раз то, что полностью отсутствует у критиков из породы сегодняшнего оратора. Они говорят сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Но главным образом то, что приносит им пользу, помогая сделать карьеру при тех или иных обстоятельствах.

— Правильно, Толя! — крикнул Есенин из зала.

— А вообще...

Мне вдруг надоело играть в академию, и я сказал прямо в лицо критику:

— А вообще мы только зря тратим на вас время. Ведь вы... пар над супом. Все вы — пар над супом. На кой черт он нужен? Какая от него польза? От этого пара над супом!

Меня шумно поддержали дорогие моему сердцу буденновские овчины, побуревшие от фронтовых непогод.

А вот и другой диспут в том же кафе «Домино».

На трибуне Маяковский.

За пурпуровым столом три маститых критика — Ю. Айхенвальд, Петр Семенович Коган и профессор Сакулин.

Ю. Айхенвальд в очках с очень толстыми стеклами. Но и они, вероятно, недостаточно толсты. Поэтому критик все время щурится. Неужели и у него есть желание что-то увидеть в этом мире?

Ю. Айхенвальд — эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. Даже чересчур интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и узкая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутюженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного.

В тот вечер мне припомнился случай с Победоносцевым. В Киевской лавре старый монах показывал ему мощи. «Благодарю вас, — сказал учтивый Победоносцев. — Я желаю и вам после смерти сделаться такой же хорошей мощей».

Ю. Айхенвальд стал «хорошей мощей» уже при жизни. Профессор Сакулин словно сошел с иконы суздальского письма. У него длинные прямые волосы, длинная борода и всепрощающие глаза. Свои книги он пишет для великого русского народа, который его не читает. Его лекции, посещаемые преимущественно барышнями из хороших семейств, это не лекции, а служение во храме литературы.

Петр Семенович Коган по виду более современен, чем его коллеги. Он похож на провизора из провинциальной аптеки. Горбинка на носу, шея, как у пивной бутылки, и волосы в сплошной мелкий завиток. Он говорит удивительно гладко, не понижая и не повышая голоса. Говорит с безукоризненными запятыми. Знак восклицательный, знак вопроса и многоточие отсутствуют в его речи. На моей памяти этот оратор

ни разу не запнулся, ни разу не кашлянул и не сделал ни одного глотка воды из стакана. Его общедоступные лекции я слушал еще в Пензе, будучи гимназистом, и уже тогда был убежден, что они могли бы превосходно излечивать от бессонницы самых тяжелых психастеников.

Маяковский взошел на трибуну после Петра Семеновича. Первым выступал профессор Сакулин, вторым — Ю. Айхенвальд.

— Товарищи, — начал Маяковский, — этот Коган сказал...

И, не оборачиваясь, поэт ткнул внушительным пальцем в сторону Ю. Айхенвальда.

Хорошо воспитанный, интеллигентный человек еще больше сощурился и поправил галстук.

Минуты через три Маяковский, вторично ткнув пальцем в сторону Ю. Айхенвальда, повторил:

— Так вот... этот Коган сказал...

Тот, который не был Коганом и меньше всего мечтал им быть, как-то мучительно повел длинной худой шеей, словно ему был тесен крахмальный воротничок, и дрогнувшими пальцами поправил на носу очки.

Мы все как один блаженно заулыбались. Критики не были для нас самыми дорогими существами на свете.

— Интересно! — сказал Есенин.

— Тс-с-с.

Маяковский снова ткнул пальцем в знакомом направлении:

— Этот Коган...

Белоснежным платком эстет вытер на лбу капли пота, вероятно холодного, и шуршаще-шелестящим голосом деликатно поправил своего мучителя:

— Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, я Айхенвальд.

Но Маяковский, как говорится, и носом не повел. Мало того, примерно через минуту он в четвертый раз ткнул паль-

цем в несчастного эстета, который бледнел и худел на наших глазах:

— Этот Коган...

Ю. Айхенвальд нервно встал, вытянул шею, вонзил, как вилки, свои белые, бескровные пальцы в пурпуровый стол и сказал так громко, как, думается, еще никогда в жизни не говорил:

— С вашего позволенья, Владимир Владимирович, я Айхенвальд, а не Коган.

В кафе стало тихо.

А Владимир Владимирович, слегка скосив на него холодный тяжелый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением:

— Все вы... Коганы!

«Иногда бывает: идешь мимо буфета третьего класса, видишь холодную, давно жаренную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта неаппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна и ее едят, и есть люди, которые находят ее вкусной».

Господи, да ведь это же Антон Павлович о них сказал, о критиках.

В том же «Кафе поэтов» было «Явление народу имажиниста Рюрика Ивнева». Теперь бы это назвали несколько иначе: «Творческий вечер Рюрика Александровича Ивнева».

Тоненьким девичьим голоском, трагически поднимая тяжелые глаза к потолку, он читал хорошие стихи:

Под скрип голенищ, и сутолоку,
И ругань пунцовых ртов
Мне стало вдруг так хорошо и жутко,
Как мертвому среди льдов.

Перед самой эстрадой за стеклянным столиком, жуя сахариновые эклеры, сидела парочка «недорезанных буржуев».

Так говорили тогда. Он был в черной шубе на еноте и с каракулевым воротником-шалью. Лицо бритое, желтое, тучное, лоснящееся, все в дырах и дырках, как швейцарский сыр. Она — «в котиках», по выражению московской шпаны. Рыжая. Очень рыжая. Даже глаза какие-то рыжие. Думается, что Ренуар охотно написал бы ее портрет «ню». Этот замечательный художник говорил, что голая женщина должна быть написана так, чтобы хотелось ее похлопать по заду. Вероятно, и ее портрет, будь он написан ренуаровской кистью, очень бы хотелось похлопать ладошкой по тому месту.

Заря еще не слепила очи,
Но я ослеп от глаз и губ
И вот, прилепившись к толпе всклокоченной,
Иду, — как дерево шло бы на сруб.

Читал Рюрик Ивнев певучим тоненьким тихим голоском.

А одновременно с ним человек с лицом, как швейцарский сыр, говорил какие-то пустые фразы своей рыжей даме. Он говорил гораздо громче, чем читал стихи наш женственный друг.

Есенин крикнул:

— Эй... вы... решето в шубе... потише!

Рыжая зарделась.

И я плетусь, как лошадь под ударом,
И вижу тень позорного столба
И очертанья каторжного лба
В трактире за кипящим самоваром, —

в отчаянии продолжал попискивать поэт с эстрады, нередко соперничающей с Голгофой.

А решето в шубе, даже не скосив глаз в сторону Есенина, продолжало хрипло басить свою муру.

— Вот сволочь! — прошептал со злобой Есенин.

— Скажи, Сережа, швейцару, чтобы он его выставил, — посоветовал я. — В три шеи выставил.

— А я и без швейцара обойдусь, — ответил Есенин.

И, подойдя к столику «недорезанных», он со словами: «Милости прошу со мной!» — взял получеловека за толстый в дырочках нос и, цепко держа его в двух пальцах, неторопливо повел к выходу через весь зал. При этом говорил по-рязански:

— Пордон... пордон... пордон, товарищи.

Посетители замерли от восторга.

Швейцар шикарно распахнул дверь.

Рыжая «в котиках» истерически визжала:

— А!.. А!.. А!.. А!..

После этого веселого случая дела в кафе пошли еще лучше: от «недорезанных буржуев» просто отбоя не было. Каждый, вероятно, про себя мечтал: а вдруг и он прославится — и его Есенин за нос выведет.

Имажинисты находились в непрерывной полемике с Маяковским. Острие словесной рапиры тогда не было притуплено гуманным деревянным шариком, как это принято у спортсменов сегодняшних дискуссий. Поэтому чуть ли не ежевечернее горячая, но невидимая кровь лилась ручьями. Все, что касается души, к сожалению, невидимо. А может быть, это к счастью.

Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто — сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в «Стойле Пегаса» — нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом.

Но у нашего гения словесной рапиры была своя ахиллесова пята. Я бы даже сказал — пяточка. Тем не менее она доставляла всем нам крупные неприятности.

«Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего», — написал Маяковский.

Понятия не имея об этой великолепной, образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, несколько позже напечатал: «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего».

Такие катастрофические совпадения в литературе не редкость. Но попробуй уговори кого-нибудь, что это всего-навсего проклятая игра случая.

Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь своей немалый рост и зычно объявлял:

— А Шершеневич у меня штаны украл!

Бесстрашный литературный боец, первый из первых в Столице Мира, мгновенно скисал и, умоляюще глядя то на Есенина, то на меня, растерянным шепотом просил под хохот бессердечного зала:

— Толя... Сережа... спасайте!

Мы идем мимо Страстного монастыря, стены которого недавно расписали своими стихами:

Пою и взываю: Господи, отелись!
Есенин

Граждане, душ меняйте белье исподнее!
Магдалина, я тоже сегодня
Приду к тебе в чистых подштанниках.
Мариенгоф

Хорошо светит большая луна. Прелестно пахнут цветущие липы.

Шершеневич в шикарном светло-сером пиджаке в крупную клетку. Но предательский верхний карман... с правой стороны, так как пиджак перевернут. Почти у всех франтов той эпохи верхние карманы были с правой стороны.

— Внимание, друзья, Уитмену! — И, жестикулируя по таировской школе, Шершеневич читает американского поэта почти так же громко, как в Большом зале консерватории.

Редкие прохожие смотрят на него испуганно, как на сумасшедшего.

— Вадим, — говорю я, — положи в карман книгу и взгляни на небо.

— Зачем?

— Для вдохновения!

Он отвечает:

— Меня лучше вдохновляет Уитмен!

И добавляет:

— Что вы там с Сережей не толкуйте, а талантливо написанное чужое стихотворение вдохновляет куда больше, чем полнолуние, чем пахучие цветочки на липах или нежная страсть. Говорят, и такие бывают страсти.

Тогда я полушутя спрашиваю:

— А может, Димочка, ты в самом деле у Маяковского штаны украл?

— Ей-богу, нет!

Моя маленькая теща, напуганная нелегкой жизнью, любила говорить о себе:

— Одна, как палец.

Этот неточный образ вызывал у меня улыбку.

— Но ведь пальцев-то, мамаша, на правой руке пять и на левой пять, не говоря уже о ногах. Почему же «одна, как палец»?

Она смотрела на меня скорбными глазами, кивала, видимо соглашаясь, а завтра опять говорила:

— Одна, как палец.

В конце концов этот неточный образ стал для меня прелестным лирическим символом одиночества.

Надо сказать, что у маленькой старушки, кроме любящей и заботливой дочери, был еще и сын, который обцеловывал ее при торопливых встречах.

Дочь — актриса. Сын — художник. А она — мать. И все! Маленькая, старенькая, домашняя мама двоих взрослых людей. У них своя жизнь. Она внутренне далека от нее, чужда ей и почти непонятна. Поэтому, как бы ее ни обцеловывал всегда убегающий Семочка, как бы нежна и заботлива ни была с ней Нюрочка, всегда торопящаяся на репетицию или на спектакль, сколько бы они — эти «хорошие дети» — ни лепетали второпях: «Любименькая мамочка», «Сладенькая мамочка», — она неизменно чувствовала себя оставленной, покинутой, забытой. Впоследствии, даже убаюкивая годовалого внука, в котором, конечно, души не чаяла, она грустно покачивала головой:

— Одна, как палец!

К чему я это рассказал?

Да вот вижу сходство между моей маленькой тещей и Маяковским.

Я не бывал у него в доме, и он не бывал у нас. Как говорится — шапочное знакомство. Или верней — шляпочное. Но эти свои фетровые шляпы нам приходилось снимать при встречах довольно часто: на Тверской, на Петровке, на Кузнецком Мосту, на Бульварном кольце «А», на вокзалах, на дачных дорожках. А здоровались за руку — в театрах, в клубах, в кафе, в Литературно-художественном кружке, на вернисажах, в Центропечати, в Наркомпросе, в издательствах. И всякий раз при этих случайных встречах я думал о нем: «Один, как палец!»

Потому что никогда я не видел Маяковского вдвоем или в тесной дружеской компании. Никогда не видел его с веселым, молодым и счастливым глазом.

А если доводилось нам перекинуться несколькими фразами, он либо острил, либо пытался острить, словно не имел

права бросить слово-другое просто так. От этого становилось тяжело, скучно и как-то не по себе.

Я как-то сказал Есенину:

— Маяковский, словно старый царский генерал, который боится снять штаны с красными лампасами. А вдруг без этих штанов и генералом не окажется!

Вот мы с Никритиной сидим ночью в Литературно-художественном кружке, который тогда помещался в особняке какого-то бывшего посольства, почти насупротив нашей Богословской квартиры.

Подходит Маяковский:

— Можно присесть?

— Пожалуйста, Владимир Владимирович, — радушно приглашает Никритина.

Я придвигаю третий стул:

— Прошу.

— Благодарю.

Он садится, закуривает и смотрит исподлобья на никритинские серьги, стекающие с мочек двумя тонкими струйками зеленоватой болотной воды.

— Какие красивые у вас... серьги! — каламбурит Маяковский.

Никритина принужденно улыбается.

Маяковский берет карточку с дежурными блюдами и мрачно читает ее, словно это извещение о смерти близкого человека.

Мне подают на закуску великолепный телячий студень с хреном в сметане.

Маяковский переводит на студень тяжелый взгляд и спрашивает:

— Вы, значит, собираетесь умывальником закусывать?

Я отвечаю коротко:

— Да.

Студень действительно похож на мраморный умывальник, из которого я мылся в детстве. Образ точный. Но закусывать умывальником невкусно.

Мрачновато, мрачновато!

Госиздат.

Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлы, расставив ноги:

— Товарищ главбух, я в четвертый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу.

— В пятницу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу прошу пожаловать.

— Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых пятниц не будет. Ясно?

— Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки.

— Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз...

Главный бухгалтер перебивает:

— На нет и суда нет, товарищ Маяковский!

Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на желтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шелковой рубашки.

Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на темные, глядящие исподлобья глаза, похожие на чугунные гири в бакалейной лавке. «Вероятно, будет меня бить», — решает главный бухгалтер. Ах, кто из нас, грешных, не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человека помучить.

Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав.

«Ну вот, сейчас и влепит по морде», — думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми безволосыми руками.

— Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом кабинете, буду танцевать чечетку, — с мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. — Буду ее танцевать до тех пор, пока вы сами, лично не принесете мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу.

Главный бухгалтер облегченно вздыхает «Не бьет, слава богу».

И, опустив безволосые руки на аккуратные кипы бумаг, произносит голосом говорящей рыбы:

— Милости прошу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу от трех до пяти.

Маяковский выходит на середину кабинета, подтягивает ремень на брюках и: тук-тук-тук... тук-тук... тук-тук-тук... тук-тук.

Машинистка, стриженная, как новобранец (вероятно, после сыпного тифа), шмыгнув носом, выскакивает за дверь.

Тук-тук-тук... тук-тук... тук-тук-тук... тук-тук...

Весь Госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский.

Паркетный пол трясется под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на желтых тонконогих столиках, звеня, прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запыленные стекла.

Маяковский отбивает чечетку сурово-трагически. Челюсти сжаты. Глядит в потолок.

Тук-тук-тук... тук-тук-тук...

Никому не смешно. Даже пуговоносому мальчугану-курьеру, который, вразлад со всем Госиздатом, имеет приятное обыкновение улыбнуться, говоря: «Добрый день!» или «Всего хорошего!».

Через несколько минут главный бухгалтер принес Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги.

16

За стеклянным столиком «Кафе поэтов» почти ежевечернее сидел бывший террорист, бывший левый эсер Яков Блюмкин.

Этому чернобородому человеку уже пошел двадцать второй год. Значит, не слишком был молод, по счету того времени. Другой наш приятель, тоже недавний левый эсер, красавчик с природной мушкой на румяной щеке — Юрочка Саблин — был помоложе, а уже командовал армией, громившей Колчака на Урале.

Ленину в восемнадцатом году было сорок восемь. Его в партии давно уже называли Стариком.

Однажды иду я по Александровскому саду. Навстречу фельетонист «Правды» Михаил Кольцов. Он прямо от Владимира Ильича из Кремля.

— Безобразие! — говорит Кольцов с нежностью в голосе. — Взяли Старика в халтуру. Прихожу, а он примус накачивает, чтобы суп себе подогреть.

Эпоха!

Большевики не так давно заключили мир с немцами. Чтобы разорвать его, Яков Блюмкин по решению левоэсеровского ЦК пристрелил в Москве немецкого посла графа Мирбаха.

Выстрел был хорош, но мира он, как известно, не нарушил. Немцы выдохлись. Им уже было не до войны с нами из-за мертвого графа.

Убийцу немедленно посадили в ВЧК.

Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счет жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь.

Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках? И он прилепился ласково, заискивающе. К тому же левоэсеровское ЦК вынесло решение: «Казнить предателя». Опять для Блюмкина запахло смертью. А он — как мы уже знаем — не очень-то любил этот запах. Впрочем, как и большинство жалких смертных. И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левоэсеровские террористы ради «гнусного предателя» (как именовали они теперь своего проштрафившегося «героя») приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев.

Перед закрытием на ночь «Кафе поэтов», Блюмкин всякий раз умоляюще говорил:

— Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня.

Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в «Метрополе», называвшемся 2-м Домом Советов.

Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона.

Слева обычно шел я, справа — Есенин, посередке — Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки.

Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. И обожал — надо не надо — целоваться. Этими-то мокрыми губами!

Как-то в «Кафе поэтов» молодой мейерхольдовский артист Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запылившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами.

— Хам! — заорал Блюмкин. И мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, направил его черное дуло на задрожавшего артиста. — Молись, хам, если веруешь!

Все, конечно, знали, что Блюмкин героически прикончил немецкого графа. Что ж ему стоит разрядить свой браунинг, заскучавший от безделья, в какого-то мейерхольдовского актеришку?

Неудивительно, что Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной.

К счастью, мы с Есениным оказались поблизости.

— Ты что, опупел, Яшка?

— Болван!

И Есенин повис на его поднятой руке.

— При социалистической революции хамов надо убивать! — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. — Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет.

Романтик! Таких тогда было немало.

Есенин отобрал у него браунинг:

— Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.

— Отдай, Сережа, отдай, — взмолился романтик. — Я без револьвера как без сердца.

Несколько позже романтик возглавил охрану наркомвоена Троцкого.

— Ребята, хотите побеседовать со Львом Давыдовичем? — покровительственно спросил Блюмкин. — Я могу устроить встречу.

— Хотим!

— Очень!

— Устраивай!

Примерно через неделю Блюмкин явился к нам на Богословский.

Я лежал с перевязанной шеей и каждые четверть часа полоскал горло перекисью водорода.

— Ребята, сегодня едем ко Льву Давидовичу. Будьте готовы.

— Есть!

— Будем, как огурчики!

И счастливый Есенин побежал мыть голову, что всегда делал, когда хотел выглядеть покрасивей и попоэтичней.

— Ой, а у меня тридцать восемь и пять. Ангина проклятая, — простонал я, поспешно разбинтовывая шею. — Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.

— И не подумаю давать. Лежи, Анатолий. Я не могу позволить тебе заразить Троцкого.

— Яшенька, милый...

— Дурак, это контрреволюция!

— Контрреволюция? — испуганно пролепетал я.

— Лежи! Забинтовывай шею! Полощи горло! — повелел романтик, торопливо отходя от моей кровати.

Он ужасно трусил перед болезнями, простудой, сквозняками, мухами («носителями эпидемий») и сыростью на улице: обязательно надевал калоши даже после летнего дождичка.

До начала беседы Есенин передал Троцкому только что вышедший номер нашего имажинистского журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном».

На первой странице первого номера я писал примерно вот что:

«Раньше прекрасное искусство еще называлось изящным.

Что же это такое?

Говоря языком образа, это означает: горы не особенно высокие, подъемы не очень крутые, пропасти... Ах, лучше бы пропастей и совсем не было, а не то еще свалишься!.. Пусть-де все обстоит так, чтобы для путешествующих подъем на гору не был опасной экспедицией ради открытия каких-то высот, а только приятной прогулкой для собственного удовольствия. Чтобы ничто не нарушило ни элегантного свойства литературной походки, ни легкости светских манер в поэзии, усвоенных с такой трудностью от иностранных воспитателей.

До чего же изменилась природа прекрасного в наши дни!

У слова походка тяжелая; смысл — широк, без запретов.

В выражении своих мыслей мы прямы, просты, откровенны, а потому кой-когда и грубоваты.

Почему же природа искусства все-таки называется прекрасной? Могут ли обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя?

Безусловно! Потому что мы ищем и находим сущность прекрасного в катастрофических потрясениях современного духа, в опасностях Колумбова плавания к новым берегам нового миросозерцания. Так понимаем мы революцию».

Троцкий, взглянув на журнал, сказал:

— Благодарю вас.

И, выдвинув ящик письменного стола, достал тот же номер «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», чем сразу и покорил душу Есенина.

В журнале была напечатана моя «Поэма без шляпы».

В ней имелась такая строфа:

Не помяни нас лихом, революция.
Тебя встречали мы какой умели песней.
Тебя любили кровью —
Той, что течет от дедов и отцов.
С поэм снимая траурные шляпы, —
Провожаем.

— Передайте своему другу Мариенгофу, — сказал Троцкий, — что он слишком рано прощается с революцией. Она еще не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция — это движение. А движение — это жизнь.

«Поэма без шляпы» была написана в 1922 году.

Как нетрудно догадаться, при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюмкина... под пение, вернее — хрипение, «Интернационала».

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов! —

только и успел прокричать наш романтик.

Это мне рассказал член коллегии ВЧК Агранов, впоследствии тоже расстрелянный.

А когда поставили к стенке старика Мейерхольда, он, как мне передавали, воскликнул:

— Да здравствует революция!

Это мой век.

Только в моем веке красные штаны, привязанные к шесту, являлись сигналом к буре в зале бывшего Благородного собрания.

Только в моем веке расписывались стены монастыря дерзкими богохульными стихами.

Только в моем веке тыкали пальцем в почтенного профессора Ю. Айхенвальда и говорили: «Этот Коган!»

Только в моем веке знаменитый поэт танцевал чечетку в кабинете главного бухгалтера, чтобы получить деньги!

Только в моем веке террорист мог застрелить человека за то, что он вытер портьерой свои полуботинки.

Только в моем веке председатель Совета народных комиссаров и вождь мировой революции накачивал примус, чтобы подогреть суп.

И т. д. и т. д.

Интересный был век! Молодой, горячий, буйный и философский.

17

В Москву приехала Айседора Дункан. Ее пригласил Луначарский. Для себя и для своей будущей школы знаменитая босоножка получила от нашего правительства роскошный особняк на Пречистенке. По-купечески роскошный особняк.

— Толя, — сказал Есенин, усевшись на стол, за которым я трудно ковырялся, как говорили мы, над лирическими строчками. — Толя, слушай, я познакомился с Айседорой Дункан.

— Очень рад, — сказал я, не отрывая глаз от рукописи. — Поздравляю.

— Я влюбился в нее, Анатолий.

— Ты? Влюбился?

— По уши!

— Ты?..

— Честное слово!

— Не верю, Сережа.

— Почему это ты не веришь?

— Не верю, — повторил я, обмакнув перо в чернила.

— Уж, может, я не могу влюбиться?

— Полагаю.

Он почесал за ухом.

— Ну, увлекся, что ли.

— Ты? Увлекся?

Он опять почесал за ухом.

— Ну, ладно, ладно. Она мне понравилась.

— Так ведь кругом говорят, Сережа, что она... Есенин перебил:

— А я люблю пожилых женщин.

— Люби, люби на здоровье!

Но кляксу я все-таки посадил.

— И буду любить. Буду!

Вдруг он испуганно взглянул на лист бумаги, который лежал передо мной:

— Что? Кляксу посадил? Сейчас посадил?

— Ага.

Он мрачно взглянул на меня:

— Это дурная примета... Эх, растяпа!

Я скомкал лист и выбросил его за окно.

— Все равно это дурная примета.

— Вот вздор-то!

— Увидишь!

— Не болтай чепухи, Сережа.

— Пушкин тоже в приметы верил.

— Сто лет тому назад.

— А писал-то он стихи сто лет тому назад не хуже нас с тобой.

Вскоре Есенин перебрался к Дункан, в ее особняк на Пречистенке.

18

Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились.

— Ишь, потрескивает. Не дрова, а порох! — говорит Есенин. — Кто покупал? Небось Мартышон?

И подсаживается еще ближе к огню:

— Русская кость тепло любит.

На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны.

Есенин мнет в пальцах зеленые иглы.

— Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом.

Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши бритвенные приборы и обломок зеркала, прислоненный к флакону тройного одеколона. Теперь на ней: никритинский трельяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады.

— Тумбочка-то наша холостяцкая, — говорит он, — каким туалетом стала!

Рассматривает себя со всех сторон в трельяжик и нюхает духи «Персидская сирень» парфюмерного треста «Жиркость». Так в те годы именовалось ТэЖэ.

— Приятные...

И душится. Почему-то за ушами.

— У нас в Рязани сирени мно-о-ого!

Потом большой лебяжьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски — один нос.

— Мы-то с тобой, два дурака, аптекарской ватой после бритья пудрились.

И расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи.

— Красота!.. Только в кармане его носить неудобно.

И кладет гребень на прежнее место.

— Ну, мне пора.

— Подожди, Сережа. Через полчаса придет Нюша. «Ящик с игрушками» кончается рано. Попьем чайку. Есть холодная баранина. Мартышка еще что-нибудь придумает.

— Да нет.

И надвигает на самые брови высокую бобровую шапку с черным бархатным донышком.

— Поеду на свою Пречистенку клятую. Дунканша меня ждет.

— Может, останешься? Ночуй с нами, Сережа, в старых пенатах.

— Нет, поеду.

И нехотя надевает шубу.

— Поеду. Будь она неладна!

И натягивает кожаные перчатки на пальцы, помальчишески растопыренные.

— Право, Сережа, оставайся. Гляди, как метет на улице.

— Поеду.

Он застегивает шубу на все пуговицы и поднимает воротник, как на морозе:

— Будь здрав.

— Ты сказал, Сережа: «Клятая Пречистенка». Да ну ее к богу! Сыпь домой. Насовсем домой. Мартышка будет рада.

Он кладет на мои плечи обе руки и, глядя в глаза, говорит вслух то, что, вероятно, не раз и не два говорил самому себе:

— Нет, Толя, не могу я, да и не хочу сидеть на краешке чужого гнезда.

И круто поворачивается на каблуках.

— Мартышону кланяйся.

— Поклонюсь, поклонюсь.

Я молча провожаю его до парадного.

— Прибегай, Сережа.

— Спасибо.

— Прибегай завтра.

— Постараюсь.

Дверь хлопнула. Возвращаюсь не спеша в нашу комнату, натопленную, пахнущую сосной и ставшую гораздо уютней от белой скатерти на столе, от шотландской косынки в зеленую клетку на скучной ореховой тумбе, от лебяжьей пуховки и большого черепахового гребня, свидетельствующих о женщине.

Но в груди у меня щемит. Что-то подступает к горлу. Я опускаюсь на низкую табуретку возле потухающей буржуйки. Сижу тяжело, грузно, с уроненной головой и как будто с нечистой совестью. Словно сделал что-то очень жестокое, непоправимое, но неизбежное.

Потом повторяю есенинские слова:

— «Клятая Пречистенка!»

Ах, Дункан, милая, дорогая и задора, и надо же было тебе повстречаться на его пути!

Вспоминаю диалог из каких-то мемуаров:

— Почему, друг мой, ты не женился на этой знаменитой и богатой женщине?

— Да потому, — ответил мужчина, — что не хотел стать женой своей жены. Кто, где, когда перекинулся этими фразами? А бог его знает. Но они поучительные.

Есенин, конечно, не стал «женой своей жены». Не тот характер. Но, к сожалению, не стал и ее другом. По большому

жизненному счету — не стал и мужем. Любовь и дружба, в моем понимании, неразделимы при жизни вдвоем. При человеческой жизни вдвоем. А не в собачьей свадьбе.

Отыграв «Ящик с игрушками», Нюша встретила Есенина на нижней площадке нашей лестницы и тащила его за рукав обратно в дом. Очень тащила. Но он упрямо твердил свое:

— Нет, поеду, Мартышон, поеду.

И уехал.

Не дотащила она Сережу.

19

Василий Иванович Качалов подарил мне свою фотографическую карточку. Надпись на ней была в стихах:

Толя, Толя Мариенгоф!
Я давно твоих стихов
Поддавался обаянью
Рад был первому свиданью,
Кажется, в «Гостинице»,
В той, где «имажиниться»
Собиралась ваша рать.
Рад был издали слыхать,
Что почти вы без штанов,
Но богаты звоном слов.
А потом тебя — живого —
Как-то привела Пыжова
Вместе с Нюрой, вместе с Саррой
И в квартирке нашей старой
Мы, бывало, до утра
Пили водку и «Абрау»
Я читал стихи Сергея,
Ты свои стихи читал,
И на профиль твой Бердслея
Джим смотрел и засыпал.

Эта качаловская «квартирка старая» находилась во втором этаже деревянного флигеля, что стоял во дворе Художественного театра.

В таких квартирках в Пензе жили самые мелкие чиновники, а в Москве сторожа и дворники. Крохотные комнатки, с крохотными оконцами, с низкими потолками, с поскрипывающими половицами и поющими дверями.

Но до чего же была уютна, радушна, тепла, сердечна, гостеприимна эта дворницкая квартирка!

Я не скажу, какого времени — павловского или александровского — была качаловская мебель, но в креслах было удобно сидеть, на диване — развалиться, а за круглым столом о пяти ножках — вкусно елось, хорошо пилось и чудесно разговаривалось. Потому что не только молодым гостям, но и хозяину, который находился в великолепной мужской зрелости, никто еще не говорил: «Вася, тебе гуся с яблоками нельзя!» — «Нет, нет, только не поросенка!» — «Положи обратно кусок, положи! Вот, пожалуйста, это твое белое мясо — куриная грудка с рисом».

Или: «Вася, Вася, ты уже две рюмки выпил. Хватит! Сам же сегодня доктору слово дал!»

Нет, хвала Господу, тогда еще всем и все было дозволено, никто не смотрел трагическим глазом на гусиный филейчик, никто не выхватывал изо рта папиросу и не вел счета рюмкам, стопкам, бокалам. Этого скучного и скорбного счета, портящего жизнь.

Ольгу Ивановну Пыжову я бы тоже отнес к ряду некрасивых красавиц. Разноцветные глаза этой актрисы Художественного театра воспел в своем рассказе один из «Серапионовых братьев». Язычок у Пыжовой был тонкий и острый, как лезвие бритвы, которая почему-то называется безопасной. А о пыжовском нраве следовало бы сказать приблизительно те же слова, что сказал Пушкин о комедии Бомарше:

Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Справедливость этого пока еще может кое-кто засвидетельствовать. Через год, другой, третий — еще меньше. Не за горами тот день, когда их не сыщешь и днем с огнем. А жаль! Хорошие свидетели. Они умели и настоящими стихами побаловать человека, и на сцене играли неплохо, и недурно ставили пьесы, и могли до вторых петухов с толком и жаром поговорить об искусстве.

Недавно в МХАТе одного из этих свидетелей, убеленного сединами, отмеченного лысиной, как у линяющего орла, и обласканного народной любовью, принялся поучать бойкий служащий из Министерства культуры. Мой свидетель слушал, посапывая, кивал и вдруг буркнул оттопыренными губами:

— Умерли.

— Простите, кто умер?

— А те, кто мог учить меня.

Так вот: эти немногие свидетели могут подтвердить, что, когда Ольга Ивановна была в настроенье, — а в те времена это не являлось редкостью, — она с лихвой заменяла для нашей небольшой компании бутылку шампанского, на которую не всякий день мы могли раскошелиться.

Пыжова жила в небольшой коридороподобной комнате. Единственное окно выходило на площадь, которая меняла памятники, как меняет мужей современная женщина. Перед ампирным дворцом сначала стоял белый генерал по фамилии Скобелев; потом олицетворявшая свободу замоскворецкая молодуха в древнеримском одеянии; она была высечена из шершавого серого камня и держала в руке гладкий шар. Художник Якулов называл его арбузом. Теперь на этой площади высится монумент основателю Москвы. Он крепко оседлал лошадь Васнецова с картины «Три богатыря».

В коридороподобной комнате Пыжовой сиживали знаменитейшие футуристы, имажинисты, «Серапионовы братья», композиторы, режиссеры и художники.

Рассказывают, что Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне.

Женщины моего века тоже принимали у себя в спальне, но этому никто не удивлялся, потому что никаких других комнат, как правило, у них не было.

Про дочку победителя Наполеона еще рассказывали, что, когда избранный посетитель намеревался сесть, она взволнованно останавливала его:

— Не сюда, не сюда! Это кресло Пушкина!.. Ой, не на диван! Это место Жуковского... Нет, нет, и не на этот стул. На нем сидел Гоголь!

И ласково заключала:

— Друг мой, садитесь ко мне на кровать. Это место для всех.

Упаси меня боже от каких-нибудь аналогий!

Не знаю, как другие, а в особенности литературные критики, но лично я верю в любовь с первого взгляда. Верю хотя бы потому, что сам так влюбился. Кроме того, и отец английской драматической литературы сказал: «Тот, кто любил, всегда любит с первого взгляда». В той же степени, если даже не больше (и тут некоторый опыт у меня имеется), верю и я в дружбу с первого взгляда. Именно так — с первого взгляда подружился я с Сергеем Есениным, с Сергеем Образцовым, с Ольгой Пыжовой. Вероятно, подобное случается только в молодости, когда трезвый ум, к счастью, не слишком вмешивается в наши чувства.

В конце первого вечера приятного знакомства на капустнике Камерного театра Ольга Пыжова уже с нежностью говорила и мне, и Никритиной, и Сарре Лебедевой:

— Ну, гады...

Нет, никогда не понять и старым, и новым «этим Коганам» теплого пыжовского слова!

Через два дня, сверкая своими разноцветными глазами, она объявила Качаловым, с которыми была в самых тесных отношениях:

— Сегодня после спектакля я приведу к вам трех гадов: Мариенгофа, Никритину и Лебедеву.

Для Василия Ивановича и Нины Николаевны слово «гад» было рекомендацией более чем достаточной.

Едва мы сняли шубы и переступили порог, Качалов сказал:

— Что ж, сядем за стол.

— А я уже сижу! — крикнула из столовой Пыжова, нацеливаясь вилкой в «розовую рыбку», как она называла лососину.

Кто не знает, что в гостях самые нудные, самые тягучие те полчаса, что выпадают на вашу долю от появления в доме до «прошу за стол, друзья мои!».

У наших радушных хозяев (вот хитрецы!) этих тягучих тридцати минут не оказалось — увильнули от них.

— Что ты скажешь, Вася, о моих гадах? — спросила Пыжова, жуя «розовую рыбку».

Но Василий Иванович вместо того, чтобы ответить на ее лобовой вопрос, как теперь говорится, уже наполнил большие рюмки ледяной водкой, настоянной, как полагается, на лимонных корочках.

Наполнил и улыбнулся своей качаловской улыбкой. Мне приходится употребить этот эпитет «качаловской», «качаловская» потому, что все другие, слишком общие, могут относиться и к одному человеку, и к другому, и к третьему, а качаловская улыбка или качаловский голос — единственны.

Мы чокнулись.

И опять, как позавчера на капустнике в Камерном, случилось то (и это, к сожалению, последний раз в моей жизни),

что я подружился с людьми с первого взгляда. Говорю «с людьми», потому что это относилось в одинаковой мере и к Василию Ивановичу, и к Нине Николаевне Литовцевой, его жене, славившейся во МХАТе труднейшим характером.

Хотя я очень боюсь показаться сентиментальным (какое бедствие!), но нет сил устоять против желания разразиться тирадой о душевной чистоте.

Так вот: придешь, допустим, к кому-нибудь на именины. Глянешь — ни соринки! Все сверкает, все блестит. «У меня, мол, чистота, у меня порядок!» А под буфетом, к примеру, пылищи на палец и паутина с дохлыми прошлогодними мухами.

Ну и подумаешь: «Э, дорогая хозяюшка, да ты очковтирательница!»

Нечто подобное бывает и с душевной чистотой. Снаружи все сверкает, все блестит, а как ненароком глянешь в укромное местечко души или сердца и — плюнешь в сторону: «Да чтоб тебя черт побрал с такой чистотой душевной!.. Грязь, зависть, недоброжелательство».

А у Василия Ивановича и у Нины Николаевны была настоящая душевная чистота. И чтобы увидеть ее, понять, почувствовать, не требовалось съесть с ними пуда соли. Одной щепотки за глаза было.

— По второй!

Не успели мы эту вторую закусить белым грибком, как Нина Николаевна, прихрамывая, засуетилась, затормошилась. А не суетилась она, не тормошилась, только когда спала. Но и в эти немногие часы, как уверял супруг, подушка у нее под головой «вертуном вертелась».

— Нина!

А она уже что-то размешивала деревянной ложкой в кастрюльке, какой-то салат чем-то поливала, какое-то блюдо

солила и перчила. Потом за каким-то соусником потянулась к подоконнику, который служил добавочным столом.

— Нина!

И Василий Иванович для успокоения дал ей шлепок своей большой мягкой ладонью.

В ответ она деловито проскрипела, почти так же, как скрипели половицы в их крохотной столовой:

— Оставьте меня, Василий Васильевич!

Это было имя и отчество Лужского, небезызвестного артиста Художественного театра.

— Теперь мне все ясно! — сказал Качалов с завидной серьезностью. — Теперь мне совершенно ясно, кто тебя, Нина, еще стукает по этому месту.

Всем стало весело. Очень весело.

Стоит ли пояснять, что на всем белом свете никто, кроме Василия Ивановича, не стукал ее «по этому месту».

— Господи, — отозвалась со скрипотой Нина Николаевна, — от вас, Василий Иванович, немудрено и с ума сойти!

А немудрено было сойти с ума только от Нины Николаевны с ее треволненьями и переживаньями, как по большим жизненным вопросам, так и по самым ничтожнейшим пустякам.

Перед заливным судаком в лимонах Пыжова неожиданно задала вопрос, как будто довольно глупый:

— Вася, а как ты считаешь — сделал ты в своей жизни карьеру или нет?

Он, задумавшись на минутку, пожал плечами:

— Как тебе сказать, Ольга... В Америку я ехал во втором классе.

— Понятно! — кивнула Пыжова. — И Качалову, значит, жизнь не удалась.

— Подожди, подожди...

— Не выкручивайся, Васенька.

— Гамлета я все-таки сыграл... с грехом пополам.

Нина Николаевна презрительно прыснула мелкими смешками и проскрипела:

— Готово! Уже заразился!

— Чем это?

— Да самокритикой большевистской.

— Что ж, это болезнь полезная. Очень полезная. Побольше бы у большевиков таких болезней было.

А перед поросенком с гречневой кашей он спросил:

— Хотите, я вам почитаю стихи?

У кого из нас после получасового знакомства повернулся бы язык попросить его об этом? Тем более что на его лице еще лежала пудра на тонком слое душистого вазелина, которым он только что снял грим сегодняшней роли.

— Конечно, хотим, Василий Иванович!

— Мечтали об этом!

— Ну пожалуйста!

— Пожалуйста, Василий Иванович, пожалуйста!

Он стал читать.

Сначала Есенина, потом Блока, потом Верхарна, потом Пушкина, а уж на рассвете Байрона из «Чайльд Гарольда» и Гете из «Фауста».

Сам Василий Иванович необычайно был похож на Гете. Только волосы покороче да живот поменьше.

Качалов — это псевдоним. Настоящая фамилия Василия Ивановича — Шверубович.

Когда Художественный театр гастролировал в Америке, Нью-йоркские евреи, прослышав про это, взбудоражились.

Здесь, тут, там стало раздаваться:

— Вы знаете, мистер Абрамсон, что я вам скажу? Великий Качалов тоже из наших.

Или:

— Ой, мистер Шапиро, вы что думаете? Вы думаете, что знаменитый Качалов гой? Дуля с маком! Он Швырубович. Да-с, Швырубович!

— Боже мой! Ой, боже мой!

Или:

— Как, вы этого не знаете, мистер Коган? Вы не знаете, что этот гениальный артист Качалов экс ностриc?

— Подождите, подождите, мистер Гуревич! Ведь он же Василий Иванович.

— Ах, молодой человек, сразу видно, что у вас еще молочко на губах не высохло! Это же было при Николае Втором, чтоб ему в гробу крутиться! В то черное время, скажу вам, очень многие перевертывались. Да, представьте себе! Перевертывались из Соломона Абрамовича в Василия Ивановича. Так было немножечко полегче жить. В особенности артисту.

И пошло, и пошло.

Через несколько дней некто скептический мистер Лившиц захотел с абсолютной точностью в этом удостовериться.

Он сказал мистеру Соловейчику:

— Попробуем позвонить по телефону его супруге.

Оказывается, и в Нью-Йорке не всегда хорошо работают телефоны.

— Простите, пожалуйста, значит, со мной разговаривает супруга Василия Ивановича? — не слишком разборчиво спросил скептик.

— Да.

— Будьте так ласковы: не откажите мне в маленькой любезности. Это говорит Лившиц из магазина «Самое красивое в мире готовое платье». А кто же был папаша Василия Ивановича?

— Отец Василия Ивановича был духовного звания, — сухо отозвалась Нина Николаевна.

В телефоне хрипело, сипело:

— Что? Духовного звания? Раввин? Он был раввин?

— Нет! — ответила Нина Николаевна голосом, дребезжащим от удивления и взволнованности. — Он был протоиерей.

— Как? Кем?

— Он был протоиереем, — повторила Нина Николаевна еще более нервно.

— Ах, просто евреем! — обрадовался мистер Лившиц.

У Нины Николаевны холодный пот выступил на лбу.

— Я, мистер Лившиц, сказала...

Телефон еще две-три секунды похрипел, посипел и перестал работать.

А через неделю Нью-йоркские Абрамсоны, Шапиро, Коганы, Соловейчики и Лившицы устроили грандиозный банкет «гениальному артисту Качалову, сыну самого простого еврея, вероятно, из Житомира».

Василий Иванович с необычайной сердечностью рассказывал об этом пиршестве с фаршированными щуками, цимесом и пейсаховкой, где были исключительно «все свои»:

— Очень было приятно. Весело. Душевно. Сердечно. Очень, очень.

Вслед за этим и Пыжова выдала свой рассказик. Она ездила за границу с Художественным театром. Вот он.

На сцене репетировал Леонидов.

— Мочалов! — с отроческим преклонением пробурчал Константин Сергеевич.

Он сидел в пустынном зрительном зале, но не за режиссерским столиком с потушенной лампой, а в шестом или седьмом ряду партера.

— Что вы сказали? — переспросила Литовцева, обосновавшаяся по левую руку от него со своими тетрадями, карандашами, вечным пером, лорнетом, биноклем и футлярами всякого рода. — Вы что-то сказали, Константин Сергеевич?

— Тс-с-с-с!..

Он внимал Леонидову, чуть приоткрыв рот и светясь прищуренными глазами.

— Мочалов!

— Что?

— Мочалов! — повторил Станиславский.

Он был похож на восторженно-счастливого девятиклассника с галерки, который сам собирается в ближайшее время стать гениальным артистом.

В перерыве Литовцева, прихрамывая, подбежала к Леонидову.

— Вы сегодня очень хорошо репетировали, — сообщила она, дергая правым плечиком. — Константин Сергеевич все время говорил: «Мочалов! Мочалов!»

Посапывающий Леонидов посмотрел на нее взглядом интеллигентного быка и не без едкости произнес с гнусавинкой:

— «Мочалов! Мочалов!»... а играет-то у нас все Качалов.

Впрочем, и сам Станиславский любил посетовать:

— В Художественном театре Качалов все мои роли играет. Из-за него карьера моя тут погибла!

Как-то я зашел к Качаловым среди дня. Был май. Прелестный май. Всю недлинную дорогу от Богословского до Брюсовского (Качаловы переехали на новую квартиру) у меня вертелось в мозгу и на языке:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце!

Строчка принадлежала одному из самых знаменитых и самых глупых поэтов начала века. Таким он мне уже представлялся и в отроческие годы. Оказывается, в этом мнении я не расходился с Буниным. «У Бальмонта в голове, — сетовал он, — вместо мозгов хризантемы распустились».

Очень обидно и оскорбительно, что даже дураки пишут хорошие строчки, строфы, а изредка и целые стишки.

Мои дорогие коллеги-стихотворцы, вероятно, сродни птичкам-певуньям.

На входной двери московской квартиры знаменитого автора, явившегося в мир, «чтоб видеть Солнце», сияла, как у зубного врача, медная дощечка. На ней крупными буквами было выгравировано:

П о э т
КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

А вот Маяковский в военкомате на вопрос писаря «Кто вы будете по профессии?», замявшись, ответил:

— Художник.

Выговорить «поэт» ему, очевидно, не позволил пристойный вкус.

Какая же это профессия — поэт?

Дверь мне открыла Литовцева.

— Не вовремя. Толя, не вовремя!

— Да ну?.. Ты, значит, Ниночка, как водится, суетишься.

— Что?

— А Васи дома нет?

— До-о-о-ма он, до-о-о-ма.

— Работает?

— Прихорашивается твой Вася. Второй час прихорашивается. Иди уж туда к нему, иди.

У Качалова в кабинете было много книг, картин, рисунков и фотографических карточек, преимущественно людей бессмертных. Все карточки, само собой, были с надписями. Разумеется, очень нежными. Кто же к Василию Ивановичу относился без нежности?

Пахло мыльным кремом, пудрой и крепкими мужскими духами.

— Привет поэту!

— Привет артисту!

— Садись, Анатоль.

— Сижу.

Перед большим стенным зеркалом в строгой павловской раме Качалов серьезно и сосредоточенно завязывал красно-черный клетчатый галстук.

— Скажи ты мне, всероссийский денди, — озабоченно спросил он, — галстук гнусный? А?

— Да нет. Почему же...

Тем не менее Василий Иванович сорвал его и сердито бросил на диван. Это уж был не первый — сорванный и сердито брошенный.

Протерев тройным одеколоном вспотевшую шею, Качалов снял со спинки кресла другой галстук — черный, с неширокой белой полосой наискось.

— А что скажешь об этом?

— Отличный! — ответил я с полной искренностью.

Качалов умело — одним движением — завязал его и тут же рассвирепел:

— Ч-черт! Да это же не галстук, а какая-то панихида во храме Василия Блаженного.

И крикнул во всю мощь своего качаловского голоса:

— Ни-и-на-а-а!

Запыхавшись, прихрамывая, в кабинет вбежала Литовцева:

— Господи, что ж это такое? Орешь, как маленький, благим матом... чтоб голос себе сорвать. А вечером тебе, Василий Иванович, спектакль играть. Надо ж, наконец, относиться с ответственностью к своим обязанностям!

— Помилуй, Нина, да когда же я...

— Хватит оправдываться! Хватит! Ты одно и умеешь делать, что оправдываться. Ну, чего тебе? Чего?

— А где, Нина, мой тот... темно-синий... парижский... с пламенем?

— Где, где! Перед носом твоим, вот где!

Темно-синий с пламенем висел на самом видном месте — посреди спинки кресла, являющегося как бы вешалкой для

галстуков — изящных французских, строгих английских и кричащих американских.

— Прости, дорогая, это я от волнения. И ступай, ступай. Не суетись, друг мой, не мешайся.

Литовцева, лишившись дара речи, только руками всплеснула на пороге.

Проводив ее взглядом, я полюбопытствовал:

— Ты, Вася, куда собрался-то?

— М-н-да... на свиданье.

— Я так и сообразил.

Он продолжил многозначительным шепотом:

— К Константину Сергеевичу.

— Что?

— Меня, видишь ли, сегодня Станиславский вызывает. К двум с четвертью.

И, стряхнув щелчком невидимые пылинки с черного пиджака, он торжественно облекся в него.

— Ха! Вот так свидание! Сие у нас по-другому называется, — сказал я разочарованно. — Это, значит, ты для него и галстук менял, и в черную тройку вырядился? Подумаешь!

Василий Иванович взглянул на меня с нескрываемым испугом.

Для имажиниста 20-х годов не существовало богов ни на небе, ни на земле.

— Проводишь?.. Или, может, с Ниной останешься?.. — проговорил он просительно и с надеждой в голосе. — Она тебя черным кофе угостит... С бенедиктинчиком.

— Провожу.

Глаза его стали скорбными.

На прощанье Литовцева перекрестила супруга:

— Господь с тобой.

Я с постной физиономией тоже подставил лоб:

— Ниночка, а меня?

— Тебя?

Но я уже отскочил, перепугавшись, что получу по черепу серебряным набалдашником.

— Давай, Нина... Давай палку.

— Господи, а больше ничего не забыл?

Литовцева благоговейно вручила палку с набалдашником своему артисту, которого не без основания считала величайшим артистом нашего столетия.

Он был торжествен, как дореволюционная девочка, отправляющаяся впервые на исповедь.

— Поэт, бери свою шляпу.

— Взял. Надел.

— Шествуй.

— Нет, Вася, это уж ты шествуй, а я зашагаю.

— Шагай, шагай.

— Ну, Христос с тобой, Василий Иванович, — сказала Нина Николаевна уже не тоном МХАТа, а тоном Малого театра.

В высоком молчании мы чинно двинулись по Брюсовскому. Так обычно не идут, а двигают в первом ряду за гробом очень уважаемого покойника. Словом, у меня было совершенно достаточно времени, чтобы подумать о Станиславском. А может быть, он и в самом деле бог? Ведь Василий Иванович с ним порепетировал и поиграл на сцене без малого полвека! И вот под старость, сам будучи Качаловым, перед «свиданьем» меняет галстук за галстуком, наряжается в черную тройку и разговаривает многозначительным шепотом.

Да, и выходит, что бог.

Ну конечно, бог!

Разве когда-нибудь наш Василий Николаевич направился бы на свидание к смертному человеку этаким загробным шагом?

Бог! Бог!.. Только ведь ему одному — ему, богу, — и дозволено быть смешным, быть наивным, быть чудаком и не потерять своего божественного величия.

Когда-то в Художественный театр пришел Рыков. Он тогда являлся председателем Совета народных комиссаров. Разделся, как было заведено, в комнатке позади правительственной ложи. Просмотрев без скуки скучный спектакль, предсовнаркома похлопал, сколько положено, в ладоши, поблагодарил исполнителей и стал одеваться. Глядь, а галош-то и нет. Сперли галоши. В уборных, плотно прикрыв двери, хохотали актеры. Администраторы растерянно бегали туда и сюда. А Станиславский, сжав ладонями свою голову земного бога, переживал комическое происшествие как великую трагедию. Он повторял и повторял:

— Какой позор! Какой позор! В Художественном театре у председателя почти всей России галоши украли!

Очень похоже на анекдот. Но это непридуманная правда.

А вот и вторая непридуманная правда.

Стояли крепкие рождественские морозы. На московских бульварах все деревья с пят до макушки обросли лебяжьим пушком. Все извозчичьи лошади, заиндевев, стали белыми.

Станиславский приехал в Художественный театр на бородатом Ваньке.

Бог был повязан сверх меховой шапки оренбургским платком с углами, выпущенными на спину поповской шубы.

— Сейчас вышлю полтинничек, — промычал седок, не раскрывая рта. («Еще простудишься, охрипнешь перед спектаклем!»)

Никто на свете так не боится заболеть, как актер. Особенно перед генеральными репетициями, перед премьерой.

Войдя в храм своего святого искусства, бог сразу забыл про извозчика.

Тот ждал «полтинничка», ждал и, не дождавшись, побежал в театр.

— Эй, братцы, — кинулся он к капельдинерам, — я к вам бабу привез, а она мне денег не заплатила. С бегла, окаянная!

— Какую еще бабу? Что мелешь?

— Да здоровенную этакую! На целу башку меня повыше. В сером, стало, пуховом платке.

Тут только и догадались капельдинеры, какая «баба» от извозчика «сбегла».

Еще не анекдот о нем.

Новый год мы встречали в Литературно-художественном кружке с Алисой Коонен и Таировым, а Качаловы встречали в Художественном театре.

— Часа в два, друзья мои, приезжайте во МХАТ, — сказал Василий Иванович. — Бутылочка шампанского будет вас поджидать у меня в уборной.

— Есть!

— Явимся!

Ровно в два часа мы всей компанией были в Художественном. Артисты уже встали из-за новогодних столов. В фойе играл струнный оркестр.

Коонен была в белом вечернем платье, сшитом в Париже. Портной с Елисейских Полей великолепно раздел ее.

Возле фойе, во фраке и в белом жилете, стоял бог. Он блаженно улыбался, щурился и сиял. Сияние исходило и от зеркальной лысины, и от волос цвета январского снега, и от глаз, ласково смотревших через старомодное пенсне на черной ленте.

Играя бедрами, к нему подошла Коонен:

— С Новым годом, Константин Сергеевич!

— Воистину воскресе! — ответил бог, спутавший новогоднюю ночь с пасхальной.

Коонен вскинула на него очень длинные загнутые ресницы из чужих волос. Они были приклеены к векам.

— Пойдемте, Константин Сергеевич!

И взяла его под руку.

— Зачем же это? — спросил бог, не зная, что делать со своими глазами, чистыми, как у грудного младенца. Их осле-

пили обнаженные плечи, руки и спина знаменитой актрисы Камерного театра.

— Пойдемте, Константин Сергеевич, танцевать танго, — страстно и умоляюще выдохнула из себя Коонен.

Бог вытер ледяные светлые капли, величиной с горошину, выступившие в мудрых морщинах громадного лба, и ответил утробным голосом:

— Я... п-п-простужен.

И даже не очень искусно покашлял. На сцене у него это выходило несравненно правдивей.

Бог хотел быть учтивым с красивой чужой актрисой, которую знал почти девочкой — скромной, замоскворецкой. Она начинала у него в Художественном театре. Теперь Алиса Коонен считала себя актрисой трагической и сексуальной. Но именно «органического секса», как говорят в театре, у нее никогда не было. Поэтому на сцене Коонен приходилось так много «хлопотать» глазами, руками и животом.

Станиславский уверял:

— Алиса характерная актриса. Замечательная характерная актриса. А лучше всего она делает дур.

К сожалению, в ролях дур мы ее никогда не видели.

У Качалова в свое время был немимолетный роман с Коонен. Дома встал мучительный вопрос о разводе. В это время Нина Николаевна серьезно заболела. Болезнь дала осложнение — безнадежную хромоту.

— Теперь уж я никогда не разойдусь с Ниной, — сказал Василий Иванович.

И, конечно, умер ее мужем.

Новый год в Художественном театре встречали не только так называемые «люди искусства», но и весьма ответственные товарищи из партийного аппарата и Наркомпроса.

Борис Ливанов, изрядно выпив, орал в коридорах:

— Чтоб этим большевикам ни дна ни покрышки! Конфисковали мое родовое имение в тысячу двести десятин. А теперь вот я нищенствую — в коричневом пиджачишке Новый год встречаю! Приличного смокинга справить себе не могу! С-сукины дети!

Ответственные товарищи зло на него косились. Наиболее обидчивые даже вызвали из гаражей свои машины. У мхатовцев замирали сердца и дух захватывало.

— Борис!.. Борис!..

— Отойди!.. Отстань!.. — грохотал Ливанов на приятелей, хватавших его за полу коричневого пиджачишки. — Я свободный артист! У меня что в уме, то и на языке.

Приятели отскакивали от него, как теннисные мячи от ракетки.

Литовцева истерически дергала острыми плечиками:

— Кошмар! Из-за этого дурака театр закроют.

А папаша Бориса Ливанова был небольшим актером в небольшой провинции. Богатых помещиков он и на сцене-то никогда не играл.

Борис являлся своим человеком и у нас в доме, и у Качаловых. Про самого себя он сообщал не без юмора:

— Я дурак, но из вашего общества.

Это, разумеется, была клевета на себя ради острого словца.

Но дураком он все-таки бывал, а хвастуном частенько.

Особенно «хвативши», как говорят актеры.

У Ливанова было всего много: лица, глаз, голоса, тела, рук, ног. Ходил он в красавцах. У Станиславского числился чуть ли не первым кандидатом в великие артисты.

Режиссер Пудовкин собирался с ним ставить «Ромео и Джульетту».

— Борис у меня появится из-за кулис, — фантазировал Пудовкин, — держа за ножку целого жареного гуся. Во время

монолога он этого гуся съест. Ромео — человек Возрождения. Человек неуемных страстей. А для неуемных страстей требуется соответствующая пища. Борис, как полагаю, гусем не поперхнется.

— Пожалуй.

У Ливанова имелась своя жизненная философия, стратегия и тактика.

— В гостях, Толя, — поучал он, — боже тебя упаси садиться под винегрет. Так на нем и погибнешь. Всегда садись, друже, под зернистую икорку или балычок.

Младость! Младость! У нее завидный аппетит.

Донжуанская тактика брать «на душу» или «на хамство» — это тоже его, ливановское. Гениальная тактика! Без поражений. И даже не только — донжуанская. В жизни, бывает, надо покорять и обаять не одних женщин, а, к сожалению, и начальство, которого у нас много. Может быть, даже чересчур много. И оно, как замечено, шибко клюет «на душу» или «на хамство».

Больше всего на свете Ливанов любил разговор о себе.

Как-то за столом я спросил:

— Что это, Боря, ты сегодня такой скучный, мрачный?

— Ас чего ему веселиться! — дернула плечиком Нина Николаевна. — Ему ж неинтересно. Говорят-то, об искусстве, а не о нем.

Вот случай памятный и отмеченный в летописях Художественного театра.

В одиннадцать часов и три минуты в репетиционной комнате, называвшейся почему-то КО, возле длинного стола, покрытого спокойным зеленовато-серым сукном, только один стул еще не был занят.

Станиславский вторично вынул из жилетного кармана большие золотые часы с крышкой и «засек время», как сказали бы мы теперь.

В репетиционной комнате, похожей на белую больничную палату, стало очень тихо.

Единственный свободный стул должен был занять Ливанов.

— Очевидно, нам придется подождать Бориса Николаевича, — глухо сказал бог, щуря глаза.

Он щурил их по-доброму и по-сердитому. Сейчас сощурил по-сердитому.

Все молчали.

А Нина Николаевна, сидящая по правую руку от бога (одесную, как говорили в МХАТе), нервно задергала плечиками.

Почти все собравшиеся для застольной репетиции уже имели свое собственное место на полочке Истории русского театра. Они хорошо знали это, всегда это помнили и соответственно держались как в жизни, так и в театре.

Улыбался один Качалов. У него было чувства юмора больше, чем у других. Да и к «полочке» относился свысока.

Через длинных-предлинных пять минут бог в третий раз взглянул на свои золотые часы.

Все минуты, часы и дни совершенно одинаковы только в глупой школьной арифметике. А жизнь, как мы знаем, это самая высшая математика. В ней все относительно: и любовь, и дружба, и доброта, и верность, и пространство, и время. Поэтому я и сказал: через длинных-предлинных пять минут.

— Очевидно, нам придется еще подождать Бориса Николаевича, — сказал бог таким тоном, каким он разговаривал в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

Константин Сергеевич положил перед собой свои золотые часы, не защелкнув крышку с красивой монограммой.

Стало еще тише.

Только карманные часы тикали громко, как башенные.

Ливанов вбежал в репетиционную через двадцать две минуты. У него вспотели брови и галстук съехал налево.

Все, кроме Качалова, сидели с окаменевшими лицами.

— Простите, Константин Сергеевич! — сказал Ливанов грудным плачущим голосом. — Простите меня.

Бог, сощурясь, взглянул на циферблат с черными стрелками.

— Борис Николаевич, вы изволили опоздать на тридцать минут.

— Простите, пожалуйста, Константин Сергеевич!

— Как это могло случиться?

— Я... проспал, — тем же могучим плачущим голосом ответил Ливанов.

— Что-о?

Неприкрытая наглая откровенность сразила бога.

Литовцева метнула гневный взгляд на Василия Ивановича, потому что он прикусил верхнюю губу, чтобы не прыснуть смехом в такую трагическую минуту.

И... о кошмар! — он еще подмигнул Ливанову.

Растерявшийся бог повторил:

— Что-с?.. Проспали?.. Репетицию?

Других слов у него не было. Разнородные чувства переполнили голову и сердце. Воцарилась пауза, которая и для Художественного театра являлась необычной.

— Простите меня, пожалуйста, Константин Сергеевич.

— Вам, Борис Николаевич, надлежит просить прощения... вот... у-у-у... Нины Николаевны... у-у-у... Василия Ивановича... у-у-у... Ивана Михайловича... у-у-у... у всех... н-н-да... которых вы заставили ждать... н-да-с... ровно тридцать минут... У меня часы Мозера... Вперед не убегают... Извольте-с просить прощения... Извольте-с... По очереди.

Бог широким жестом обвел всю окаменевшую полочку Истории русского театра.

— Простите меня, пожалуйста, Нина Николаевна... — начал Ливанов все тем же плачущим басом. — Простите меня, пожалуйста, Василий Иванович.

Сверкнув через пенсне смеющимися глазами, Качалов с театральной величественностью кивнул:

— Бог простит.

— В том-то все и несчастье, что наш бог простит его, — шепнула Литовцева.

— Вот увидишь, простит. Любимчик!

И плечики Нины Николаевны иронически продрожали.

Ливанов продолжал:

— Простите меня, пожалуйста, Иван Михайлович... Простите меня, пожалуйста, Алла Константиновна...

И т, д. и т. д.

— Ну-с, а теперь, Борис Николаевич, прошу занять свое место. Гм, гм. Но сначала поправьте галстук.

— Простите, Константин Сергеевич!

И Ливанов торопливо засунул галстук за жилетку.

Бог спрятал часы в жилетный карман, вытер большим полотняным платком лысину и взволнованно начал репетицию.

Она шла без перерыва три часа.

Выходя через маленькую одностворчатую дверь из репетиционной, Станиславский в полном отчаянии сказал Качалову:

— Какой ужас! Он сегодня великолепно репетировал. Великолепно. После этого! Н-н-да. Художественный театр кончился.

Василий Иванович поднял глаза на бога с некоторым удивлением. Оно было вызвано неожиданностью в сочетании этих фраз, столь противоположных: «Какой ужас...», «Великолепно репетировал...», «Художественный театр кончился».

— Если он мог великолепно репетировать, значит, с него как с гуся вода. Может, и остальные наши молодые артисты гуси? А? — И Станиславский повторил: — Гуси? А? Тогда Художественный театр кончился.

После этого Качалов, обращаясь к Ливанову, частенько говорил:

— Ну, гусь!

Продолжаю неанекдоты о боге.

От смеха у Дункан порозовели ее маленькие уши. Мне стало завидно. Искреннему легкому смеху всегда завидуешь.

— В чем дело, Изадора? — нетерпеливо спросил я.

Она смеялась на свои мысли.

— Ты вспомнила что-то очень веселое?

— Да!

— Рассказывай.

Дункан закинула переплетенные кисти рук за мягкую шею. Жест обещал что-то лирическое.

— Рассказывай, Изадора. Ну!.. Ну!..

Она полузакрыла веки.

Я уже перенял у Никритиной ее нетерпеливое «ну!». Так это всегда бывает в тесной жизни: сначала перенимают друг у друга словечки, фразы и жесты, а под конец жизни муж и жена делаются до смешного похожи один на другого.

— Это было ранней весной... — начала она в тоне классического рассказчика. — Точней: на пороге ранней весны. Когда на всех улицах Парижа продают фиалки. Их бывает так много, что кажется, будто Париж, как модистка, надушился дешевенькой «Пармской фиалкой». Эти духи пахнут молодостью и счастьем. Ведь у счастья, так же, как и у горя, есть свой запах. Не правда ли?

— Ты поэт, Изадора!

— Конечно. Как всякая актриса. Если она в актрисы определена небом.

— Допустим, что небо этим занимается.

— Так вот: весна, фиалки, какая-то русская парочка, прогуливающаяся у меня под окнами на рю де ля Пом... Не знаю почему, не знаю, но мне вдруг безумно захотелось пообедать с богом.

Дункан иначе не называла Станиславского.

— Ты, Изадора, и в него была влюблена?

— О, конечно! Но по-другому. Я в жизни потому так много и влюблялась, что это всегда было по-другому. Каждый раз по-другому.

— Значит, совсем как у нас, у мужчин.

— Да что ты!

— Мы только потому и изменяем, что всегда надеемся на новенькое.

— Безобразие! «Новенькое»! У вас это несерьезно. А у нас, у женщин...

— Тем хуже, если у вас каждый раз серьезно. Значит, вам нельзя прощать.

— Любовь — это... это... как искусство. Она должна быть всегда очень большая и очень серьезная.

— Вместо «всегда» я бы предложил слово «иногда».

— Помолчи. Я хочу рассказать про бога.

— Рассказывай, рассказывай.

— И вот в прелестный весенний день я прочла в «Юманите», что он в Париже. Мы с Анатолем Франсом были читателями этой газеты «с сумасшедшинкой». Так говорил мэтр.

Изадора приподняла веки и, скосив глаз, лукаво взглянула на меня.

— Пообедать с ним, наедине, вдвоем! С самым красивым богом из тех, которых я знала.

— Но не с самым молодым, Изадора.

— Для нас, женщин, возраст не главное в любви.

— Будто?

— Мы ведь, Анатоль, в этом не так примитивны, как вы, мужчины.

— Допустим.

А Есенина Изадора называла ангелом и в этом хотела убедить как можно большее число людей. Поэтому на стенах, столах и зеркалах она весьма усердно писала губной помадой: «Есенин — Ангел», «Есенин — Ангел», «Есенин — Ангел».

— И вот, — продолжала Дункан, — я позвонила богу по телефону. О, как я была счастлива! Он милостиво согласился приехать в ресторан.

— Ну, ну!

— Я попросила сервировать нам столик не в общей зале...

— Само собой.

— Боги не опаздывают к обеду. Ровно в семь он уже заложил утолок салфетки за свой крахмальный воротничок.

У нее от смеха опять порозовели уши.

— Сам понимаешь, мой друг, что после второго бокала шампанского я уже не могла усидеть на своем стуле.

— Ясно!

— Я подошла к Станиславскому и взяла в ладони его голову.

— Ясно!

— Тогда пенсне упало с его носа, и он зажмурил глаза. Вероятно, от страха.

— А ты, конечно, этим воспользовалась и поцеловала его в губы?

— Нет, — вздохнула Изадора, — в губы не удалось. Он их слишком крепко сжал.

— Он же бог.

— Я хотела огорчиться, но не успела.

— Неужели бог разжал губы?

— Да!.. Но только для того, чтобы взволнованно спросить меня: «Изадора, а что мы будем делать с нашими детьми?»

Об этой очаровательной встрече Дункан как будто где-то написала. Но я рассказал с ее слов.

— Ты это не выдумала, Изадора? Так и спросил: «Что мы будем делать с нашими детьми?»

— Слово в слово.

Я стал хохотать.

— Вот! Вот! То же самое случилось и со мной. Огромное несчастье! Я стала смеяться. Ужасно смеяться. Так смеяться,

что слезы падали с моих глаз в салат «латю». Это, наверно, непростительно? Но я же не сошла с неба. Я просто человек. Даже хуже — я женщина.

— Лучшая из женщин!

— Ты скажи это Есенину.

— Обязательно.

Она благодарно сжала мне руку и заключила:

— Станиславский, разумеется, сказал то самое, что должен был сказать. Ведь бог, как известно из Библии, относится ко всему очень-очень серьезно.

— Это верно. Даже к искусству. Даже в наше время!

— А я? Я тоже! — с жаром воскликнула Изадора. — Даже к танцевальному искусству.

— Знаю.

— Над которым ты посмеиваешься.

— Над твоим, Изадора, никогда!

Она приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан... храм Христа Спасителя. Обычные театральные помещения больше не вдохновляли Дункан. Дух великой босоножки парил очень высоко. Она хотела вдыхать не пыль кулис, а сладчайший фимиам. И обращать взор не к театральному потолку, а к куполу, напоминающему небеса. Пресыщенная зрителем (к слову, ставшем на Западе менее восторженным: ведь актрис любят до первых морщинок), она жаждала прихожан.

Огромный, но неуклюжий храм Христа у Пречистенских ворот ей где-то за границей лично преподнес на словах наш очаровательный народный комиссар просвещения.

Право, эпитет «очаровательный» довольно точен по отношению к Анатолию Васильевичу Луначарскому. Ведь он не только управлял крупнейшим революционным департаментом, но и писал стихи, пьесы, трактаты по эстетике, говорил, как Демосфен, и предсказывал будущее, преимущественно хорошеньким женщинам, по линиям их нежных ладоней.

Да и с Господом Богом (с настоящим, с Саваофом) у него, как известно, в недалеком прошлом был флиртик.

Соблазненная храмом Христа Спасителя, Изадора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела.

И очень рассердилась: очаровательный нарком надул ее. Вероятно, потому, что слишком смело, без согласования с политбюро, раздавал храмы босоножкам.

Я потом весело сочувствовал Изадоре:

— Ах, бедняжка, бедняжка, в Большом театре приходится тебе танцевать! Какое несчастье!

Но ей было не до смеха.

20

— Новость! Наш театр едет за границу.

Моя некрасивая красавица сегодня не сбросила мне на руки шубку и даже позабыла снять боты.

— Таиров только что объявил это. Было общее собрание. Все прыгали от радости. Старики выше всех. Уварова тоже прыгала.

Эта актриса играла комических старух.

— Понимаешь?

— Понимаю. Давай, Нюха, шубку.

— Театр едет во Францию, в Германию и, наверно, в Америку.

— Ухты!

— В Париж... А?.. Здорово?

Словно предугадав гастроли, Мартышка четвертый месяц занималась с француженкой языком и уже читала со словариком французские романы.

— В Париж, Толюха!

— И ты ведь поедешь.

Она сняла боты:

— А вот об этом еще надо подумать.

— Чего же тут думать?

— Как чего?..

— Ах да... ты про это?

— Вот и давай решать.

— Нет, Нюша, решать будешь ты.

— Почему только я?

— Рожать-то тебе, а не мне.

— Но иметь сына или не иметь — это касается нас обоих. Не так ли?

Мы оба были уверены, что изготовляется мужчина,

— Или тебя это не очень касается?

Я ответил каким-то междометием.

— Вот, Толя, и надо решать: Париж или сын.

— Думай, Нюша. Хорошенько думай. И решай.

— А я уже давно решила. Конечно, сын.

Я поцеловал ее в губы и сказал:

— Ты у меня, Мартышка, настоящий человек. Совсем настоящий. Хотя носа у тебя действительно маловато. Впрочем, я с первого взгляда не сомневался, что ты настоящая.

— Дурень! Это ведь только влюбляются с первого взгляда.

— Нет, шалишь! Все самое большое и хорошее делается с первого взгляда. И влюбляются с первого, и не сомневаются с первого, и предлагают руку с сердцем с первого. Все, все!

— Между прочим, ты мне их еще не предлагал.

— Неужели забыл?

— Ага! Ты ведь такой рассеянный.

А ночью, в кровати, при потушенной электрической лампочке, я ей сказал:

— Знаешь, Нюха...

— Знаю, знаю. Спи.

Она, конечно, сразу поняла, что я собрался утешать ее.

— Подожди засыпать, Нюха.

— О-о-ой! — простонала она.

— Понимаешь, есть наши русские повадки, которых я терпеть не могу.

— По матушке посылать?

Я горячо возразил:

— Нет, эта очень милая! Я о других говорю. Ну, скажем, давать честное слово и не выполнять его.

— Спи, Длинный. Завтра дашь слово.

— Нет, я сегодня хочу дать. Сейчас.

— Вот беда! Пойми, мучитель: у меня утром ответственная репетиция.

Она готовила роль Коломбины в «Короле-Арлекине».

— Сплю! — И повернулась на левый бок.

— Стой, стой! Это чертовски важно!

— Ну, ей-богу, успеется. Мы ведь будем с тобой разговаривать... об очень важном... каждую ночь... еще лет пятьдесят подряд.

— Само собой! — воскликнул я, нисколько в этом не сомневаясь.

И, очевидно, не ошибся. Тридцать восемь лет мы уже проразговаривали.

— Так вот, Нюха, даю тебе слово, что когда нашему парню стукнет год...

— Пусть он еще сначала родится.

— За этим дело не станет. Так вот: когда ему стукнет год, мы со спокойной совестью оставим его на бабушку, а сами — в Париж!

— Что?..

— Везу тебя в Париж.

Ей сразу спать расхотелось:

— Ну да... везешь.

— Честное имажинистское!

Тогда Никритина немедля зажгла лампочку.

— А встречать нас с тобой будет на парижском перроне...

— Анатоль Франс! — ехидно вставила она.

— Нет, бери выше — Есенин.

— Есенин с Дункан! Ведь они к тому времени еще не разведутся.

— Пожалуй.

После этого мы проболтали до раннего утра, и она побежала на репетицию взволнованная, счастливая.

— Кланяйся Арлекину!

— Слушаюсь.

Его с блеском играл Николай Церетелли.

— Обязательно поклонись! Не забудь. А то ведь у нас передают поклоны только очень хорошо воспитанные люди. С гувернантками воспитанные.

— Значит, я обязательно забуду.

И убежала.

— Боты! Боты! Надень боты!

А поклониться своему партнеру она, конечно, забыла. Воспитывалась-то без гувернанток. Где там! С девяти лет зарабатывала на жизнь, давая уроки восьмилетним буржуйчикам.

— Ох, и строгая я была! — с гордостью вспоминала бывший педагог. — Но репетитор отличный. Девчонок чуть что за косы драла, а мальчишек кормила подзатыльниками.

— Помогало?

— Очень! Они такие успехи делали! Родители даже удивлялись: вот, мол, сама от горшка два вершка, а детей прекрасно воспитывает.

А ночью, после уайльдовской «Саломеи» (Никритина играла пажа: «Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она, как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину...»), так вот, после недлинного спектакля, как только мы потушили над кроватью электрическую лампочку, я сказал:

— Знаешь, Нюха, мне хочется дать тебе второе слово.

На этот раз она оказалась даже нетерпеливой:

— Имажинистское?

Любя наши стихи, с успехом читая их на концертах и зная нашу горячую веру в поэтический образ, Никритина принимала «честное имажинистское» по меньшей мере как дореволюционную клятву перед распятием.

— Давай, давай! Я честному имажинистскому верю.

Уж такая была верующая эпоха. Политические вожди верили в мировую революцию, поэты — в свои молодые стихи, художники — в свои бунтующие кисти, режиссеры — в свои спектакли с потухшей рампой и прожекторами, вспыхнувшими под потолком. В эту эпоху даже в Бога не верили с дерзкой верой в свое безбожие.

— Ну?

Это было самое ходовое никритинское словечко. Всегда и во всем торопясь, она и других неизменно поторапливала.

— Ну?

— Камерный театр надолго ли уезжает?

— Примерно на год.

— К его возвращению у меня будет написана пьеса.

— Хо! Очень она нужна Таирову! Ты что, Уайльд? Клодель, Скриб? Для того чтобы Таиров принял пьесу, тебе надо сначала стать англичанином или французом. Потом, чтобы тебя перевели на язык родных осин. Потом...

— Третьего дня, — перебил я, — мы встретились с Александром Яковлевичем на Тверском бульваре, он взял меня под ручку, усадил на скамейку и добрый час уговаривал написать пьесу для...

— Ага! Для Алисы?

— Подожди. О Коонен не было сказано ни одного слова.

— Ах ты мой длинный простофиля...

— Подожди, Нюшка!.. Так вот: я напишу пьесу. Это будет подарок тебе за сына. Пьесу с чудной ролью для тебя.

— Милый, любимый... — взмолилась она, — умоляю: не пиши с чудной ролью. Ни в коем случае! Только не с чудной!

Я сразу понял ее опасения.

— Да не сможет Коонен играть твою роль.

— Сможет, сможет!

— Нет!

— Обязательно сможет, если роль будет чудная.

— Да я, Нюха, кое-что соображаю. Действующие лица будут говорить о тебе: «У нее очень мало носа», будут говорить: «Тоненькая, как соломинка», «Легкая, как перышко», «С головкой, как черный шарик». Я тебя сделаю шестнадцатилетней негритоской.

— Все равно Алиса возьмет роль! Возьмет, возьмет!.. Если она будет чудная... — повторяла Никритина сквозь слезы.

— Слушай меня: по пьесе все станут называть тебя Мартышкой. Учти это.

— Мартышкой?

Глаза у моей актрисы мгновенно высохли и засияли.

— Это гениально!.. Мартышку Коонен не захочет играть. Ни за что не захочет!.. Она же играет только красавиц!

— Само собой.

— Ой, какой ты у меня талантливый! Какой умный! — И Мартышка стала целовать меня в нос, в рот, в уши, в глаза. — А когда ты начнешь писать пьесу? Садись сегодня же!

— Я уже начал. В голове начал. Это ведь самое главное.

— А как будут звать эту черномазую? Меня, меня.

— Зера.

— Зера?.. Ладно. Начну слегка привыкать и вживаться в нее. В эту черномазую Зеру. По Станиславскому.

Я сказал с упреком:

— Вживаться? Вживаться... по Станиславскому? Вот так актриса Камерного театра.

— Ты, Длинный, не рассказывай об этом Таирову. Он и так возмущен моей историей. Я ведь рассказала Алисе. А она, конечно, передала Таирову.

— И он уже предвидит твой живот?

— Вероятно.

— Это не эстетично... живот?

— Да, не эстетично. Александр Яковлевич действительно говорил, складывая по-наполеоновски руки на груди: «Театр едет на гастроли в столицы мира, а вы рожать вздумали! Что это за отношение к театру? Актриса вы или не актриса?»

А Изадора Дункан при каждой встрече нежно гладила Никритину по спине:

— Я буду обожать твою малютку. Я буду ей бабушка.

— А Таиров ругает Мартышку, — пожаловался я.

— У него очень маленькое сердце! — сказала Изадора.

— Но зато какие мизансцены! — сказали.

— Один ребенок Никритиной больше, чем весь театр Таирова, — проронила она.

— Скажи это Таирову, Изадора.

— Хорошо.

И она действительно сказала при первой же встрече. А тогда еще и горячо, от сердца посоветовала:

— Рожай, пожалуйста, Нюша, много-много. Рожай, пожалуйста, каждый год.

Я не улыбнулся на этот совет, так как глаза у нее наполнились слезами, и я понял, что в эту минуту она вспомнила своих детей, погибших в Париже при автомобильной катастрофе.

— Хорошо?.. Хорошо, Нюша? Ты будешь?..

Она прелестно говорила это «хорошо» и была божественна, когда глаза у нее наполнялись слезами.

Весной Камерный театр уехал. Никритина стала тихой-тихой. Такая уж человеческая порода эти актрисы. Кончаются репетиции, прекращаются спектакли, уносятся домой ящички с гримом, тухнут фонари перед входом в театр, и

они, эти актрисы, делаются задумчивыми и грустными, как охотничьи собаки без охоты: лежат целыми днями на своих подстилках и жалобно поскуливают.

— Пора и нам, Нюша, о своем лете подумать, — сказал я.

— Уже?.. Облете?..

— Куда бы махнуть нам?

— Подумаем.

А подумать было, о чем: хотелось найти синее небо, теплое море и песчаный берег поближе к родильному дому. Мечталось — даже по соседству с ним.

— Подайтесь-ка, друзья мои, в Одессу-маму, — посоветовал Вадим Шершеневич. — Одесситки любят рожать с комфортом.

— Это неплохо, — откликнулась Никритина со своей «подстилки», как я называл нашу неперсидскую тахту.

— Одесситки прелестны и умны, как черти! — сказал Шершеневич.

— Я вижу, Дима, у вас большой опыт.

— Поэту надо знать жизнь, Мартышка.

Я спросил озабоченно:

— В Одессу?.. А у тебя, Нюха, в Одессе имеется хоть какая-нибудь подружка?

— Нет.

— Зато у меня найдется. И не одна, — успокоил Шершеневич. — Они будут теми же и для вас, ребята.

— Завидую тебе, Вадим, — вздохнул я. — В каком российском городе у тебя их только нет, этих подружек!

— А я, Анатоль, люблю путешествовать... с остановками.

— Очень завидую, Дима.

— Ну-ну! Я тебе сейчас так позавидую, любезный супруг!

— Это я, Нюша, чисто теоретически.

— Ладно уж.

Шершеневич сказал:

— К серьезному делу, друзья мои, надо относиться серьезно. — И он, как перед выступлением в диспуте, погладил свой энергический подбородок. — Сегодня же я отправляю письмо в Одессу.

— Кому, Дима?

— Розочке Полищук. Дерибасовская, 24, квартира 3. Это прелестная молодая мать четверых детей.

— Всего-навсего?

— Пятый в проекте.

— Очаровательно!

— Поверьте, Мартышон, в Одессе вы родите, как королева Великобритании — с полным сервисом.

— Серьезно?

— Честное имажинистское.

Когда за Шершеневичем захлопнулась парадная дверь, я взял Никритину за кисти рук:

— Поднимайся, дружок, поднимайся. Первый час. Надо вставать.

— Надо? А зачем? Зачем, собственно, мне это надо? — сказала она тем голосом, от которого у меня начинало щемить сердце. — Зачем?

В ее тоне появилось даже что-то мхатовское, что-то чеховское, что-то из «Трех сестер», напоминающее: «В Москву, в Москву!»

Я сказал:

— Того гляди, Нюша, мы с тобой уедем в Одессу. Не желаю, чтобы наш Кирилка был незаконным Мариенгофом.

— Ах, ты про это... — Она лениво, по-кошачьи, потянулась.

— Поднимайся, поднимайся. И пойдем в загс.

— Успеется, Длинный.

— А вот в этом я совершенно не уверен. Поскольку мне известно, у Господа Бога эта бухгалтерия не слишком точна.

— Конечно, случаются и просчеты, — согласилась моя отяжелевшая половинка.

Я поднял ее с тахты.

— Надорвешься, милый.

Встав на пол, она перевернула лист настольного календаря.

— Тринадцатое июня.

— Счастливое число! Пошли в загс.

День был веселый, солнечный.

Загс расположился на Петровке. От нашего Богословского переулка было рукой подать.

Мы неторопливо дошагали неполный квартал. Еще неторопливей взбирались на пятый этаж.

— Уф!..

Явно было не предусмотрено, что попадаются и такие невесты, которым перед свадьбой надо передыхать на каждой площадке лестничного марша.

— Загс!

— Прошу, мадам.

И я с шиком ресторанного швейцара распахнул обшарпанную дверь.

Вошли.

До 1917 года это помещение, несомненно, было доброй половиной порядочного коридора в буржуазной квартире. Фанерная перегородка, выкрашенная, как железная крыша, в зеленый цвет, пыталась превратить бывший коридор в служебный кабинет. За пишущей машинкой почему-то сидела не машинистка, а машинист, то есть мужчина, с седой бородкой клинышком и в пенсне на черной ленте, свисавшей на старенький коричневый френч со следами от узких погон земгорского образца.

Этот советский служащий сразу несколько удивил нас. Даже в революционной Москве донэповской эпохи пишущие машинисты попадались нечасто.

— Добрый день, товарищи, — приветливо сказала Никритина.

— Милости просим, — строго ответила женщина в белой крахмальной кофточке с длинным темным галстуком, завязанным тщательно. Она сидела за письменным столом под большим пожелтевшим портретом улыбающегося Анатолия Васильевича Луначарского. Прорванное сукно письменного стола было обляпано фиолетовыми чернилами.

«Спасибо, что хоть наш нарком улыбается в этом невеселом кабинете», — подумал я.

Женщина под его портретом поразила меня сходством с покойной тетей Ниной, этой семейной «аристократкой», словно появившейся на белый свет готовой классной дамой женского благородного института.

— Входите, граждане. Мы ведь не кусаемся, — очень строго пошутила почти тетя Нина, не отрывая прищуренных глаз от никритинского живота.

— Спасибо.

И Никритина, взяв меня под руку, смело зашагала к письменному столу.

У почти тети Нины были такие же серые волосы, собранные в жидкий пучок, как и у настоящей тети Нины. После военного коммунизма пучки на женских затылках изменились. Даже немолодые дамы покупают в парикмахерских чужие косы и привязывают их к своим крысиным хвостикам или подкладывают старый шелковый чулок под собственные немногочисленные волосы. Тогда пучок становится пышным. Это умно. Это делает даже полу старух более или менее женственными.

— Товарищ Олегов, — сурово обратилась почти тетя Нина к пишущему машинисту, — будьте любезны, придвиньте кресло для уважаемой невесты.

— Не беспокойтесь, пожалуйста! — запротестовала Никритина. — Я постою.

— Что? Постоите? В таком положении!

Это было сказано сурово.

«Что делать, как быть с неулыбающимися людьми? — мелькнуло у меня в голове. — Это, вероятно, неизлечимо».

К счастью, с канцелярской частью они покончили довольно быстро. Потом нам пожали руки и пожелали счастливой супружеской жизни.

— Спасибо, спасибо!

— Будьте здоровы!

— До свиданья!

— Прощайте! — сказали мы этим остаткам эпохи военного коммунизма и, задыхаясь от смеха, покинули большевистский храм любви.

— Уф!..

Выйдя из подъезда на солнечную Петровку, я обратился к подруге своей жизни в тоне почти тети Нины:

— Поздравляю вас, Анна Борисовна, с законным браком!

— И вас также, Анатолий Борисович! — тем же тоном ответила она.

И мы с наслаждением расхохотались.

— Теперь, Анна Борисовна, надо спрыснуть нашу свадьбу.

— А как же, Анатолий Борисович! Шлепаем в ресторан.

— Шлепаем! Но... — Я запнулся. — А как же быть с Кирилкой? Парень, пожалуй, накачается и поднимет в твоем пузе пьяный скандал.

— Обязательно! Я его характер знаю.

— В таком случае, Нюха, ты выпьешь только одну рюмочку шампанского.

— А ты?

— Только одну бутылку.

— Гусар! Денис Давыдов!

И такая бывает.

— Где уж нам в гусары! — сказала она с доброй иронией.

И я рассказал супруге очаровательную легенду: в Париже в каком-то кабаке Денис Давыдов услышал, как французы заказывают: «Одну бутылку шампанского и шесть бокалов!» «А

мне, пожалуйста, — обратился наш гусар к тому же гарсону, — шесть бутылок шампанского и один бокал!» Легенда уверяет, что восторженные французы, после того как Денис осушил последнюю бутылку, вынесли его на руках, хотя он мог великолепно идти на своих двоих.

— Даже не пошатываясь, — заключил я.

— Молодчина!

— К сожалению, это только предание. Поэтическое предание. Вероятно, и о нас с Есениным будут рассказывать что-нибудь в этом духе.

— Уже!

— Что «уже»?

— Уже рассказывают.

— Кто? Какие мерзавцы?

— Наши актеры.

— Ох уж эти актеры! — воскликнул я. — Они такое порасскажут!

— Слава богу, им верят только дураки.

— И... многочисленное потомство, читающее дурацкие актерские мемуары.

— Ах, я так их люблю!

— Актриса!

— Увы. А ты бы, Длинный, мечтал жениться на докторе?

— Нет, нет! Только на тебе! Даже если бы ты была укротительницей тигров.

На углу Столешникова я купил букет сирени и преподнес своей узаконенной подруге.

Она улыбнулась:

— Белая! Белая сирень! Символ моей чистоты и невинности?

— Именно.

— Спасибо, Длинный. Я обожаю язык цветов. Никогда, пожалуйста, не преподноси мне желтых роз. Я ненавижу ревновать.

— Тебе, Нюшка, и не придется.

— Честное имажинистское?

— Да! Да! Да!

— Запомним это.

Я замедлил шаг.

— Стоп! Выбирайте, гражданочка, ресторан,

— Самый роскошный?

— Само собой.

— «Ампир»!

— Правильно.

Создатели этого заведения ранней эпохи нэпа пытались соперничать с Екатерининским дворцом в Царском Селе.

Сияя, как июньское солнце, мы свернули в Петровские линии.

Из «Ампира» я позвонил Шершеневичу:

— Вадим Габриэлевич дома? Попросите его.

— Анатоль?.. Это ты?.. А я только что звонил вам... Получил телеграмму из Одессы. В шестьдесят четыре слова!.. Розочка в восторге. Ждет Мартышку, ликует... Боже мой, а какой у Розочки телеграфный стиль!.. Романтика! Самая высокая! Прямо Виктор Гюго по-одесски. Родильный дом на Дерибасовской Розочка называет Дворцом деторождения. Палата для Мартышки уже забронирована. А в Аркадии, в пяти минутах от пляжа, снята для вас комнатенка... Что я! Вилла! Вилла! В десять метров и четверть балкончика в два с половиной метра. Розочка умоляет немедленно телеграфировать: день приезда Мартышки, каким поездом и номер вагона. Встречать ее будут на вокзале все Полищуки. А их в Одессе больше, чем в Москве Капланов! — кричал Шершеневич в телефонную трубку.

— Ты, Нюшка, все слышала?

— Еще бы! По-моему, и на Петровских линиях все было слышно. От слова до слова.

— Конечно. Он же великий оратор.

В ресторанном зале было пустынно. Незанятые столики сверкали реквизированным у буржуазии хрусталем, серебром, фарфором, скатертями цвета первого снега и накрахмаленными салфетками. Они стояли возле приборов навытяжку. Это был парад юного нэпа. Он очень старался, этот нэп, быть «как большие», как настоящая буржуазная жизнь.

Мы сели за столик возле окна.

Заказ принял лакей во фраке с салфеткой, перекинутой через руку (тоже «как большой»):

— Слушаю-с... Слушаю-с... Слушаю-с...

Я проворчал:

— Вот воскресло и лакейское «слушаю-с».

— Противно!

Потом Мартышка сказала:

— Я считаю, Длинный, что самое удобное — переправить на юг нашего парня в этом чемодане.

И она показала горячим глазом на свой собственный.

— В пузе? — спросил я не без волнения.

— Тогда у меня будут руки свободны. Для сумочки и зонтика.

— В этом, конечно, есть некоторое удобство.

— Огромное!

Но сердце у меня защемило.

— Сообразим.

— А когда, Длинный, ты думаешь разделаться со своими московскими делами?

— «Гостиницу» я выпущу дней через десять — двенадцать. (После отъезда Есенина за границу наш журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» целиком лег на мои плечи.) И примерно еще неделька, чтобы наскрести деньжат на лето. На все лето.

— Придется ехать одной, — сказала она бодро. — Я во что бы то ни стало хочу рожать с полным сервисом... как королева Великобритании.

Жесткий спальный билет («купейный», как говорят теперь) был куплен накануне отъезда. На мягкое место не наскребли денег. На новый чемодан тоже не наскребли. Пришлось вытащить из-под тахты мой старенький фибровый. Укладывая вещи, я с признательностью похлопывал его по вдавленным коричневым бокам.

— Это мой добрый товарищ! — приговаривал я, приминая коленкой пеленки и распашонки. — Он верой и правдой послужил мне всю мировую войну... Давай, Нюха, сарафанчик!.. Давай халатик!.. А потом той же верой и правдой он служил нам с Есениным во всех наших скитаньях по земле советской в годы военного коммунизма.

— А теперь послужит превосходной кроваткой нашему парню, — добавила будущая мамаша.

— Послужит, послужит! Не сомневаюсь в этом.

Извозчик нам подвернулся лет пятнадцати. Но не на шутку осанистый. А его пролетка просто сверкала на солнце свеженьким лаком.

Моего верного фибрового товарища я устроил на козлах.

— Валяй, брат, задирай на него ноги! — посоветовал я нашему осанистому вознице.

По дороге на вокзал, на Мясницкой, я неожиданно увидел Рюрика Ивнева, выходящим из магазина «Чай и кофе». Наш друг был страстным «чаепитчиком», как сам называл себя.

— Остановись, старина! — сказал я, постучав в спину возницы, как в мягкую дверь.

Он неохотно придержал коня.

— Рю-ю-юрик!.. — заорал я. — Рю-ю-юрик!..

— Толя! Мартышка!.. — ответил он девическим голоском. — Куда это вы? Куда?

— В Одессу!

— Зачем?

— Рожать!

— Сумасшедшие!.. Уже поздно!

— Рожать, Рюрик, никогда не поздно, — наставительным тоном ответила Мартышка.

— Я хочу сказать: не слишком ли поздно собрались?

— Лучше поздно, милый, чем никогда!

— Не уверен в этом, Мартышка! По-моему, лучше — никогда.

Он был заядлый холостяк.

Но извозчик уже тронул вожжой своего коня.

— Вот подлец! — проворчал я. — Он, видимо, струсил, Нюха, что ты рассыплешься на его блестящей пролетке.

— Конечно. Каждый бы на его месте струсил.

Я невольно вспомнил испуганные глаза Рюрика Ивнева, которыми он смотрел на наш знаменитый фибровый чемодан. Он с ним тоже раза два путешествовал во время Гражданской войны. Мне всегда нравились глаза нашего поэта под тяжелыми веками. Я даже написал о них целую строфу в своей поэме «Друзья». Это были глаза святого и великого грешника. Что всегда рядом.

А только что, в ту секунду, когда он пропищал: «Сумасшедшие!..» — я увидел, что это были добрые, по-настоящему испуганные глаза старого друга.

Рюрик Ивнев писал не только очень хорошие стихи, но и очень плохие романы. Поэтому их охотно печатали и еще более охотно читали.

Поэтому Шершеневич любил повторять крылатую фразу Мережковского: «Что по́шло, то и пошло́». И даже обмолвился эпиграммой:

Не столько воды в Неве,
Сколько в Рюрике Ивневе.

А Есенин говорил: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится».

К счастью, наш друг не обижался. Мне даже казалось, что ему были приятны эти цитаты, обмолвки и литературно-критические сентенции.

А вот названия он придумывал для своих романов действительно отличные: «Любовь без любви», к примеру.

Наш поезд отходил в 20.14. Вечер был теплый, почти черноморский. Фибровый чемодан не слишком отягощал меня. А Мартышка несла в руках зонтик, сумочку и букет красных гвоздик. Я отлично усвоил язык цветов. Красный означал: «Люблю безумно».

— Осторожно... Не оступись... Здесь желобок... Смотри под ноги... ступенька...

— Мне кажется, Длинный, ты волнуешься.

— Чуть-чуть.

— Врешь, Длинный, что чуть-чуть.

— Если хочешь знать чистую правду: чуть-чуть больше, чем чуть-чуть.

— Опять врешь.

И она сжала мне руку теплыми пальцами:

— Немедленно, Длинный, выкинь из головы всякие дурацкие страхи за меня. Слышишь?

— Слышу.

— Ну!

— Есть. Выкинул.

— Опять врешь.

Фибровый чемодан я заботливо положил в головах — под жидкую вагонную подушку.

— Так тебе будет, Нюша, удобнее спать. Повыше будет. Правда?

— Конечно. Повыше и пожестче.

— Тогда я положу чемодан в ноги.

— Пожалуйста. Если он не обидится. Места нам обоим хватит. Все равно я сплю калачиком.

Нет, шутки до меня не доходили. Я был настроен слишком серьезно.

В купе уже расположились три курортницы: молоденькая в шелковой пижаме со шнурами на груди, как у гусара, не очень молоденькая в ситцевом сарафане и толстая крашеная дама в фиолетовом халате, которая мужественно боролась со старостью. Она вытирала кружевным платочком три потных подбородка, обмахивалась костяным китайским веером и громкими глотками пила боржом прямо из бутылки. Мне передавали, что англичане для развлечения ходят в немецкие рестораны, чтобы слушать, как немцы едят. Признаюсь, что это развлечение не в моем вкусе. И я трусливо сбежал.

— Они сразу увидели! — сказала Нюша, выйдя из купе в коридор, где я поджидал ее у раскрытого окна.

— Неужели?

— И не могли оторвать глаз.

Я бодро сказал:

— Тебе повезло, Нюша. В купе одни женщины. Очень повезло.

— Но я, Длинный, предпочитаю мужчин. — И она с улыбкой пояснила: — Мужчины, видишь ли, поженственней, помягче.

Я сделал вид, что не согласился с этим:

— Чепуха! Парадокс! Держись, дружок, храбро.

— А я сразу лягу. Постель уже приготовлена.

— Правильно. Сразу на боковую. И спи.

Проводник принес для моих гвоздик воду в полулитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов.

— Большое спасибо, товарищ, — сказала она проводнику.

И, поставив цветы в воду, вернулась к окну.

Я поинтересовался:

— Все в порядке?

Нюша мотнула головой в сторону шептавшихся курортниц:

— Обсуждают мой живот.

— Не фантазируй, дружок.

— Мне ли не знать женщин? Сама-то я кто?

Фиолетовая решительно закрыла дверь в купе.

Я прокомментировал не слишком уверенно:

— Вероятно, хочет попудрить нос.

Но Нюша стояла на своем:

— Они смотрели на мой живот, как на Гималайские горы. Вероятно, похоже?

— Ничего подобного! Я даже поражаюсь, как они его заметили.

— Ах ты мой длинный дурень! — И Нюша опять сжала теплыми пальцами мою руку.

Раздался второй звонок. Мы обнялись и крепко поцеловались. Она старалась приободрить меня:

— Не вешай, Толюха, носа. Я постараюсь не родить до твоего приезда.

— А это можно — постараться? Постараться или не постараться в этом деле?

— Конечно, можно! — сказала она убежденно.

И самыми правдивыми на свете глазами взглянула в мои глаза:

— Вообще, Длинный, все будет замечательно.

— Не сомневаюсь! — со слезой в горле согласился я. — Ни одной минуты не сомневаюсь.

И даже пошутил. Первый раз за тот вечер пошутил:

— Только, пожалуйста, милая, не играй в футбол.

Она поклялась, что не будет. Потом добавила:

— В крайнем случае, постою в воротах голкипером.

Когда поезд отгромыхал Москву, будущая одесситка вошла в купе, переоделась на ночь, съела яблоко, вынула из су-

мочки «Вечерку», легла и натянула до подбородка белое пикейное одеяло. Гималаи словно покрыл снег. Курортницы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Тогда будущая одесситка повернулась носом к стене и стала посапывать. «Вечерка» выпала из ее рук. Ничего сенсационного в ней не было.

— Заснула, как безгрешный ангел, — пробасила фиолетовая.

— Вот какие бывают «приятные» сюрпризы! — сказала не очень молоденькая. — Железнодорожные сюрпризы!

— Еще родит нам тут среди ночи! — как наработавшийся пильщик, тяжело вздохнула фиолетовая.

— Вполне вероятно, — согласилась не очень молоденькая. — Моя дочка на крыше родила. С биноклем в кармане. Во время солнечного затмения.

— Нет, не родит. Она в нашем купе не родит. Даю вам честное благородное! — твердо сказала очень молоденькая. — При первых же схватках я ее из вагона высажу.

— Куда? — безнадежно пробасила фиолетовая. — Куда вы ее высадите?

— К чертовой бабушке! Опущу тормоз Вестингауза и высажу. Хоть в чистом поле высажу. Вот увидите!

И очень молоденькая сердито надула свои пухлые розовые щечки с прелестными ямочками, которые возникают у тех, кого, как замечено, при рождении целует ангел в эти местечки. Словом, она была прелестна, эта юная супруга магазина «Комфорт», что процветал на Петровке по соседству с «Ампиром». Красотка ехала в Одессу «к папе и маме своего второго мужа», которому была фамилия Полищук, то есть та же, что и у Розочки.

«Вот как весело играет случай», — подумала Никритина. И, засыпая, твердо решила: «А моему Длинному я обязательно передам со стенографической точностью весь жен-

ский диалог. Писателю полезно знать жизнь как жизнь. Не подсахаренную».

Толпа Полищуков бурно встретила московскую актрису. Не хватало только еврейского оркестра.

Пылкая прелестная Розочка, громко расцеловавшись с прибывшей, сказала:

— Называйте меня просто Розочка.

— С удовольствием.

— А мне можно называть вас просто Аннет?

— Можно, Розочка, Но еще проще — Мартышка. Так меня все называют.

Жаль, что я не был при этом. Я бы сказал себе с удовлетворением: «О, это плоды нашего имажинистского воспитания! Три года тому назад ты, милая, была важной Мартышкой. На вопрос Розочки ты бы непременно ответила: "Меня зовут Анной Борисовной"».

Разговор на одесском перроне продолжался.

— Вы, Аннет, я вижу, обожаете путешествовать, — сказала Розочка.

На что Никритина пошутила:

— Преимущественно, Розочка, на девятом месяце. В конце девятого.

— Хорошо, что Димка написал об этом. Иначе бы никому не пришло в голову, что вы на девятом.

Она словно воспитывалась в Версале, у мадам Помпадур, а не у тети Фани, знаменитого на всю Одессу зубного врача.

— Вы отчаянная комплиментщица, Розочка.

В ответ Розочка страстно обняла свою новую подругу:

— У меня, Аннет, такое чувство, что я обожаю вас всю жизнь. Да, да! Будто мы вместе играли в «дочки-матери», а потом вместе влюбились в одних и тех же мальчишек... Давайте перейдем на «ты»!

— С удовольствием, Розочка.

Я приехал в Одессу 9 июля.

— Вот, Длинный, твоя Мартышка и сдержала свое обещание: без тебя не родила. Постаралась. Доволен?

Это были самые первые слова, которыми она встретила меня на перроне.

Мы расцеловались, и она опять спросила:

— Очень доволен? Очень?

— Еще бы!

Но подумал: «Постаралась не родить. Она постаралась! Нет, малоносая, не ты постаралась, а Бог за тебя постарался... Да». Нюшка великолепная актриса: врет с глазами праведницы. Для мужа это очень опасно. Черт побери, а вдруг когда-нибудь мне придется сказать своему парню: «Только, дружище, не женись на актрисе!» Спасибо, что вышло по-другому. Незадолго до смерти мальчугана кто-то спросил его: «Как ты думаешь, Кирка, в чем счастье?» Он задумался, взглянул на свою мамашу и ответил: «В хорошей жене». Это был ответ мудреца. Но об этом я поподробней расскажу дальше.

Итак, я приехал 9-го, а 10-го утром уже с упоением слушал, как пищит наш парень. Как необыкновенно, как замечательно он пищит! И еще, затаив дыхание, я любовался, как он, задрав лапы, согнутые в коленках, дрыгает ими. Причем пятки у него были красные, как одесские помидорчики.

А под воскресенье я уже перевез свое семейство на дачу в Аркадию.

На этот раз возница был на полвека старше нашего последнего московского. Вдобавок с усами, как на портретах Буденного, только с седыми.

— В Аркадию? — переспросил он. — В нашу счастливую Аркадию?

В это мгновение Кирка пронзительно закричал.

— Поехали, поехали, святое семейство. Но-о-о!..

И, взмахнув шикарным кнутом, усач скаламбурил:

— Бог даст, мамочка, не разнесу вашего Беню Крика... Что?.. Вы читали Исаака Бабеля?..

— А кто это такой, дедушка? — с самыми правдивыми глазами спросила счастливая «мамочка», считая Исаака Бабеля русско-еврейским Мопассаном.

— Ка-а-а-ак, дорогие товарищи, вы даже не знаете нашего Бабеля!.. Нашего Исаака Эммануиловича Бабеля?

— Нет, дедушка. Мы из Москвы.

Усач настолько запрезирал нас, что без малейших угрызений совести содрал за проезд до Аркадии втрое против таксы.

Одесса-мама!

Мрачно расплатившись, я сказал Никритиной:

— Вот во сколько нам влетели твои милые шуточки.

С ранней юности я предпочитал «марать бумагу», выражаясь по-пушкински, с утра. «Уж если марать, — говорил я, — так марать на свежую голову». Но парень наш был еще старательней: он начинал пищать прежде первых петухов, будя и этих пернатых, и нас, и наших соседей. К счастью, ими были добрые жизнерадостные симпатично-жирненькие Полищуки: знаменитый зубной врач тетя Фаня и ее муж провизор дядя Мотя. Они были из того радушного семейства Полищуков, что встречало на вокзале «знаменитую московскую актрису». В этом, то есть что она знаменита, их убедила Розочка.

Жирненькие супруги неторопливо, с осторожностью передвигались по круглой земле. Казалось, они всегда об этом помнили, то есть что она действительно круглая. Кроме того, дядя Мотя еще любил цитировать Шекспира, который, как известно, назвал эту опасную землю «комочком грязи».

И тетя Фаня, и дядя Мотя носили на внушительных носах пенсне в блестящей оправе. Им, очевидно, надлежало свиде-

тельствовать, что супруги — люди интеллигентные, люди другого времени, люди с высокими душевными запросами и ответами.

Тетя Фаня весьма почтительно относилась к своему здоровью. Еще до революции она стала отдыхать с 1 июня до 1 сентября, иначе говоря, до окончания купального сезона. И не изменяла этому мудрому правилу даже в трудную эпоху военного коммунизма. Верные ей пациенты, учитывая ее «святой отдых», приноравливали к нему капитальные ремонты своих трудолюбивых многожующих ртов.

Проходя на цыпочках мимо меня по балкону, и дядя Мотя, и тетя Фаня всякий раз интересовались:

— Ну что?.. Ну как, Анатолий Борисович?

И я отвечал пушкинскими словами: «Мараю бумагу», или: «Да вот третий час потею», или «Ковыряюсь помаленьку», — и еще что-то в этом духе.

Такие ответы мои, как я стал замечать, огорчали высокоинтеллигентных супругов, и я изменил свой словарь: «Творю, Матвей Исаакович», или: «Сегодня, Фаина Абрамовна, муза улыбается мне», или: «Озарило, озарило вдохновение!».

Все эти дурацкие фразы я научился произносить без малейшей иронии. Получив такой возвышенный ответ, кругленькая чета направлялась на прогулки или на пляж с блаженными лицами.

Едва первые живительные лучи нэпа прорезали последние тучи военного коммунизма, дядя Мотя открыл свое «дело», то есть магазинчик с культурным названием «Парфюмерия и гигиена». Место для магазинчика было найдено с завидной талантливостью — рукой подать от всемирно известной «Лондонской гостиницы». Как нетрудно понять, ее многочисленным постояльцам круглосуточно требовались именно те предметы, которыми торговал наш провизор. Немудрено, что в первый же год «финкционирования», выражаясь языком дя-

ди Моги, он начал шить себе двубортные костюмы из английского коверкота, а своей супруге — шубы из черного, серого и коричневого каракуля. Это был ее любимый мех. Надо признаться, что дяде Моте и в голову не приходило (при таком-то высоком интеллекте!), что недалек тот день, когда его посадят.

— Спасибо им, — говорил дядя Мотя, — что еще не забрали мамочку. (Так он называл ее.)

Многих Полищуков пересажали с женами и детками. (Конечно, не малолетними.) Но одесситы и тогда не теряли юмора: «Мы, как Минин и Пожарский, — острили они, — заложили жен и детей». Только дядя Мотя чуть ли не до самой Отечественной войны с мягким философским удивлением продолжал спрашивать самого себя и своих добрых знакомых:

— Скажите, пожалуйста, за что они меня посадили? За что? Ведь это же не я придумал новую экономическую политику. Они же сами ее придумали, сами просили: «Пожалуйста, торгуйте, товарищ Полищук! Пожалуйста, хорошо торгуйте!» И я соглашался. И, конечно, открыл магазинчик. И, конечно, старался торговать хорошо. Как мог и как умел. И я, видит Бог, платил хорошенькие налоги. И я думал, что провизор Полищук даже очень полезен советскому государству. За что же они, скажите, пожалуйста, меня посадили? И отобрали у мамочки ее каракулевые шубки? И даже соболью кофточку. И черно-бурую пелериночку, что лежала в сундуке у Доди Маркузона. В нафталине. Как говорится, про черный день. Да, да! Их тоже забрали. Как миленьких. Следователь сказал во время обыска: «А нам такая соболья кофточка и такая пелериночка пригодятся про белый день. Чтобы строить тракторы». Вот как он сказал. А теперь вы, наверно, спросите: «Кто же донес про них?» Кто! Я вам могу ответить кто: мерзавец Додочка Маркузон. Мой любимый аптекарский ученик.

Чуть-чуть не приемный сынок, который и в магазинчике нашем торговал. Он даже меня называл: «Папа Мотя». И еще вы, наверно, спросите: «Почему же он донес? Почему?» И я вам отвечу: «Пути Господа и мерзавцев неисповедимы».

— Это верно, Матвей Исаакович, — согласился я.

Мне очень нравились его мудрые афоризмы.

Но это история будущего. Мы забежали несколько вперед. Надо вернуться.

У «знаменитой московской актрисы» была чуткая совесть. По-моему, даже чересчур чуткая. И она по-настоящему страдала, считая, что наш парень, начиная орать спозаранок, портит лето всем на свете.

«Горошком» вскочив с кровати, она с трагическими глазами вынимала его из фибрового чемодана, продолжавшего свою верную службу, кормила паренька грудью и убаюкивала, напевая что-то свое — колыбельное. К примеру:

Миленький, посапывай,
Пишет пьесу папа твой.
Баю, баю, бай,
Папе не мешай.

От нежных рук и приятного мурлыканья крикун сразу засыпал, а счастливая мать говорила:

— Ну какой умный! Уже все понимает. Все, все!

— А эту колыбельную он сам сочинил? — спрашивал я, не поднимая глаз от рукописи.

— Скептик! Противный скептик!.. Не смей его пяточки целовать! Запрещаю!

А когда я отрывался от своего «бумагомаранья», чтобы выкурить папиросу под ветками желтых и белых акаций, с балкона раздавался голос сердобольной тети Фани:

— Анатолий Борисович!.. Анатолий Борисович!..

Добрая женщина, как я заметил, была убеждена, что все люди на русской земле едят слишком мало. А в двадцать шесть лет мужчине для солидности уже пора поднакапливать жирок на теле.

— Поднимайтесь скорей на балкончик. Вас уже дожидаются ягоды с холодной сметаной.

— Спасибо!

— Спешите, Анатолий Борисович! Пожалуйста, спешите! — добавлял дядя Мотя.

— Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Что?

И я спешил.

И милый нэпман спрашивал меня:

— Как сегодня поживает черномазая Зера?

— Сегодня я еще влюблен в нее.

— Слава богу!

— Но что будет завтра...

— Завтра, Анатолий Борисович, вы тоже будете в нее влюблены. И послезавтра. Всю жизнь.

— Неуверен.

— Почему это вы не уверены? Скажите, пожалуйста, почему?

— Да потому, что ночью я буду читать своей актрисуле...

Он неодобрительно покачал головой:

— «Актрисуле»!..

— Не обижайтесь за Никритину. Так называл Чехов свою Книппер.

— Не может быть! И это вы слышали собственными ушами?

— Нет, к сожалению, не слышал. Но я читал его письма к Книппер.

— Ой! Как нехорошо читать чужие письма!

Он не острил. Он говорил с полным убеждением. С убеждением старого одесского интеллигента, что чужие письма — это литература для сплетниц.

— Значит, вы будете читать ночью Анне Борисовне новую сцену? Что?

— Весь второй акт пьесы.

— Поздравляю, поздравляю.

— Подождите. Не торопитесь поздравлять. Может быть, на утренней заре, перед купаньем, я утоплю весь второй акт вместе с черномазой Зерой в вашем соленом море.

— Боже мой, зачем вы их будете топить? Зачем топить черненькую Зеру?

— Обязательно! С камнем на шее.

— Зеру? Ой!..

— Если она не понравится Анне Борисовне.

— Кто не понравится? Кто? Эта черненькая прелестная девочка?

— Да!

— Кушайте, пожалуйста, свои ягоды. Кушайте абсолютно спокойно. Она понравится. Она не может не понравиться. Она очень понравится. Очень, очень.

Матвей Исаакович был в курсе всех наших дел. Он все знал. Знал, как я пишу и что. Иногда знал это даже раньше, чем Никритина, так как едва я складывал в стопку исписанные листы и прятал карандаш в карман, он мягко брал меня под руку и уводил в тень садика из пяти акаций, сожженных солнцем.

— Значит, — говорил он, — мы сейчас будем слушать новую сцену? Не правда ли, Анатолий Борисович? Что?

И я невольно покорялся его мягкой настойчивости:

— Идите, провизор, за своей панамой. А то Фаня Абрамовна рассердится.

— И она, как всегда, будет абсолютно права. Когда моя лысина накаляется, как сковородка, я соображаю немножко хуже. А вашего «Вавилонского адвоката» я, конечно, хочу...

— Ладно, ладно. Идите за панамой. Жду вас под толстой акацией.

— А что? Разве она плохая, эта толстая акация? — не унимался милейший болтун. — Разве она хуже ваших разных осин? На ней, слава богу, еще не повесился никакой Иуда. Бегу, бегу!

Через минуту он возвращался не только в панаме, в своей роскошной настоящей панаме, которая свертывалась в тоню-сенькую трубочку, но и с белым кружевным зонтиком тети Фани:

— Я вам это говорю, Анатолий Борисович; мамочка самый мудрый человек на земле. Прямо ребе. Она все знает. Она знает, что зонтик нам с вами тоже не помешает. Вы видели, сколько сейчас на термометре? Сорок два градуса по Реомюру! Что?

На утренней заре я не утопил свою рукопись в Эвксинском Понте. Настроение и самочувствие были отменные. Мы жили в Аркадии, как святые неподалеку от рая. В самом раю нам, вероятно, было бы хуже. Там ведь не полагалось вкушать плодов с древа Познания. Те дни мне чрезвычайно нравились прелестью своего однообразия. Сияло солнце, и плескалась о песок теплая солоноватая вода. С утра до обеда я марал бумагу. Наш парень орал в меру и прибавлял в весе, сколько предписано медициной. Его взвешивала тетя Фаня на аптекарских весах, привезенных дядей Мотей из города как подарок «Парфюмерии и гигиены». У молодой матери хватало времени, чтобы покормить парня грудью, выстирать в корыте пеленки и выстирать его самого. А в промежутках самой поплескаться в «шикарном» море, как говорили одесситы, и «покоричневеть» (это тоже их словцо), «покоричневеть», согласно моде, перед Москвой. Словом, мы не переставали благодарить Шершеневича за умный и добрый совет.

В Москве накануне отъезда я спросил Мейерхольда;

— Скажи, Всеволод, сколько страниц должно быть в пьесе?

— Чем меньше, тем лучше! — ответил он. — Если бы Шекспир писал покороче, его бы непременно взяли живым

на небо. А его похоронили в земле. Это в наказание за слишком длинные трагедии и комедии.

— Отвечай-ка, Всеволод, делово: сколько должно быть страниц в пьесе?

— Ты пишешь комедию или трагедию?

— Комедию. А чтобы подразнить гусей, как говорит Есенин, назову ее фарсом.

— Дразни, дразни. Я это люблю.

— На библейский сюжет. Парочка сластолюбивых старичков, парочка ханжей, подглядывала за купающейся Сусанной. И влипла эта парочка. А чтобы выйти сухими из воды, старички сами затеяли суд над пышноволосой «соблазнительницей». А пророк Даниил, воспылав страстью к пышнотелой, стал ее блестящим адвокатом... У нас ведь тоже разведось немало ханжей.

— Значит, пьеса об этом.

— Да. Огонь по ханжам,

— Прелестно!.. Фарс?

— Комедия.

— Фарс, фарс, фарс!

— Ну? Сколько же требуется страниц?

— Семьдесят! На «Ундервуде». Через два интервала. — И добавил: — Если ты пишешь пьесу для меня.

— Нет, для Таирова.

Мейерхольд задрал свой сиранодебержераковский нос и презрительно фыркнул:

— Пф-ф! Для Таирова! Для этого фармацевта!.. Пф-ф! Он тебе накрутит пилюльки из твоей пьесы. Такие красивенькие пилюльки, что ты, брат, сразу вылечишься от любви к нему.

Не собираясь ссориться с Мейерхольдом, я уточнил:

— Верней, не для Таирова, а для Никритиной.

— Ага.

— Ясно, Всеволод?

— Ага.

Он понял меня и оправдал, так как сам в то время уже ставил спектакли для Зинаиды Райх, своей жены.

— Ясно, брат! — И похлопал меня по плечу, как заговорщик заговорщика.

И сразу нахмурился:

— А Зиночка великолепно сыграла бы Сусанну!

Я невольно улыбнулся и подумал: «Таковы все мужья актрис, и самые умные из них — глупей рядового зрителя. И делаются совершенно слепыми на беду своего театра». Тут же я опять вспомнил своего друга Шершеневича, который после какой-то мейерхольдовской премьеры скаламбурил: «До чего же мне надоело смотреть на райхитичные ноги!»

Возвращаюсь в Аркадию.

В начале сентября я объявил с балкончика:

— Товарищи, только что написал самые приятные на свете три слова: «Занавес. Конец пьесы».

Дядя Мотя поднялся на четыре ступеньки, снял с головы панаму и расцеловал меня. А тетя Фаня решительно сказала:

— Вашего «Вавилонского адвоката» будет переписывать Сонечка Полищук. Знаменитая машинистка! Вы с ней еще не знакомы? Это сама пикантность! Сама прелесть! Моя племянница!

— А какая у нее машинка?

— «Ундервуд».

— Отлично. Попросите, пожалуйста, знаменитую машинистку переписывать через два интервала. В пяти экземплярах. Разумеется, если у Сонечки есть хорошая копирка.

— Не смешите меня! У нашей Сонечки — и нет хорошей заграничной копирки! Что?

Я уже привык в Одессе к знаменитостям. К знаменитым сапожникам, знаменитым портным, знаменитым «куаферам», знаменитым врачам, знаменитым дантистам, знаменитым чистильщикам сапог и т. д. «Не знаменитые» попадались как исключение из правил.

Ровно через неделю тетя Фаня привезла из Одессы «Вавилонского адвоката». Он был вручен мне в крокодиловом портфеле с серебряной монограммой «А. М.».

— О-о!..

Открыв портфель ключиком, я сосчитал экземпляры:

— Ура! Шесть!

Даже последний, шестой, пленял четкостью. Хоть сдавай Таирову, а пятый Луначарскому.

Только значительно позже, при Сталине, очередной реперткомщик читал исключительно «первонапечатанный».

Все экземпляры были элегантно переплетены.

— О!..

Они были переплетены в красный коленкор.

— Вот это сервис!

— Одесса! — гордо сказал дядя Мотя.

А тетя Фаня, постучав пухленьким наманикюренным пальчиком по крокодиловой коже портфеля, объявила:

— А это вам, Анатолий Борисович, от всех Полищуков за шикарную пьесу.

— Благодарю вас!.. Благодарю вас!..

И, поцеловав у тети Фани ее пухленькую ручку, я взглянул на последнюю страницу:

— Шестьдесят девять!..

И расплылся в счастливую улыбку:

— Это замечательно!

А потом, чтобы доставить удовольствие своим новым друзьям, я перешел на язык Одессы.

— Шикарно!.. — воскликнул я. — Шикарная работа!

Так же восклицали на здешних рынках:

— Шикарные малосольные огурчики!..

— Шикарные яички из-под курочки!

— Шикарная вишня!.. Шикарная вишня!..

Не прошло и десяти минут, как в нашу калитку вошел знаменитый усатый почтальон Аркадии.

— Вам, гражданин поэт, — сказал он, раскланявшись, — телеграммочка из Москвы. Танцуйте, пожалуйста, польку-бабочку.

Я станцевал, расписался в получении телеграммы и прочел ее вслух: «Приехал Приезжай!»

— Танцуй, Нюшка. Сергун приехал.

И она затанцевала.

Потом дочитал телеграмму до конца: «Высылаю сто целковых на дорогу Есенин».

— Очень кстати!

Мы уже задолжали всей Одессе.

А послезавтра нас провожала с осенними георгинами толпа Полищуков, еще более шумная, чем при первой встрече.

«Знаменитая московская актриса» стояла у раскрытого вагонного окна с Киркой на левой руке и с георгинами в правой. Помахивая туда и сюда шикарными цветами, она сказала:

— Когда-нибудь... летом... мы опять приедем сюда... Когда Кирка уже будет бегать... Хорошо?

— Обязательно!

И мы действительно приехали. Но без Кирки. Он умер в 1940-м. Приехали мы в Одессу уже после войны. И никого из милых нам Полищуков не нашли на Дерибасовской. Тетя Фаня умерла накануне войны от рака желудка. Прелестная Розочка со всеми своими ребятами утонула. Теплоход, на котором они эвакуировались из Одессы, торпедировали немцы. Знаменитая Сонечка, эта «пикантность», эта «прелесть», сошлась с румынским штабным офицером и куда-то убежала с ним. Дядю Мотю расстреляли оккупанты. За что?

Вернулись мы в Москву в холодный ветреный день. Пьяный Есенин встретил нас на вокзале. Трагически пьяный. Изадоры Дункан с ним уже не было. Толстые липы на Бульварном кольце «А» уже звенели, как старые цыганки, жест-

кими листьями цвета медного самовара, очень давно не чищенного.

— А тут, Нюша, полная осень.

Генеральные репетиции «Вавилонского адвоката» начались через полгода. Я не люблю зиму, хотя с институтских лет никогда не ношу галош, которые старят больше, чем седые волосы и морщины.

Наконец-то опять явилась весна...

«О, сколько их еще будет!..» — «Не так уж много, дружище, как тебе сейчас кажется, — это говорит сегодняшний голос, голос шестидесятилетнего человека. — Совсем немного, бедняга! Что?»

Этот вопрос в конце почти каждой фразы остался у меня, как наследство от дяди Моти.

Значит, опять была весна.

На Тверском бульваре даже старые толстые липы, приодевшись, похорошели.

Даже луна казалась теплой.

Даже проститутки с Тверской — прелестными.

Даже у горластых газетчиков и папиросников, этих московских гаврошей, были фиалки в грязных лапах. Торгуя ими, гавроши держали с нежностью голубенькие букетики. А может быть, мне только мерещилась эта лирика. Вероятно.

Когда к памятнику Пушкину, чуть подпрыгивая, подходил старший Никритин (я называл его «Леонардо да Винчи из Газетного переулка»), наши гавроши встречали этого Леонардо звонкими возгласами:

— Оптовик пришел!.. Оптовик!.. Оптовик!..

Старший Никритин, поддернув протертые брюки с романтической бахромой по обшлагам, всегда покупал одну папироску. Поэтому гавроши и прозвали его оптовиком.

В ту эпоху, изжившую себя одновременно с нэпом, все двадцатилетние художники с Газетного, с Мясницкой, с

Плющихи, с Коровьего Вала и Собачьей площадки были Леонардами, Рафаэлями и Рембрандтами. А потом, к тридцати и дальше, просто-на просто бедствующими до старости славными малыми, к сожалению, недоучившимися анатомии, рисунку, светотени и композиции. Я дружил с ними и сейчас, по возможности, дружу, хотя осталось их на этом комочке грязи меньше десятка.

Итак, даже луна казалась теплой.

Даже инвалиды двух войн, Мировой и Гражданской, улыбались, как счастливцы.

Даже полу старики гуляли по бульвару под ручку со своими престарелыми дамами, а более тормошливые из них — с юными девушками. Представьте себе, гуляли и гуляли. На зависть своим белоголовым сверстникам.

А я, как дурак, не вылезал из душного театра, ругался, как извозчик, и грыз Никритину.

Таиров сказал:

— Если Мариенгоф будет учить всех актеров, как надо играть, если он будет мешать художнику, осветителю и суфлеру, а главное, портить роль Нюше, я распоряжусь не пускать этого Шекспира в театр.

Но меня пускали. Со страхом, но пускали. Хотя в моем поведении ничего не изменилось до последних генералок.

Только у Нюши неожиданно пропало молоко и пришлось перейти на искусственное питание. Малыш пострадал больше всех.

На премьере, за несколько минут до того, как погасили свет, я в своем кресле пятого ряда волновался еще больше, чем перед экзаменами в приготовительный класс нижегородского Дворянского института, когда у большой грифельной доски на предложение вычесть семь из двенадцати я чуть не описался. Ей богу, история повторялась в точности. К счастью, такое отвратительное волнение на собственной премье-

ре было не только первым в моей жизни, но и последним. На всех остальных общественных просмотрах своих пьес я уже был человеком. Возможно, это случалось потому, что рядом со мной в кресле всякий раз сидела Никритина. Волновалась она. Волновалась, как я на «Вавилонском адвокате». Как я у грифельной доски. Думается, именно это действовало на меня успокаивающе.

После окончания «Вавилонского» кричали:

— Зеру!.. Зеру!.. Зеру!..

Тогда в Москве еще немногие знали фамилию актрисы.

Я с возмущением шипел про себя: «Невежды!..»

Но еще больше был возмущен, когда минут через десять опустили железный занавес. Он закрыл даже самые горячие рты. И я, разумеется, счел это «театральной интригой».

«Безобразие!.. Возмутительно!..»

И побежал за кулисы к Никритиной.

— Ты слыхала, как тебя вызывали?.. Слыхала?..

Спокойно, сосредоточенно, чуть священнодействуя, она перед трельяжем снимала с лица темно-коричневый грим.

— Ты слыхала?.. Слыхала?..

— В Полтаве, — небрежно проронила она, вытирая о фланелевую тряпку костяной ножичек с вазелином, — в Полтаве на моих премьерах было то же самое.

И добавила:

— Я уже привыкла к этому.

— Вот как...

Я сначала остолбенел, потом улыбнулся.

— Не понимаю, мой дорогой автор, почему ты улыбаешься?

Тогда я расхохотался и поцеловал ее в навазелиненные губы:

— А знаешь, Нюшка, ты все-таки здоровая нахалка!..

Вскоре пошли газетные рецензии. Ее очень хвалили. Но я только презрительно посвистывал. Очевидно, потому, что Никритинуне называли «идиоты-критики» юной Комиссаржевской, как в Полтаве. Где, без сомнения, критическая

мысль была тоньше. К моему удовольствию и некоторому удовлетворению, через неделю с обложек театральных журналов лукаво засверкали белки черномазой Зеры.

Я покупал эту замечательную литературу дюжинами и рассылал ее по почте. В Пензу, в Нижний Новгород, в Петроград. Своим школьным друзьям и своим Любовям — первой, второй, третьей, четвертой...

И только Рюрик Ивнев по недомыслию искренне удивлялся.

— Что делается в мире? — говорил он тоненьким голоском. — Наша Мартышка стала знаменитой актрисой!

— Не понимаю, болван, чему ты удивляешься!

Он вытаращил глаза примерно так же, как я, когда услышал: «В Полтаве на моих премьерах было то же самое».

Подошло лето.

Сезон в Камерном театре закрылся.

Никритиной увеличили жалованье на пятнадцать рублей.

Мне удалось выполнить и второе свое обещание: отправиться с Мартышкой в Париж.

Нашего парня мы, разумеется, оставили на бабушку.

Бабушка!.. Какое это чудное заведение — бабушка! Что бы мы делали без этого чудного заведения, придуманного самой жизнью?..

Итак:

— В Париж! В Париж!

21

Годы шли. Нет, годы бежали. А почему, в самом деле, не ходят они солидно, неторопливо, как, например, главные бухгалтеры? Нет тебе этого! Бегут проклятые годы. Бегут, как черт знает кто.

— Знаешь, Ниночка, — сказал я, — по моим наблюдениям, теперь и для Качалова, как для имажиниста Мариенгофа, не существует богов ни на небе, ни на земле.

— Уж конечно! Конечно! — нервно подергивая плечиками, отвечала Литовцева.

— С кем поведешься, от того и понаберешься.

После воспаления легких Качалов отдыхал и поправлялся в Барвихе, что под Москвой.

Тогда же там отдыхали и поправлялись после своих хворостей, очевидно, неизбежных в возрасте, который так и называется преклонным (перед болезнями, что ли?), Константин Сергеевич Станиславский и Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина.

Замечательная «старуха»! Сценическая «старуха» с молодых лет. Малый театр в то время был ими богат и славен.

В один из понедельников, когда МХАТ отдыхал, Литовцева заехала за мной и Никритиной:

— Толя, Нюша, поедемте к Василию Ивановичу. Он звонил по телефону. Очень хочет вас видеть.

Мартышка схватилась за голову обеими руками:

— Ужас! Ужас!

— Что, Нюшенька, не можешь?

— У нас сегодня чтение пьесы. У Таирова в кабинете.

И верхняя губа ее, искривившись, запрыгала, как у младенца, собиравшегося заплакать.

— А ты можешь, Толя?

— Очень даже.

— А с Нюшей мы поедем в следующий понедельник.

Тут же Литовцева заботливо проскрипела:

— Только, друг мой, ты уж не засиживайся у Василия Ивановича.

— Ладно.

— И стихи свои ему не читай, пожалуйста. Читай уж мне, дома. Я хоть не после болезни. Я их получше перенесу.

— А тебя, Нина?..

— Что меня?

— Ведь тебя, дорогая, тоже довольно трудно переносить. Даже здоровому человеку.

— Такого нахала, как ты, мой друг, еще свет не видывал.

— Невозможнейший! — предательски согласилась Никритина.

Падал снег.

Барвихинские столетние сосны стояли вокруг дома этакими кавалергардами в белых мундирах.

Мягкими дорожками цвета травы мы прошагали по коридору в качаловскую комнату.

— Как ты помолодел, Вася! — сказал я.

После болезни он несколько скинул негрузный жирок, а зимнее солнце позолотило лицо в часы неторопливых прогулок.

— Скоро юношей стану, — отозвался Качалов. — Вот только бы еще три-четыре воспаления легких.

— Типун тебе на язык, Василий Иванович! — прокричала супруга.

— Шутки в сторону, а ведь меня недавно Всевышний к себе призывал.

— Что?.. — непритворно перепугалась она. — Что такое? Куда это Он тебя призывал?

— К себе, на небо.

— Что?..

— Иду это я по нашей дороге вдоль леса. Размышляю о жизни и смерти. Настроение самое философское. Болел-то я не в шутку. Уж «бренные пожитки собирал», говоря по-есенински.

— Перестань, Василий Иванович!

— Вдруг слышу...

— Василий Иванович, тебе нельзя много разговаривать.

— Подожди, Нина... Вдруг слышу голос с неба: «Васиилий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Так и одеревенел. Ну, думаю, кончен бал. Призывает меня к себе Господь Бог.

Литовцева испуганно перекрестилась.

У нее в комнате над столиком, где лежали книги Маркса и Ленина, всегда теплилась лампадка перед старенькой иконкой Божьей Матери.

— Ну?.. — спросил я нетерпеливо, по-никритински. — Ну?

— Наложив, разумеется, полные штаны, — продолжал Качалов, — я поднимаю глаза к небу.

И тут он сделал знаменитую мхатовскую паузу.

Литовцева была ни жива, ни мертва.

— А передо мной, значит, телеграфный столб, а на самой макушке его, обхватив деревяшку зубастыми ножными клещами, сидит монтер и что-то там чинит. А метрах в ста от него, на другом столбе, сидит второй монтер, которого, стало быть, зовут, как меня, — Василием Ивановичем. Вот мой разбойник и кличет его этаким густым шаляпинским голосом: «Ва-си-илий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Ну совершенно голосом Бога, друзья мои.

Мы рассмеялись.

— Честное слово, очень похож! Сам Господь Бог орет, и баста. До чего ж я перетрусил!

— Вечно с тобой, Василий Иванович, какие-нибудь дурацкие истории! — сказала Литовцева.

Голос монтера, «очень похожий на голос Бога», напомнил мне другой случай, рассказанный Жоржем Питоевым — директором, режиссером, художником и отличным актером парижского театра, маленького, но хорошего. Это обычно для Парижа: там драматический театр чем меньше, тем лучше.

Бабушка Жоржа первой — в карете — приехала из Эривани в Париж. Роскошная армянка была самой интеллигентной дамой в своем отечестве. Ее называли во Франции мадам де Питоев-нуар. Значит, она даже для французов была слишком черна. По ее примеру и Жорж после смерти Веры Федоровны Комиссаржевской (он был ее возлюбленным)

отправляется в Париж. Это было за несколько лет до нашей революции. Неожиданно Франция стала его третьей родиной. Но и вторая — Россия, Россия Толстого и Чехова, — навечно осталась в его душе. Питоев мечтал, чтобы Франция полюбила, хорошо узнав, Россию чеховскую и толстовскую.

— Это ваша миссия, Жорж?

— Да! Моя миссия, — отвечал он серьезно, хотя и не любил, как человек со вкусом, высоких слов.

В Париж Питоев приехал с молодой женой. Довольно скоро Людмила, так ее звали, стала не только первой актрисой его театра, но и одной из первейших актрис во Франции.

У Питоевых была целая ватага детей: Светлана, Варвара, Людмила, Саша, Нюша и т. д. Отец и мать замучивали их русским языком, но родным языком для них все-таки стал французский. Это огорчало родителей.

В 1927 году на берегу Атлантического океана в Кабрстоне мы с Питоевым крепко дружили.

— Вы знакомы с Жоржем Питоевым? — спросил я Качаловых.

— А как же! — сказал Василий Иванович. — Милейшее существо. И Людмила прелесть!

— Так вот, послушайте рассказец: как-то Жорж ставил у себя в театре пьесу с участием ангелов. Нарисовал их и отправился к старому знаменитому бутафору. Рассмотрев эскизы, бутафор неожиданно ответил: «Нет, я этого делать не буду. Таких ангелов не бывает». Питоев спросил без улыбки: «А вы, месье, видели ангелов?» — «К сожалению, нет», — ответил мастер тоже без улыбки. И повторил: «Но таких ангелов не бывает». И вернул эскизы. По-моему, это очень поучительная история.

Качалов сказал:

— Вот и наши ермиловы так же идиотски понимают социалистический реализм, как этот бутафор ангелов, а я голос Саваофа.

Снег падал хлопьями, похожими на звезды с рождественской елки.

В комнате Качалова было хорошо. Я бы сказал фразой XIX века: был уют мыслящего человека. Много книг, записные книжки, рукописи — толстые и тонкие.

— Как же ты, Василий Иванович, живешь тут? — спросила супруга.

— Читаю, гуляю, репетирую.

— Репетируешь? Что же ты репетируешь? Новой роли-то для тебя и близко не видно! О тебе в театре и думать-то позабыли.

— «Не все коту масленица» репетируем.

— С чего бы? Кто ж твою «Масленицу» ставить собирается? Я что-то об этом ничего не слыхала. Да и с кем репетируешь-то?

— С Константином и Машенькой.

— Для чего ж? Для какого театра?.. Блюменталь-то в Малом, а ты как будто еще у нас. Еще не выгнали.

— Так. Для никакого театра. Просто так. Для себя.

Литовцева засмеялась мелким куриным смехом. Смеялась и смеялась, тряся грудью и обоими плечами, как цыганка, танцующая под гитару.

— Кхэ-кхэ... два старика и одна старуха забавляются. Как ученики театрального училища. Как молокососы!

— Что ж, — смущенно оправдывался Качалов. — Расти надо. Всем надо. И не молокососам тоже. И тебе бы, Нина, не помешало.

— Покорно благодарю! Уже выросла... в жену артиста, тронувшегося на старости лет.

— Вполне вероятно. Вполне, вполне.

И продолжал:

— Третьего дня мы с утра репетировали. Я с превеликим увлечением произнес свой монолог. «Здорово! — решил про

себя. — Здорово!» А у Константина презрительная гримаса на губах. «Что, — обращается он ко мне, — уже вызубрили? Назубок вызубрили? Прошу, Василий Иванович, сказать монолог своими словами. Своими! Собственными! А не чужими!» — «Для чего же, — спрашиваю, — своими? Мои-то ведь хуже будут, чем у Островского». Тут Константин даже побелел от святого возмущения. «Вы, — говорит, — ремесленник! Гнусный ремесленник!» Блюменталь так вся и сжалась в комочек.

— Еще бы!.. А ты небось только облизнулся?

— Совершенно верно, Ниночка, облизнулся. Ну а назавтра с утра опять отправляюсь к Станиславскому репетировать. Стучу в дверь. «Кто там?..» — спрашивает он. Отвечаю: «Это я, Константин Сергеевич. Я гнусный ремесленник». Ничего. Впустил. И даже хохотал во все горло.

В комнату принесли жидкий чай с лимоном.

Нина Николаевна задернула синие суконные гардины и зажгла свет.

Я задал серьезный вопрос:

— Скажи, Вася, а кто тебе больше всех помогал в работе?

Вопрос задал общий, но думал так: «Интересно — кто? Станиславский или Немирович-Данченко?»

Качалов потер подбородок и, подумав, ответил с той же серьезностью:

— Да вот, пожалуй, она, Нина!

И сразу, без паузы, спросил меня:

— Стихи-то новенькие у тебя имеются?

Литовцева грозно сверкнула на меня зрачками.

— Кое-что, Вася, имеется, — с невинным видом ответил я.

— Еще бы не иметься! Он же не в носу ковыряет. Вот когда, Василий Иванович, ты окончательно поправишься...

— Сядь, Нина, сядь. Не суетись.

— Да кто ж это суетится? Всегда что-нибудь не то скажешь! — И быстро-быстро заковыляла она из угла в угол.

— Если имеются, так чего молчишь? Выдавай, брат.

В это же мгновение я вскрикнул:

— Ой, не щиплись, Ниночка! Больно. У тебя же не пальцы, а щипчики для маникюра.

Она посмотрела на меня с ненавистью. А я обожал ее. Честное слово.

Качалов величественно улыбался.

— Так вот, друзья мои, я прочту вам всего-навсего семь стихотворений.

— Семь! — ужаснулась мученица своего несносного характера.

— Ну сыпь, брат, — сказал Качалов. — Сыпь. Читай.

И Качалов подпер мягкими ладонями гладко выбритые скулы, словно проутюженные горячим утюгом.

У Нины Николаевны навернулись на глаза слезы;

— Толя, родной, пожалей ты его, старик ведь, только что чуть не умер. Не утомляй ты его своими стихами. Опять температура поднимется, опять сляжет от твоих стихов-то. Я ведь, милый, знаю, какие ты пишешь.

— Помолчи, Нина, не шуми, — сказал Качалов.

— Кто ж это шумит? Только ты, Василий Иванович, один и шумишь. Голос-то как иерихонская труба.

Я объявил:

— «Разговор с Богом о сотворении мира».

— Это что же — поэма? И небось длинная?

— Нет, Ниночка, не поэма.

— Слава богу!

— Нина-а!.. — зарычал Качалов.

И воцарилась тишина.

Я прочел:

Послушайте, господин чудак,
Иже еси на небеси,

Ведь этот сотворили вы бардак?
Мерси!

— Все? — спросила наша беспокойная подруга.
— Все! — порадовал я ее.
— Следующее, Анатоль! — скомандовал стихолюб.

Где Кухня горя?..
Сверху, снизу иль откуда
Приносят мне дымящееся блюдо?

— Следующее!

Наплевать мне, что вы красавица.
Дело, друг мой, не только в роже.
В этот век говорят: «Он мне нравится».
А сказать: «Я люблю», — вы не можете.

— Следующее!
— «Судьба или злая хозяйка».
— Так-с.

«Эй, человек, это ты звучишь гордо?»
И в морду! в морду! в морду!

— Следующее!

Я в городе. А как в лесу.
И вечный страх в себе несу.
«Дружи!»
Какой же, к черту, смысл и толк?
Я думал: друг, а это волк.
«Люби!»
И вот хриплю средь ночи я:
В моих объятиях змея.

— Следующее!

— Васи-и-лий Иванович... — жалобно пролепетала преданнейшая и мучительнейшая из жен.

— Следующее!

— А может быть, Толя, хватит? И так всю душу вывернул. А я ведь здоровая, у меня воспаления в легких не было.

— Это будет последнее, Ниночка. В две строчки. Вроде как на бис.

— Спасибо тебе. Толя. Большое спасибо.

И я умру, по всей вероятности.
Чушь! В жизни бывают и покрупней неприятности.

Василий Иванович взял со стола вечное перо и записную книжку в темно-красном переплете:

— Диктуй, поэт.

И, записав шесть стихотворений, обнял меня:

— Спасибо, брат,

— А у тебя, Вася, есть что-нибудь новенькое?

— Вот, если желаешь — поэма Максимилиана Волошина.

— Этого только не хватало! Ведь она длиннющая!

— Помолчи, Нина.

— Очень, Вася, желаю, — сказал я. — Прочти, сделай милость.

— Ну тебя, бессердечный! Знала бы, не привозила.

— Нина-а-а!

Супруга даже перепугалась. До того это было громоподобно.

И Качалов стал читать из той же записной книжки «Дом поэта». Поэму о коктебельском доме Волошина, где во время Гражданской войны находили приют «и красный партизан, и белый офицер».

— Может, Василий Иванович, поставишь термометр? А? Поставь-ка. Поставь. На. Я стряхнула.

— Зачем же ставить-то? Ведь мне сегодня не скучно.

Тогда беспокойная наша подруга, расстегнув гипюровую кофточку, поставила термометр себе:

— Наверно, поднялась. И все ты, Анатолий, ты! Зверем был, зверем и остался. Хоть кол на голове теши.

А глаза ее уже светились добротой.

Шопеновский прелюд доносился из салона.

Я показал на толстую рукопись, что лежала на столе:

— Это чье произведение?

— Станиславского. Из новой книги. О работе с актером.

— Интересно?

— Да как тебе сказать... Азбука!

— Ну, пора! И, пожалуйста, Толя, больше ни о чем не спрашивай. Поднимайся-ка, поднимайся! Надо и честь знать.

Зима ушла, стряхнув снег со своих плеч.
При царе уже звонили бы великопостные колокола.

Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кроватке с пестрыми шнурами.

Комната была узкая, длинная, с двумя окнами в двух стенах.

Однажды меня осенило.

— Нюха, — воскликнул я, — а ведь мы можем превратить эту уродину в роскошную квартиру из двух клетушек.

— Гениальная идея! — немедленно согласилась спутница моей жизни.

Она, как и все интеллигентные женщины той эпохи, мечтала если уж не о квартире, то хотя бы о некоем ее подобии.

Как это ни удивительно, но ровно через неделю мы уже воздвигли фанерную стену с фанерной дверцей. Обе комнаты (назовем их так) были окрашены клеевой краской, потолки

оштукатурены, оконные рамы побелены. В спальной поместились ореховая тумба с трельяжиком и полуторный матрац, покрытый цветастым украинским ковром, а в столовой-кабинете — «боярские» толстоногие табуреты, скамья и стол. Все это из мореного дуба, кустарного олонецкого производства.

До сих пор я не могу понять, откуда у нас взялись деньги на такую потрясающую обстановку и на такой грандиозный ремонт. Ведь и сейчас, через тридцать восемь лет, спутница моей жизни, давным-давно ставшая заслуженной и орденоносной, с гордостью сообщает: «Вы знаете, я себе построила демисезонное пальто!»

Подруги и приятельницы, появляясь в нашей новой квартире, всплескивали руками:

— Ах!..

А мужчины баритонили и басили:

— Ну прямо кремлевские палаты шестнадцатого века!

— Ничего, Нюшка, не поделаешь, — сказал я. — Раз уж мы с тобой закатили себе такие боярские палаты, придется теперь и новоселье боярское закатывать.

— Это мысль!

— Значит, закатим?

— Закатим!

Сказано — сделано. Дня через три я уже говорил с Литовцевой по телефону.

— Итак, Ниночка, ждем.

— Спасибо, Толя. Явимся. Ровно в семь. Василий Иванович теперь ложится спать в десять. Профессора велели.

Я слегка ехидничаю:

— А если он занят в спектакле?

— Василий Иванович теперь два раза в месяц играет. Ролей-то нет. Не дают.

— Что ж, приходите в семь. Время детское. Самое подходящее для нашей компании. Ребеночек Оленька Пыжова тоже в семь явится.

— Очень приятно. Давно не виделись. Только вчера у нас до глубокой ночи проторчала. Всему дому спать не давала.

— Когда же выкатилась?

— Да разве она выкатится сама! Я ее, нахалку, выкатила. Половина двенадцатого.

— Вот беда! Так, может, ее не звать?

— Да как же ты ее, хулиганку, не позовешь? Сама придет. Носом почует новоселье. Зови уж, зови. Обязательно, Толя, позови.

— Слушаюсь.

В сердце у Литовцевой, в ее большом сердце, Ольга Пыжова прочно заняла третье место: на первом, конечно, был Василий Иванович, на втором — сын Дима, на третьем — она.

— И прими, Толя, во внимание, что Василий Иванович на строгой диете. Почти ничего не ест. Велели худеть.

— Ладно. Буду морить его голодом. И тебя заодно.

— Мори, мори. Благодарна тебе буду. Еще одно условие, самое решительное: чтоб водкой и не пахло.

— Что-то плохо тебя слышу, Ниночка. Повтори.

— Чтоб водкой в доме и не пахло.

— Опять ничего не понял.

— Да ты, мой друг, на ухо туговат стал.

— Вчера надуло.

— Кто тебя надул? Кто? Шершеневич?

— Нет, ветер.

Она сочувствовала:

— Ах ты Господи!

И с удручающим упорством повторила:

— Чтоб водкой в доме...

— Что? Как? Громче, Нина. Громче.

Она стала кричать вовсю, что есть духу.

— Не слышу, Ниночка, не слышу.

— Ах, ты не слышишь?.. Ну тогда и приглашай своих Таировых, а мы с Василием Ивановичем не придем.

Я прикрыл ладонью черную пасть телефонной трубки:

— Кошмар, Нюшка!.. Чтоб ни одной рюмки на столе. Чтоб водкой и не пахло.

Никритина глубоко вздохнула.

А из черного уха несется пронзительный вой и свист. Это Литовцева дула в трубку, решив, что телефон испортился.

— Ты меня слышишь, Толя? Слышишь?

— Увы! Слышу.

— Даешь слово?

— Вынужден. А пивка можно?

— Боже упаси! Никаких пив!

Голос у меня стал жалобным:

— Так у нас раки будут.

— Раки? Небось маленькие? Еще подавишься.

— Нет, довольно крупные.

— Будем запивать ваших раков лимонадом. Купи несколько бутылок. На нашу долю одну.

— Слушаюсь.

— Василию Ивановичу нельзя много пить, а то живот раздувается. Так, значит, ты мне даешь слово?

Отвечаю почти сквозь слезы:

— Дал, дал! Чтоб тебе пусто было!

Вспомнился Тургенев. В 1869 году какой-то французский журнальчик попросил Ивана Сергеевича ответить на несколько вопросов. Среди них был и такой:

«Ваше любимое кушанье и напитки?»

«Беф и шампанское», — бодро ответил наш знаменитый соотечественник.

Через одиннадцать лет журнальчик повторил свою анкету «Ваше любимое кушанье?».

«Все, что хорошо переваривается», — с ворчливой стариковской мудростью написал Тургенев.

В институтские годы я горько плакал, дочитывая «Отцы и дети». А теперь, признаюсь, этот коротенький стариковский ответ мне кажется несравненно более драматичным.

Надо сказать, что и другие ответы Ивана Сергеевича были прелестны:

«К какому пороку вы наиболее снисходительны?»

«Ко всем».

«Любимые вами качества у женщины?»

«Восемнадцатилетний возраст!»

Первой к нам явилась Пыжова — половина седьмого. Не переступив порога, начала шуметь:

— Черт знает, что такое! Вот гады — ни обед, ни ужин! Какой идиот это выдумал?

— Никритина.

— Что? Я?

— Ах, вредная Мартышка!.. Иди ко мне. Иди немедленно! Я тебя разорву на части!

И женщины нежно целуются. Потом Пыжова целуется и со мной. Актрисам это дозволено. А когда целуются актеры, они под ваши губы подставляют свою щеку. Меня это бесит. Теперь я нашел выход: тоже подставляю щеку. Потремся одна о другую, и все.

— Раздевайся, Ольга.

— При Нюшке?

— Я вам не помешаю. Мне надо раков варить.

— Подожди, вредная!

Пыжова сбрасывает мне на руки пальто.

— Раков-то, по слухам, заготовили четыре сотни?

— Одну.

— Маловато! Но каждый рак, говорят, в поларшина?

— Нет, в полтора.

— А ну-ка, милашка. — Она прищелкивает языком. — Пока наши старики не пожаловали, хлопнем по стопочке под рачка.

— А хлопнуть лимонаду, ангел мой, под рачка не желаешь?

— Гад, не кощунствуй!

— У нас в доме, Олечка, с нынешнего дня водкой и не пахнет.

— Так!

— Взгляни: на столе ни единой рюмочки.

— Где мое пальто?

— На вешалке.

Пыжова отправляется за ним, но по дороге по причине мне не понятной раздумывает уходить.

Я приветствую ее возвращение:

— Здравствуйте! Прошу к зеркалу. Вам, сударыня, необходимо попудриться.

— Неужели даже вспотела с горя?

Она хватает пуховку и, подув на нее, страстно пудрится:

— А вы слыхали, ребятки, какая в нашей семье трагедия?

— Понятия не имеем.

— В МХАТе Васеньку обидели. Смертельно!

— Да что ты?

— Сегодня на доске вывешено... о «Трех сестрах». Немирович снял Качалова с Вершинина. Играть будет Болдуман.

— Что?..

Зрачки у Никритиной расширяются от возмущения.

— Неслыханно!

— Обычное театральное идиотство, — говорю я.

Она продолжает кипеть:

— Терпеть не могу режиссеров! Особенно гениальных!

— Ух, парадоксик! — воскликнула Пыжова. — Дай я тебя за него чмокну! Нашего малоносого Оскара Уайльда.

— Да! Предпочитаю самых бездарных режиссеров. Эти хоть работать не мешают! Ролей не портят! И спектакли то-

же! Своими выкрутасами... Качалов, видите ли, им плох, а Болдуман хорош!

— Театр падает и падает, — произносит Пыжова с надгробной интонацией. — Что будет?

Я успокаиваю:

— Он, Олечка, третье тысячелетие падает. Уже в Древнем Риме трагика победил комедиант, комедианта — акробат и акробата — гладиатор. Будьте философами, мои милые актрисы, Болдуман все-таки не гладиатор. А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского и Мейерхольда, в этом я не сомневаюсь.

Часы бьют семь.

— Наша Ниночка, — говорит Пыжова, — у расписания чуть в обморок не грохнулась. Спасибо, Борис Ливанов локотком подпер.

— А потом что было?

— Побежала, прихрамывая, к Немировичу.

— Правильно! — гремит Никритина. — И выдала ему?

— Кинулась на него, как тигрица.

— Правильно!

— Борис у дверей в щелку подглядывал. Плечиками, говорит, трясет: «Сами, Владимир Иванович, сами объявите Качалову эту новость! А меня уж увольте от этого. Увольте! Я домой не пойду, пока вы ему не объявите. Так в театре и буду ночевать...»

В эту минуту у парадной двери раздаются наши четыре звонка.

— К нам!

— Ка-ча-ло-вы! — шепчет Никритина и в полном изнеможении садится на табуретку. — Иди, Толя. Встречай. А я не могу. Чего доброго, разревусь.

— Вот тебе и раки с лимонадом! — мычит Пыжова.

Иду. Повертываю ключ. Снимаю с двери цепочку.

— А Василию Ивановичу-то в Художественном театре в морду плюнули.

Этой фразой здоровается Литовцева. Такое приветствие не явилось для меня неожиданным. Наша подруга имела обыкновение брать быка за рога и говорить прямыми словами о том, что происходит в мире.

— Почему же в морду? Почему — плюнули? — спокойно возражает Качалов. — Всего-навсего хорошую роль у меня отобрали. И не по злобе это, Нина. А из художественных соображений. Театр-то у нас Художественный.

— Ах, Василий Иванович, вечно ты со своим прекраснодушием! Юродивеньким прямо стал. Блаженненьким! Только железных вериг на твоей старой шее и не хватает.

В этом злосчастном кругу продолжает вертеться наш разговор.

— Раки!.. Раки!.. Раки!..

Хозяйка выносит их на большом фаянсовом блюде. Дымящиеся, пунцовые, они прелестно пахнут лавровым листом и похожи на причудливые цветы абхазских полутропиков.

За Никритиной на расстоянии аршина вышагивает Пыжова, торжественно неся над головой лимонадные бутылки:

— Лимонадик!.. Лимонадик!.. Лимонадик!..

Разноцветные глаза ее сверкают злорадством:

— Холодненький!.. Сладенький!.. Сахариновый!..

И она издевательски ставит бутылки перед Качаловым. Он, как известно, никогда не был горячим сторонником сухого закона.

— Откупоривай, Вася. Откупоривай, родненький, свой любимый напиток.

Это ее месть. Лимонадная месть.

— Давай, Ольга, штопор.

— Извольте.

— Премного! — невозмутимо благодарит Качалов.

И умело откупоривает бутылку за бутылкой.

— С каким удовольствием, Васенька, ты их откупориваешь. Смотреть любо.

Гости и хозяева принимаются за раков.

Стопки то и дело наполняются шипящей водицей на сахарине.

Через самое короткое время Качалов говорит:

— Прошу прощения.

И выходит из-за стола.

— Ты это куда, Василий Иванович? — дрожащим голосом интересуется Литовцева.

— Прошу прощения, по надобности.

Качалов уходит.

Возвращается.

С аппетитом ест раков. Но... минут через десять опять поднимается со стула.

— Ты, Василий Иванович, что-то постарел. Больно уж часто бегаешь.

— Вероятно, Нина, это из-за лимонада. С непривычки, видишь ли.

Супруга беспокойно ерзает на стуле:

— Уж лучше б нарзану купили.

— А еще лучше бы, Ниночка...

Литовцева перебивает:

— Ваших советов, Василий Иванович, не спрашивают.

— Молчу.

— Ты же сама, Ниночка, распорядилась, — оправдывается огорченная хозяйка.

— Откуда же я знала, что он так разбегается от лимонада.

Пыжова ворчит:

— Проклятые раки! Работы с ними не оберешься! Пропади они пропадом!.. А ну-ка, хозяюшка, дай мне еще рачка.

На ее тарелке целая гора красных панцирей, разодранных клешней, выпотрошенных животов и длинных морд с чер-

ными выкатившимися глазами, похожими на крупную дробь.

Качалов опять величественно удаляется.

— Третий раз за какие-нибудь полчаса! — презрительно фыркает супруга.

— Ниночка, не волнуйся, — успокаивает Пыжова. — Это полезно.

— Просто-напросто старческое недержание. Больше, Василий Иванович, тебе не дам ни глотка.

Она говорит ему и «вы» и «ты». По настроению. А сын Дима — называет отца «Вася». Это тепло, это дружески. С Василием Ивановичем легко и сыну дружить.

Вслед за Качаловым робко выхожу и я.

— И ты туда же! — еще презрительней фыркает Литовцева.

— Оля говорит, что это полезно.

— А почему мы не бегаем? Выпили-то лимонаду не меньше вашего!

— У вас, Ниночка, все еще впереди.

А в коридоре моим глазам представляется зрелище, достойное богов: Василий Иванович, подойдя на цыпочках к вешалке, вынимает из бокового кармана демисезонного пальто плоскую бутылку сорокаградусной старки и прикладывается к ней.

— Вася, — шепчу я просительно, — угости.

— А-а-а! Добро пожаловать! Глотни, мой друг, глотни. У меня в левом кармане вторая имеется. Да и Мартышону своему шепни на ушко. А уж Ольга пусть лимонад пьет. Ее проучить надо. За бессердечие.

Раки съедены.

Пыжова, облизываясь, бранится:

— Вот звери! Все десны о них расцарапала! И язык в кровавых ранах! А еще, Нюшка, нет ли рачка?

— Сейчас рябчиков принесу.

— Что? Рябчиков? Еще до седьмого пота работать? Тоже... хозяева... на наши головы! А брусничное варенье для рябчиков найдется?

— Найдется! — гордо отвечает хозяйка.

Это ее третий «прием» в жизни.

— Странно... в таком доме и вдруг нашлось!

— Знаете ли, друзья мои, я собираюсь уходить из Художественного театра, — говорит Качалов, обсасывая ножку рябчика.

— Куда ж это ты уйдешь, Василий Иванович? Кто тебя возьмет? Не смеши! — трясет плечиками Литовцева.

— Да вот... на эстраду уйду.

— Кхэ-кхэ, Качалов — эстрадник! Чудная картина!

— Н-да, Нина, эстрадник. По крайней мере с чем хочу, с тем и выступаю. И отбирать у меня режиссер ничего не станет. Им ведь, Нина, ты будешь. Для эстрады-то. И авторы у меня найдутся неплохие: Толстой, Достоевский, Пушкин, Шекспир, Байрон, — и ролей ни у кого не просить. Что хочу, то беру. Вот и Ричарда, вероятно, сыграю. Ведь мечты-то о нем второе десятилетие.

Пыжова спрашивает:

— Ты это серьезно, Вася, на эстраду собрался?

— Очень. А ты возражаешь?

— Да.

— Почему?

— Потому, что ни Качалов не может уйти из Художественного театра, ни Художественный театр от Качалова. История вас связала.

— Вздор! Историю делают сами люди.

Нужды нет говорить, что сразу же после первого общественного просмотра «Трех сестер» вся нелепость замены Качалова Болдуманом стала явной и бесспорной.

Качалов усердно посещал генеральные репетиции, заходил после каждого действия в уборную Болдумана и давал ему советы — умные, тонкие и дружелюбные.

На другой день Пыжова и Никритина полувозлежали на нашей неперсидской тахте. Я сидел на подоконнике, заложив ногу на ногу.

Они болтали о женщинах. О Дункан, Об Алисе Коонен, о Зинаиде Райх. Прислушиваясь одним ухом, я подумал: «Удивительно! Они еще ни разу...» И в то же мгновение Пыжова спросила:

— А сколько лет Коонен?

Я обрадовался: «Вот теперь все в порядке — самый волнующий вопрос задан!»

Никритина вздохнула:

— Не знаю, право. Но, несомненно, я скоро догоню ее. Алисе, видишь ли, с каждым годом делается все меньше и меньше, а мне, как идиотке, прибавляется. Это кошмар какой-то!

— А сколько лет Изадоре Дункан? — спросила меня Пыжова.

— Этого, Оля, не знает даже Британская энциклопедия, которая знает все.

Пыжова уверенно сказала:

— Самое глупое устраивать тайну из своего возраста. Надо ляпать начистоту! Не убавляя! Тогда и публика прибавлять не будет. Она не очень-то добрая, эта публика. Морщинки актрис в бинокль подсчитывает.

— К тому же, — добавил я, — слава здорово старит. Вот хохлушки из Полтавы будут говорить: «Эта Никритина при Февральской революции уже была знаменитостью!»

— Ужас!.. А мне в Полтаве шестнадцать лет было!

— Семнадцать, Нюшенька.

— Отстань! Это безразлично,

— Моя теща, — продолжал я, — к счастью, не актриса. А попробуйте узнайте у нее год рождения!

— У у! Мама сразу ответит: «Зачем вам это надо? Вы, что ли, хотите из меня борщ варить?»

— Вот сумасшедшая старушка! Прости, пожалуйста, Нюша, — сказала Пыжова.

Я очистил для женщин по мандарину и, угостив их, спросил:

— А сколько тебе, Оля?

Пыжова побледнела.

— Ты в каком году родилась, голубка?

— Вот в каком! — прошипела Пыжова.

И, сверкнув через очки разноцветными глазами, показала мне крупную дулю.

— Ну и хам же у тебя муж, Никришка!

И, прижавшись щекой к ее щеке, Пыжова сказала:

— Ты, Нюшка, молодая женщина, а я... — И поправила очки на носу. Она еще не привыкла к ним. — А я «еще молодая женщина».

— Это очень тонко сказано, Оля!

— Запиши. Пригодится для будущих мемуаров.

— Для этого, Оля, у меня существует голова. Записную книжку потерять можно.

— Голову тоже.

— Сколько лет Василию Ивановичу? — спросила Никритина.

— Наш Васенька собирается Чацкого играть. Вот и считай. Чацкому-то сколько? Столько будет и Качалову. Эти проклятые мужчины вечно молоды. Семидесятилетние женятся на двадцатилетних, и никто не хихикает. А когда прелестная Дункан влюбилась в вашего Сережу... Э!.. И почему, Никриша, мы с тобой не мужчины? Вот бы распушились!

— Бодливой корове, Ольга, Бог рог не дает.

Когда Пыжова ушла, я сказал:

— Ольга очень быстро стареет.

— Ты находишь?

— Быстро, как газета.

— Это потому так кажется, что она стала носить очки.

— Может быть.

— Хотя они к ней идут. Правда, Длинный?

— Ты думаешь, теперь она будет стареть помедленней?

— Надеюсь.

— Пусть бы старела, как толстый журнал. Хотя бы, как толстый журнал. Иначе уж очень грустно.

— А я?..

— Ты, Нюха, останешься вечно молодой. Как мои стихи.

— Хвастун!

— Разумеется.

Есенин вернулся из-за границы не Есениным. Тяжелые мрачные страницы придется написать об этом. Какой-то неразрываемый мрак туго запеленал его больное сознание. И, может быть, единственной светлой щелочкой в этих пеленах был шумный житель фибрового чемодана. При первом же знакомстве с нашим парнем Есенин на четверть часа совершенно преобразился: из глаз вылилась муть, и порозовел церковный воск его очень худого лица.

— Толя, Мартышон, я крестный вашего пострела.

— Разумеется, Сережа.

— А знаете, ребята, как я буду его крестить?

— Нет.

— В шампанском! — и, как некогда, сверкнул лукавой улыбкой.

— А не напьется ли наш великан на радостях?

— Не остри. Разговор деловой и важный.

— Само собой.

— Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются. Согласны?

— Я, Сережа, согласна, — заявила непутевая мамаша.

— Возражений не имеется. Для купанья шампанское даже полезно. Так считали красотки, которых я купал.

— Вот хвастун!

— Стало быть, заметано? По рукам?

И у Есенина, как встарь, по-мальчишески заискрились глаза.

Мне припомнилась его великолепная строчка:

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Но глаза у Сережи были как из нежного голубого ситца, выгоревшего на солнце.

— Назначаю крещение на четверток.

— Принято единогласно.

В эту минуту нежданно-нагадано раздался голосок — тихий, но несокрушимый:

— Этого безобразия я не допущу.

Есенин промычал:

— Гром из ясного неба!

Голосок принадлежал моей теще — маленькой старушке с грустными глазами, всегда чуть-чуть испуганными. Кто напугал их? Что?.. Вероятно, жизнь. Она ведь такая: ох как напугать может!

— Ребеночка простудить... малюсочку... Да ведь это... это...

Тихий, но несокрушимый голосок оборвался.

Есенин всячески пытался переубедить старушку, говоря, что он согреет шампанское на примусе, и оно будет тепленьким, как вода для корыта, в котором бабка купает своего внука.

Тихий голосок стоял на своем:

— Умру, но не допущу!

Так, не родившись, погиб цикл есенинских стихов, думается мне, бессмертных.

— Веник в бане всем господин, — буркнул неудавшийся крестный.

И ушел нахохлившийся, разогорченный.

Это была его неудача — явная, неприкрытая. А он не очень-то умел претерпеть, смириться, признать себя побежденным и склонить строптивую голову.

Есенин пленился не Изадорой Дункан, а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней — пожилой, отяжелевшей, но еще красивой женщине с искусно окрашенными волосами — в темно-темно-красный цвет.

Ему было лестно ходить с этой мировой славой под руку вдоль московских улиц, появляться в «Кафе поэтов», в концертах, на театральных премьерах, на вернисажах и слышать за своей спиной многоголосый шепот, в котором сплетались их имена: «Дункан — Есенин... Есенин — Дункан».

Но вот потухала люстра в «Стойле Пегаса» или кончался балет «Лебединое озеро», и он сажал свою мировую славу на извозчика, на толстозадого московского ваньку той эпохи. Они ехали с полутемной Тверской или с темной Большой Дмитровки к себе на Пречистенку в балашовский особняк.

Это не близкий свет, если всю дорогу молчать. А они молчали.

Сочувствуя им, я повторял любимое есенинское словцо:

— Вот горе-гореваньице!

— Ты подумай, Толя, — вздохнула Никритина, — даже собаке бывает трудно молчать. Даже кошке. А ведь Изадора женщина!

Я нахмурил брови:

— Не воображай, пожалуйста, что нам, мужчинам, это легко. Глупейший предрассудок! Разница только в том, что женщина болтает, а мужчина разговаривает.

— Ты просто нахал, Анатолий! У Изадоры ум тонкий, изящный и смелый. А у Сережи...

— А у Сережи... — раздраженно перебил я, — умный ум. Хотя и мужицкий.

— Это верно, — согласилась она, — ум у него упрямый, деловой и поэтический! Такое любопытное сочетание.

— Поэтический, поэтический, дорогая моя.

Никритина кивнула:

— Это так. Главное — поэтический.

Мне стало совестно, что я раздраженно сказал ей «дорогая моя».

— Да, Нюшка, сущая беда, что Изадора говорит на всех европейских языках, кроме русского. А Есенин ни на каких других, только по-русски.

На этом мы и пришли к согласию.

Садимся, бывало, ужинать. Изадора выпивает большую граненую рюмку ледяной водки и закусывает килькой. Потом выпивает вторую рюмку и с аппетитом заедает холодной бараниной, старательно прожевывая большие толстые куски. Неглубокие морщинки ее лица, все еще красивого, сжимаются и разжимаются, как мехи деревенской тальянки.

— «Разлука ты, разлука...» — напевает Есенин, глядя с бешеной ненавистью на женщину, запунцовевшую от водки и старательно жующую, может быть, не своими зубами.

Так ему мерещится. А зубы у Изадоры были свои собственные и красавец к красавцу.

В столовой никого нет, кроме нас. Для меня, для Никритиной, для Ирмы Дункан, приемной дочери Изадоры, и для ее мужа Шнейдера Изадора Дункан — свой человек, а не мировая слава, в которую, как сказано, влюблен Есенин.

Что же касается пятидесятилетней примерно красавицы с крашеными волосами и по-античному жирноватой спиной, так с ней, с этой постаревшей модернизированной Венерой Милосской (очень похожа), Есенину было противно есть даже «пищу богов», как он называл холодную баранину с горчицей и солью.

Недаром и частушку сложил:

Не хочу баранины,
Потому что раненый,
Прямо в сердце раненный
Хозяйкою баранины!

Есенин был очень подозрителен и недоверчив. Бесцеремонно впиваясь взглядом в лицо собеседника, он всегда пытался прочесть тайные его замыслы, считая, что у каждого они имеются «беспременно». Это его слово.

— Смекай, Мартышон, — она же, чертова дочь, иностранка! Ей стихи мои — тарабарщина. Не разубеждай, не разубеждай! Я по глазам ее вижу, — говорил он, сжимая кулаки. — Слов-то русских плясунья не понимает!

А самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомое одеяло из гагачьего пуха он мог лечь только во хмелю — мутном и тяжелом.

Его обычная фраза: «Пей со мною, паршивая сука!» — так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение.

Платон резко отделял любимого от любящего.

Есенин был любимым. Изадора любящей. Есенин, как актер, подставлял щеку, а она целовала.

У жизни тяжелые кулаки. Это надо знать и твердо помнить. А мы, как простачки-дурачки, не только отчаянно воем, но и удивляемся, когда она сворачивает нам челюсть.

Не похоже ли это удивление на наивный разговор домашних хозяек, которые, изо дня в день убираясь в квартире,

неизменно восклицают: «Откуда только проклятая пыль берется? Ведь только вчера вытирала!» И мы в том же роде философски руками разводим: «Как это, почему у меня челюсть свернута? Ведь еще вчера была совершенно целехонька!»

Эх, жизнь! Жизнь! Чего же это ты дерешься, как хулиган — злой и пьяный?

— Бери-ка, Сережа, тальянку.

Он берет, опускает восковые веки и поет тихо, грустно, с милой хрипотцой:

Ты меня не любишь, не жалеешь.
Разве я немного не красив?..

За окном уже поднималась утренняя заря — желтая, как этикетка на спичечной коробке.

«Пей со мною, паршивая сука!..»

А ведь мы, товарищи, в наши розовые годы всерьез надеялись, что только и будем получать от жизни сахарные поцелуи.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

Как-то Айседора Дункан танцевала в бывшем Зиминском театре. Все было переполнено: партер, ложи, балкон, ярусы.

Из деревянной пропасти, в которую ввергнуты скрипки, виолончели, флейты и громадные барабаны, взлетела, как птица, дирижерская палочка.

Взлетела и замерла.

Заговорил Чайковский «Славянским маршем».

Мне всегда думалось, что о живописи можно рассказать не словами, а только самой живописью, то есть цветом. О скульптуре — мрамором, деревом, воском, глиной. А о музы-

ке — только самой музыкой. Какой вздор! Оказывается, что «Славянский марш», божественный и человеческий — эти звуки величия, могущества, гордости и страсти, — могут сыграть не только скрипки, виолончели, флейты, литавры, барабаны, но и женский торс, шея, волосы, голова, руки и ноги. Даже с подозрительными ямочками возле колен и локтей. Могут сыграть и отяжелевшие груди, и жирноватый живот, и глаза в тонких стрелках морщин, и немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице. Да, они могут великолепно сыграть, если принадлежат великой лицедейке. А Дункан была великая танцующая лицедейка. Я не люблю слово «гениальный», «гениальная», но Константин Сергеевич Станиславский, не слишком щедрый на такие эпитеты, иначе не называл ее.

Отгремел зал.

Вспыхнули люстры.

Мы сидели с Есениным в ложе бенуара, недалеко от сцены. Слева, в соседней ложе, были — актриса, актер и нэпман. Нам не пришлось особенно навострить уши, чтобы слышать их болтовню. Члены профессионального союза работников искусств имеют обыкновение говорить значительно громче, чем простые смертные. Они жаждут, чтобы посторонние люди, проходящие мимо или сидящие поблизости, обращали на них внимание и обязательно слышали то, что они болтают. Хотя в этом нет никакой необходимости, так как не слишком часто они бывают остроумны, а еще реже — умны.

— Знаете ли, друзья мои, — сказал молодой человек с подбритыми бровями, — а ведь это довольно неэстетическое зрелище: груди болтаются, живот волнуется. Ох, пора старушенции кончать это занятие.

— Дуся, ты абсолютно прав! — поддержал его трехподбородковый нэпман с вылупленными глазами. — Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в Сандуновских банях кувыркаться.

Мне было страшно взглянуть на Есенина.

— Ха-ха-ха!.. — захохотал актер, разумеется, слишком громко и малоестественно.

Настроение у нас стало «серое с желтыми пятнышками», как говорил один хороший писатель прошлого века.

— А сколько ей лет, Жоржик? — промурлыкало хрупкое существо с глазами, как дым от папиросы.

— Черт ее знает! Говорят, шестьдесят четыре, — по привычке соврал актер.

— Она еще при Александре Третьем в Михайловском театре подвизалась.

— Я так и предполагала, — отозвалась красавица, жующая шоколад «Золотой ярлык».

Есенин заскрипел челюстями.

— Наши мегеры в ее возрасте с клюками ходят, и на каждом пальце обеих ног у них по мозольному кольцу, — снова промурлыкало прекрасное существо, которую парикмахер сделал златокудрой. — Клянусь истинным Богом!

— Твоего Бога, Кисинька, большевики ликвидировали, как класс! — сострил нэпман.

Златокудрая уже съела и крымское яблочко, и вафлю с кремом, и плитку шоколада «Миньон», а теперь, к моему ужасу, с жадностью поглядывала на бутерброд с полтавской колбасой, лежащий в бумажной салфетке на барьере ложи. Но приходить в ужас не стоило, что я понял впоследствии. Это был нормальный аппетит классического кордебалета.

— А знаешь. Киса, как называют Дункан в «Стойле Пегаса»? — спросил нэпман.

— Как?

— Дунька-Коммунистка.

— Блеск! — захохотал актер.

— Чертовски остроумно! — одобрило эфемерное существо. — Дай мне, Маркушенька, апельсинчик. — И, дожевав

полтавскую колбасу, она стала нервно сдирать с апельсина пупырчатую кожуру.

— Вот компания кретинов! — не выдержав, сказал я так же громко, как говорил актер.

К нашему огорчению, это только осчастливило нэпмана, сразу узнавшего меня.

— Товарищи... Товарищи!.. — зашептал он. — Знаменитый имажинист Анатолий Мариенгоф!

— Вижу, Маркушенька.

— Вы слышали, вы слышали, он обозвал нас кретинами!.. Компанией кретинов!

— Слышал, — с меньшим восторгом ответил актер, по-мефистофельски вскинув подбритую бровь.

Есенин сидел в глубине ложи, прячась от зрителей.

— Пойдем, Толя, — процедил он побелевшими губами, почти не разжимая челюстей.

Я поднялся с кресла.

Есенин натянул замшевую перчатку на трясущуюся руку.

— Есенин!.. Есенин!.. — зашептали вслед приятные соседи.

— Муж!.. Ха-ха! Муж старухи!

Часы на Театральной площади показывали десять.

— Довезу! — предложил лихач с надменным лицом гвардейца.

— На Пречистенку.

Ветер сорвал цилиндр с моей головы.

Гвардеец со своих высоких извозчичьих козел только покосился на него ироническим глазом.

Красивая молодая дама в норковой шубке, догнав цилиндр, подняла и протянула мне.

— Премного благодарен...

Как-то не выговорилось: «Премного благодарен, гражданка!» Уж очень она была тоненькая даже в своей шубке до колен. Была легкая, как папиросная бумага. И я сказал вместо «гражданка»:

— Премного благодарю, сударыня!

— Пожалуйста, сударь.

И с милой полуулыбкой добавила:

— Это смешно, товарищ Мариенгоф, что в наше время, в нашей Москве вы носите цилиндр.

Ее зубы сверкали, как поддельный жемчуг. Мое поколение еще видело настоящий.

— Вы хотите сказать: «Это глупо»?

— Угадали.

— А Шекспир носил серьгу в ухе, — не соврал я. — Это, пожалуй, еще глупей.

— Шекспир жил в шестнадцатом веке.

— Однако в этом шестнадцатом веке он писал немногим хуже, чем пишем мы в своем двадцатом.

Она прелестно рассмеялась.

— Я хотела бы знать: вы действительно нахал или только притворяетесь? Помоему, притворяетесь.

— Нет. Действительно, — сказал я, хотя не был в этом уверен.

Не влюбился ли я в нее?

К сожалению, гвардейцу на козлах надоело наше «козери», и он тронул вожжей коня. Мы уже неслись по Охотному, а я все еще благодарил ее, помахивая рукой.

Пересекли Тверскую.

Моховая, Румянцевка...

Из-за купола храма Христа показалось бронзовое ухо луны.

Я пробормотал:

— Неужели я больше никогда в жизни не встречу ее?

— К счастью! — ответил Есенин.

— Как идиотски устроена жизнь!

— Под этим я подписываюсь, — сказал Есенин.

Приключение, оборвавшееся после первого диалога, я продолжил в стихах:

Вы голову несли, как вымпел.
Загадочна,
Как незнакомое, чуть освещенное окно.
А дальше?
Милая, ну кто бы вас не выпил,
Как за обедом легкое вино?

Пречистенка.

Две маленькие неяркие звезды из-за трубы балашовского особняка взглянули на меня глазами человека, заболевшего желтухой.

— Приехали, Сережа, — тихо сказал я, беря его за руку.

Всю остальную часть ночи он пил свой есенинский коктейль — водку с пивом. Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его ершом и пили чайными стаканами.

А женщину в норковой шубке я встретил через двадцать семь лет в коридоре мягкого вагона «Москва — Сочи». Она уже была почти старухой. Старухой с широким задом и полными руками в синих жилках, как на мраморных пепельницах. Но улыбалась все так же мило, стараясь не обнажать зубы, которые больше были похожи на пенковую прокуренную трубку, чем на поддельный жемчуг. Но улыбка, выражение глаз сохраняются несколько дольше, чем кость и кожа вокруг век.

— Я вас узнала с первого взгляда, — сказала женщина, — а вы меня... с третьего. Правда?

— Правда, — ответил я, так и не научившись быть очень приятным.

У каждого человека есть своя маска. Ее не так-то легко сбросить.

На другой день в балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин.

— Дай, Серега, взаймы пять червонцев, — сказал он Есенину. — В субботу отдам. Будь я проклят.

— Нет ни алтына, душа моя.

И Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол:

— Все, что найдешь, твое. Без отдачи. Богатей!

Он имел обыкновение рассовывать деньги по карманам. Но на этот раз во всех было пусто.

Орешин взял бумажник и стал деловито обшаривать его.

— Вот так камуфлетина!

Мужиковствующие поэты щеголяли подобными словечками.

— О тебе, Петр, в Библии сказано: «В шее у него жилы железные, а лоб его медный».

— Признавайся, Серега, а в карманах? В карманах есть?

И взглянул на Есенина взглядом испытующим и завистливым. Ершистые брови зло двигались.

— Ищи, — сказал Есенин, поднимая вверх руки. — Ищи!

Орешин дотошно искал, выворачивая карман за карманом.

— Где научился обшаривать-то? В угрозыске, что ли?

— И впрямь ни шпинта. В решете чудо!

— А штиблеты скидывать? — играя в покорность, спросил Есенин. — Может, там найдешь рубликов триста? Под пяткою у меня?

— Дурак! — хмуро выругался Орешин. — Какого же черта на богатой старухе женился?

Есенин стал белым, как носовой платок. Но не ударил Орешина, а только сказал:

— Ах, Петро, Петро!.. Не о тебе ли с твоими друзьями... по вшивому Парнасу... говорено в древности: «Мы благословляем вашу наивность, но не завидуем вашей глупости».

Есенин и Дункан жили в одной комнате, а как будто в разных: он в своей, она — в своей. Казалось, что они перекликаются через толстую каменную стену, а не разговаривают.

— «Эх, гори да догорай моя лучина», — пел Есенин со своей пленительной хрипотцой.

Его жизнь сгорала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папироса. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого.

Мужиковствующие поэты, актеры с подбритыми бровями, нэпманы из Столешникова переулка, присосавшиеся к богеме, и прочие и присные — все это были только цветочки. А уж ягоды, полные горечи и отравы, созрели за границей — в Европе и в Америке.

Перед отъездом за границу Дункан расписалась с Есениным в загсе.

— Свадьба! Свадьба!.. — веселилась она. — Пишите нам поздравления! Принимаем подарки: тарелки, кастрюли и сковородки. Первый раз в жизни у Изадоры законный муж!

— А Зингер? — спросил я.

Это тот самый — «Швейные машины». Крез нашей эпохи. От него были у Дункан дети, погибшие в Париже при автомобильной катастрофе.

— Зингер?.. Нет! — решительно тряхнула она темнокрасными волосами до плеч, как у декадентских поэтов и художников.

— А Гордон Крэг?

— Нет!

— А Д'Аннунцио?

— Нет! — Нет!.. Нет!.. Нет!.. Сережа первый законный муж Изадоры. Теперь Изадора — русская толстая жена! — отвечала она по-французски, прелестно картавя.

Илья Ильич, административное лицо при московской школе Айседоры Дункан, показал мне журнал, полученный из Нью-Йорка.

— А вот и наши! — сказал в нос Шнейдер.

У него был хронический насморк.

На цветной фотографии я увидел смеющуюся Изадору и несмеющегося Есенина.

Она снялась в ярко-синей широкополой шляпе с белыми перьями, в ярко-синей пелерине, подбитой белым шелком; в руке был ярко-синий зонтик, окаймленный пеной белых кружев, и т.д. Все ярко-синее с белым.

А он — от шляпы до подметок в светло-сером. Словно отлит из серебра. Легкий, ладный.

— Как денди лондонский одет! — прогнусавил Шнейдер. — Вот вам и рязанский мужичок!

Кстати, мужичок-то Есенин был больше по слову. Дед его, заменивший в попечении отца, гонял по Оке и Волге собственные баржи, груженные хлебным товаром.

Под роскошным цветным клише стояла подпись: «Изадора Дункан со своим молодым мужем».

Я ударил кулаком по журналу:

— Мерзавцы!

Шнейдер улыбался своей администраторской улыбкой — одновременно приторной и наглой.

— Американцы без церемоний!

Он протянул мне второй журнал. Подпись: «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом».

— Его фамилия их не интересует, — счел своим долгом пояснить Шнейдер. — Муж Айседоры Дункан! И этим все сказано.

В далеком детстве жирная коричневая пенка в молоке вызывала у меня физическое отвращение. До судорог в горле! Теперь такое отвращение вызывал этот администратор.

— Продолжение следует, Анатолий Борисович!

Передо мной — газеты, журналы. Целая кипа. Есенин в них существовал только как «молодой супруг». Ужас!

А Шнейдер гнусавя иронизировал:

— Какая честь для нашего Сережи!

«В конце концов, я, кажется, дам по физиономии этому хроническому насморку».

— Наслаждайтесь, Анатолий Борисович. Через два часа я должен вернуть в Наркомпрос всю американскую литературу.

— Сами наслаждайтесь, черт вас дери!

— Это весьма похоже на хамство. Не правда ли?

— Безусловно.

Отвернувшись от Шнейдера, я вижу через немалое пространство — есенинские глаза в кровяных ниточках, вижу его щеки и лоб, словно обтянутые полотном. Слышу, как скрипят его челюсти.

А у Шнейдера слова, как блохи, прыгали с языка:

— Сергей Александрович только и мечтал «греметь на оба полушария, как лорд Байрон». Помните? Вот вам и лорд Байрон!

Шнейдер поторопился жениться на некрасивой Ирме Дункан, приемной дочери Изадоры, чтобы разъезжать по Европе и обеим Америкам. Но... не вышло. И вот, сидя на Пречистенке в опустевшем особняке, он захлебывался желчью.

— Один мой приятель, — не умолкал Шнейдер, — в схожих обстоятельствах говорил о собственной персоне: «Женился по расчету, а вышло — по любви». Ха!

Есенин не слишком был скромен, когда писал, говорил и думал о себе. Но где ему в этом до Гоголя!

«*Меня теперь нужно беречь и лелеять,* — писал Николай Васильевич из Италии. — *Пусть за мной приедут* (это из Москвы в Рим! — *А. М.). Михаил Семенович и Константин Сергеевич* (Щепкин и Аксаков. — *А. М.). Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают не бесполезное дело! Они привезут с собой глиняную вазу... В этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь*».

Тут нет и тени улыбки. Ни самой микроскопической дозы иронии. Нет, богоизбранники не шутят, фанатики не иронизируют.

«Ах ты, о боже мой! — сетовал я. — Почему ж у Есенина не было хоть малой крохи от гоголевского: “Меня нужно беречь”?»

Много позже Изадора Дункан, оставленная Есениным, рассказывала мне со слезами на глазах:

— О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе — приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума. Везде разговор. Тут, там называют его имя. Говорят, хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме «Есенин». А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. Это при его-то гордости! При его самолюбии! Он делался злой, как демон. Его даже стали называть: Белый Демон... Банкет. Нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы как железные клещи: «Изадора, домой!» Я никогда не противоречила. Мы немедленно уезжали. Ни с того ни с сего. А как только мы входили в свой номер — я еще в шляпе, в манто, — он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить: «Правду, сука!.. Правду! Что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь?» Я хриплю. Уже хриплю: «Хорошо говорили! Хорошо! Очень хорошо». Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!

Айседора Дункан любила Есенина большой любовью большой женщины.

Жизнь была к ней щедра и немилосердна. Все дала и все отняла: славу, богатство, любимого человека, детей. Детей, которых она обожала.

Есенин уехал с Пречистенки надломленным, а вернулся из своего свадебного путешествия по Европе и обеим Америкам безнадежно сломанным.

— Турне! Турне!.. Будь оно проклято, это ее турне! — говорил он, проталкивая чернильным карандашом тугую пробку вовнутрь бутылки мартелевского коньяка.

— За здоровье Киренка!

— Хватит, Сережа. Он и так здоров.

— Послушай, как чудесно написал о жизни Иван Сергеевич Тургенев,

И, положив руку мне на колено, он с душевной хрипотцой в голосе медленно читал следующие строчки из какого-то тургеневского письма: «Нужно спокойно принимать ее немногие дары, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут». Хорошо, Толя?

— Очень.

И мы оба молчали. Нам всегда было нетрудно и помолчать, потому что оба знали, о чем молчим.

Когда-то, как я упоминал, мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре кряду нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги: его — мои, мои — его. Проще говоря, и те, и другие — наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали их друг другу. Мы всегда, повторяю, знали — кто из нас, о чем молчит.

К слову: в 1955 году редакторы — литературные невежды вроде Чагина — вычеркивали из книг Есенина его посвящения мне. Сегодняшние пижоны и стиляги в таких случаях говорят: «Культурненько!»

«Обнимаю вас дружески: это значит гораздо больше, нежели братски». Так Александр Иванович Герцен заключил одно из своих писем.

Повторяю, до чего же мне это понятно и близко! До чего же я всем своим существом за это избирательное родство мыслящих русских людей.

— Да, «и они далеко не уйдут», — задумчиво повторил Есенин. — А ты говоришь: купаться!

— Что?

— Да нет, это я так.

Заломив руки, он стал потягиваться. Так потягиваются и собака и кошка, когда им невмоготу от душевной тоски.

— Знаешь, Толя, сколько народу шло за гробом Стендаля? Четверо!.. Александр Иванович Тургенев, Мериме и еще двое неизвестных.

Я невольно подумал: «До чего же Есенин литературный человек!» По большому хорошему счету — литературный. А невежды продолжали считать его деревенским пастушком, играющим на дулейке.

Взяв с кровати светло-серую шляпу в пятнах от вина, он сказал:

— Моцарта похоронили в общей могиле. В могиле для бродяг.

И стал легонько насвистывать:

Эх, яблочко,
Куды котишься...

— Жизнь, жизнь... жестяночка ты моя... перегнутая, переломатая.

И промял ямку в шляпе.

— Подожди, Сережа! Куда ты?

— Прощай, друже. Целуй в нос своего пострела.

Эх, яблочко...

Он забыл на столе свои телеграммы:

Ялта гостиница Россия Айседоре Дункан
Я люблю другую женат и счастлив

Есенин

И черновик этой телеграммы:

Я говорил еще в Париже что в России я уйду жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же

Есенин

И еще вспомнилось: два наших дворника-близнеца, пыхтя, вносят в комнату громадный американский чемодан, перехваченный, как бочка, толстыми металлическими обручами.

Вслед, пошатываясь, входит Есенин. Его глаза в сухом кошачьем блеске. Лицо пористое и похоже на мартовский снег, что лежит на крышах.

— Вот, Толя, — кивает он на чемодан, — к тебе привез. От воров.

И скользящим подозрительным взглядом окидывает комнату, не доверяя углам, где и собачонке-то не утаиться.

— От каких, Сережа, воров? Кто ж это? Где они?

— Кругом воры! Кругом!

Дворники-близнецы, почесывая бороденки, согласно гнут шеи:

— Истинное слово, Сергей Александрович: разбойник на разбойнике сидит.

— Раздевайся, Сережа. Давай шубу.

— Сюда! Сюда, братцы, коф-фер! К этой стенке.

Дворники двигают чемодан, кряхтеньем увеличивая его тяжесть.

— Хорош коф-фер! Негры в Америке прямо с третьего этажа его на асфальт скидывают! И ни хрена! Целехонек.

Дворники одобрительно похлопывают чемодан, как добрую лошадь.

Есенин сует им несколько бумажек.

— Что, братцы, взопрели? Тяжел дьявол! Книги там. Одни книги. Они ведь что каменюги, — хитрит Есенин, чтобы не позарились на его имущество.

Дворники благодарят, сняв шапки. Значит, дал много. Теперь ведь не очень-то благодарят. А еще реже при этом снимают шапки.

— Счастливо, братцы! Прощевайте, прощевайте!

Дворники уходят с шапками в руках.

Прикрыв дверь за ними, Есенин повторяет:

— Все воры! Все!.. Плакать хочется.

— Полно, Сережа.

И мне тоже хочется плакать от этого бреда.

Есенин вынимает из кармана всякие ключи, звенящие на металлическом кольце, и, присев на корточки, отпирает сложные замки «кофера».

— В Америке эти мистеры — хитрые дьяволы! Умные! В Америке, Толя, понимают, что человек — это вор!

И поднимает крышку. В громадном чемодане лежат бестолковой кучей — залитые вином шелковые рубашки, перчатки, разорванные по швам, галстуки, носовые платки, кашне и шляпы в бурых пятнах.

А ведь Есенин был когда-то чистюлей! Подолгу плескался в медном тазу для варенья, заменявшем ванну, или под ледяным краном. Сам гладил галстук. Сам стирал рубашку, если запаздывала прачка, а другой рубашки для перемены не находилось. Добра-то в обрез было.

— Ха!.. — горько улыбается он. — Вот все, что нажил великий русский поэт за целую жизнь!

И скашивает глаз на бестолковую кучу в чемодане, купленную Дункан, которая и сотни тысяч долларов считала мусором. Но это было в ее молодую пору.

— Чего молчишь, Анатолий?..

И подозрительно вскидывает на меня глаза в кровавых жилках.

— Чего?..

— Дао чем тут разговаривать?

— Как о чем? О босоногой плясунье поговорить можно. Миколай Клюев с Петькой Орешиным о ней поговорили б! Разжился, мол, от богатой старухи. У Миколушки-то над башкой висит Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть, злодейство!

И, озлившись, роется в чемодане дрожащими руками:

— Я, знаешь ли, по три раза в день проверяю. Сволочи! Опять шелковую рубашку украли. И два галстука...

Бред! Страшный, нелепый бред!

— Подделали! Подделали ключи-то. Воры! Я потому к тебе и привез. Храни, Толя! Богом молю, храни! И в комнату... ни-ни! не пускай. Не пускай эту мразь! Дай клятву! По миру меня пустят. С сумой. Христовым именем чтобы кормился. Плакать хочется.

Сжавшись в комочек, Никритина шепчет мне на ухо с болью, отчаянием, со слезами на глазах:

— Сережа сошел с ума.

— Не выдумывай, Нюша. Не выдумывай. Просто-напросто на него теперь ужасно действует водка.

Обдавая водочным духом, Есенин целует меня, целует Никритину и, пошатываясь, уходит со словами:

— Плакать хочется.

Примерно недели через две литературная Москва жила сенсацией: Есенин с Мариенгофом поссорились.

Об этом рассказано в «Романе без вранья».

Добавить нечего.

И как помирились — тоже рассказано.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Это из есенинского «Черного человека».

Великие писатели сочиняли Библию: «У кого вой? У кого стон? У кого раны без причин? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином».

22

Мы с Никритиной вернулись домой, как обычно, после полуночи.

На этот раз в «Стойле Пегаса» выступал довольно знаменитый «чтец мыслей на расстоянии» — нервный горбоносый человек с удивительно черными волосами, пенящимися вокруг лысины.

— Я полагаю, Нюша, что наш мозг излучает какие-то флюиды, — сказал я.

— Очень может быть.

— Другого объяснения не придумаешь.

— Да. Этот дьявол работает без помощника.

— Вероятно, люди скоро изобретут аппаратик. Интересно!

— Какой такой аппаратик?

— Он будет записывать на ленту эти флюиды. А потом их можно будет расшифровать.

— Что?

— Примерно, как запись стенографистки... Вот, Нюха, перед тем, как ты юркнешь под одеяло, я незаметно положу этот аппаратик под твою подушку.

— Зачем?

— Да чтобы утром, когда ты убежишь на репетицию, прочесть твои мысли. Любопытно знать, что ты думаешь на сон, грядущий!

— Какой ужас!

— Ужас?

— Все люди переругаются, передерутся, если будут читать их мысли, как ежедневную газету. Особенно мужья с женами. Кошмар!

— Ах, так...

Я мрачно скинул полуботинки, пиджак и лег на тахту носом к стене.

— Толя...

— Не желаю с тобой разговаривать.

— Что?

— То.

— Ничего не понимаю.

— Очень жаль.

— Нет, Длинный, ты мне все-таки должен объяснить.

Она села возле меня на тахту.

— Уйди!

— Да ты просто сошел с ума.

— Не желаю тебя видеть. Понятно?

— Нет, Длинный, непонятно.

Я скрестил руки на груди и произнес в трагической интонации:

— Завтра я развожусь с тобой.

— Да?

— Да!

— А я — нет. Я ни за что не разведусь с тобой. Пожал плечами:

— Неужели?

— Потому что я люблю тебя, моего дурня.

— Не лги.

— О-бо-жа-ю!

— А я не хочу, чтобы меня обожала распутная баба! — Это я распутная? Я?

— Во всяком случае, у тебя распутные мысли. Иначе бы, мадам, вы так не испугались этого аппаратика.

Мы провели бессонную ночь. Завтракали порознь. Она позвонила в театр, что больна и не придет на репетицию. Словом, это была крупная, мучительная ссора. Самая длинная за всю нашу жизнь. У обоих запали глаза и ввалились щеки. И только через двадцать два часа, за ужином, чокаясь жигулевским пивом, я сказал:

— Знаешь, Нюха, по-моему, это форменный кретинизм — быть в ссоре больше пяти минут. Ведь где-то внутри отлично знаешь, что в конце концов все равно помиришься. Правда? Так какого черта портить себе жизнь на сутки или на неделю, как это делают миллионы глупцов? Пять минут — и хватит! Или уж действительно надо разводиться, если дело очень серьезно. Правильно?

— Правильно, Длинный!

И мы крепко поцеловались.

Эта мудрая догадка: «Ссориться не больше чем на пять минут» — очень украсила нашу жизнь.

Рекомендую.

А через несколько дней я читал Никритиной вслух:

— «Жена добра и страдолюбива и молчалива венец есть мужу своему... И увидит муж, что непорядливо у жены... и за ослушание... снять с нее рубашку и плетню вежливенько бита, за руки держа, по вине смотря, да побив и промолвить, а гнев никакож бы не был». Это из «Домостроя», Нюха. Превосходная, полезная книга! Удивляюсь, почему ее не переиздаст Госиздат.

— Я тебе такой пропишу «Домострой»! Пропишу «Домострой» наоборот: «И увидит жена, что не порядливо у мужа... и за ослушание... снять с него рубашку и плетию вежливенько...»

И оба смеемся, как будто читаем Зощенко.

А вот другой разговор, при Саррушке Лебедевой.

— Прошу тебя, Нюша, возвращайся домой к часу.

— А если на банкете будет весело?

— Если очень весело — половина второго.

— Хорошо.

— Да он у вас, Нюшка, «Домострой», — говорит Саррушка, не имея представления о предыдущем разговоре.

— Ого! Еще какой!

И поворачивается ко мне спиной:

— Застегни, Длинный.

Я застегиваю жемчужные пуговки на ее вечернем платье. Оно было куплено еще в Париже и надевается два раза в сезон. Не чаще.

Лебедева по-мужски пожимает плечами:

— Вы, Нюшка, чудак.

— Почему?

— В подобных случаях, — говорит полушутя наш знаменитый скульптор, — надо возмущаться, бороться за раскрепощение женщины, а вы сияете.

— Не портите мне жены, Саррушка.

Бегут, бегут годы неизвестно куда. А почему они не сидят в креслах, как гневные бухгалтеры — солидно, важно, прочно? Право, хоть бы приснилось мне, что они поменялись ролями: годы сидят, а гневные бухгалтеры бегут, бегут неизвестно куда.

Мы на коктебельском пляже. Мелкая галька похожа на фасоль, бобы и горох.

— Пошли купаться, Кирка, — приглашаю я своего малыша.

Пол-аршинные волны словно только что выскочили из парикмахерской: пена цвета волос, травленных перекисью, завита в баранью кудряшку.

— Пошли, Кирка, в воду.

Он переминается с ножки на ножку.

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Больших волн.

— Вот так большие! Гляди: ниже колен.

— Так ты вон какой! А я — маленький.

Ему через две недели стукнет четыре года.

— Пошли, Кирка, пошли.

— Не! Боюсь.

Я начинаю сердиться:

— Такты, значит, трус?

— Да.

У меня от негодования даже дыхание перехватывает.

— Тогда ты не мой сын. Терпеть не могу трусов.

— Ну и не моги.

Он решительно уходит, чтобы развалиться на никритинской мохнатой простыне.

— Кирилл!

Ноль внимания.

Когда я злюсь, у меня светлеют глаза. Вероятно, сейчас они совсем белые.

— Что с тобой, Толя? — спрашивает мамаша, подставляя солнцу какую-то другую часть тела, по ее мнению, еще недостаточно прокопченную.

— Наш сын — трус.

— Не ерунди, пожалуйста. Он отчаянно храбрый. Кирка, иди с папой плавать.

— Не!

— Иди, иди.

— Боюсь.

— Что-о?

У мамаши чернеют глаза. У нее от злости они чернеют, а у меня, как сказано, белеют.

— Ступай к бабушке. Ступай. Варенье варить. Если ты девчонка, — приказывает мамаша.

Насупив брови, наш парень не спеша уходит. До меня доносится его бурчанье:

— Вот дураки! Мне же только четыре годика.

— Кирилл!

— Ну?..

Он уже унаследовал это любимое материнское словечко.

— Что ты сказал? Повтори!

— Ничего не сказал.

— Ложись!

— Вот вечно так всегда: то уходи, то ложись, то плавай.

— Молчать!

Он покорно сжимает губы. А в его глазенках, очень похожих на никритинские, я с ужасом читаю упрямую мысль: «Вот дураки!»

До чего же он прав, по чести говоря. Теперь, на седьмом десятке, я понял, что природа неправа. Родить должны бабушки. Отцами должны быть дедушки. Тогда, вероятно, наши дети были бы намного лучше воспитаны. Бабушки и дедушки философичней, терпеливей, мягче. Да и жизненного опыта у них побольше. На собственных молодых глупостях кое-чему научилась. А то рожают горячие девчонки. В воспитателях ходят почти сопливые мальчишки, ничего не смыслящие в этом трудном деле. Какой вздор!

Впрочем, куда ни кинь — все клин.

В тот же день на коктебельском пляже неподалеку от нас в палатке, сделанной из двух простынь, лежала какая-то бабушка. Она все время кричала:

— Яшенька!.. Яшенька!.. Яшенька!..

Мы с Никритиной готовы были ее удушить.

— Яшенька, надень на голову шапочку!.. Яшенька, помочи водичкой у себя под мышечками!.. Яшенька, смотри, не промочи ноги! — это когда ее внук подходил близко к морю.

Года через три в трамвае в Москве на Большой Дмитровке я опять услышал ее голос:

— Яшенька!.. Яшенька!.. Не прыгай с трамвая на ходу!

Трамвай прочно стоял на остановке.

Услышав: «Яшенька, Яшенька!», — я быстро обернулся. Ну конечно, это наша коктебельская беспокойная бабушка.

— Доброе здоровье, — сказал я приветливо.

— Разве вы меня знаете?

— Да. Три года тому назад мы с вами частенько лежали по соседству на коктебельском пляже. А сейчас я вас узнал по «Яшеньке». Что-то, слышу, родное, знакомое. Очень обрадовался.

Кудрявые волны грассируют у берега, как парижанки. Неподалеку от меня, поджариваясь на раскаленном песке, болтают две дамы.

— Вера Павловна, а кто в вашем вкусе: брюнеты, шатены или блондины?

— И те, и другие, и третьи, Мусенька!

Я очень люблю подслушивать пляжные разговоры. Особенно женские. Они психологичней, острей, язвительней, а порой и неприличней.

О брюнетах, шатенах и блондинах мечтают писательские жены — Вера Павловна и Муська. Так ее почему-то все называют. Даже те, которые с ней незнакомы. Вера Павловна, как говорят, «со следами былой красоты». Она крупная, длинная. Кожа у нее на сорокапятилетней жирной подкладке, в черных крашеных волосах эффектная седая прядь. Муська — маленькая, тощая. У нее пронзительные глазки, зеленые, как у злой кошки. Нос явно смертоносный. Он торчит между щек, как лезвие финского ножа.

Вера Павловна вытягивает длинные ноги, забрасывает руки за голову, потягивается и лепечет томным голосом:

— Ах, я хотела бы умереть молодой!

Муська немедленно отзывается:

— В таком случае, Вера Павловна, вы уже опоздали.

Через пятнадцать лет один небезызвестный поэт, кинув иронический взгляд на голый женский пляж, сказал со вздохом — «Тела давно минувших лет». На пляже, как и в дни нашей молодости, рядом лежали Муська и Вера Павловна. Только теперь под большими пляжными зонтами. Увы, они разговаривали не о блондинах, брюнетах и шатенах, а об инсультах, инфарктах и гипертонии.

Возвращаюсь к дням молодости.

Солнце осатанело. Это уже не солнце, а зажженная газовая конфорка.

— Папа!.. Папа!..

— Что тебе?

— Поучи меня плавать. Не хочу лежать. Поучи плавать.

— Лежи на брюхе и загорай, как дамочка.

Наш парень обиженно надувает губы:

— Не хочу, как дамочка.

— Вот как?

— Я не дамочка. Я мужчина.

— Что-то непохоже.

— Похоже! Неправда! — бурчит он через силу. — Неправда!

А на языке у парня, конечно, вертится: «Врешь! Врешь!»

Волны подросли.

Я осведомляю свое семейство:

— Пойду поплаваю.

— Сыпь, — говорит Никритина. — Только, пожалуйста, не заплывай далеко. Волны большие.

И она поворачивается на правый бок. Для идеального прокопчения приходится беспрерывно вертеться.

Мне нравилось плавать на крепких волнах. К тому же взрослые хуже детей. Еще непослушней.

На рейде стоит какой-то плюгавый буксир. Я заплываю за него.

Никритина взволнованно спрашивает:

— Кира, где папа?

— В море.

— Где в море? Я его не вижу.

— И я не вижу.

— Господи, он утонул!

— Конечно, утонул, — соглашается Кирка. — Куда ж ему больше деться. Пойдем, мама.

— Куда пойдем? Куда? Лежи спокойно!

— В будочку.

— В какую будочку? О чем ты говоришь?

— Я хочу сладкой водички с прыщиками.

Так наш парень называл газированную воду с сиропом.

И еще убежали годы.

Опять разговариваем на пляже. Разговариваем на вечную тему: в чем счастье?

Пыжова вытягивает руку. Полное впечатление, что у нее на ладони сидит маленькая птичка. Она нежно гладит ее. Пыжова была талантливой актрисой.

— Вот оно, это счастье, вот оно и... нет его!

Ольга грустно смотрит вслед улетевшей птичке.

— По-моему, — философствует Никритина, — счастье в том, чтобы чувствовать себя нужной.

— Кому?

— Нужной в театре, нужной дома. Нужной Длинному, Кирке, моей маме. Словом, чувствовать себя нужной.

— Так! А ты, Кирка, что скажешь поэтому поводу? — спрашивает Сарра Лебедева.

Подруги и летом встречаются.

— По какому?

— Да вот: в чем счастье?

Он, как Василий Иванович Качалов, подпирает рукой морденку, морщит лоб и переспрашивает:

— В чем счастье?

И с семилетней серьезностью отвечает:

— В хорошей жене.

Жорж Питоев частенько говорил о своей жене с загадочными глазами цвета ванильной полоски: «Людмила, ты моя рука, ты моя нога!»

Признаюсь, если б я не трусил плагиата, я бы тоже кое-когда заявлял; «Нюшка, ты моя рука, ты моя нога!»

Но в нашем доме относились к сентиментальности хуже, чем к гриппу. Поэтому Кирка ничего подобного никогда не слышал. Тем не менее он, очевидно, ощущал это: «Ты моя рука, ты моя нога!»

Вот и сказал: «Счастье в хорошей жене!»

Пожалуй, он был не очень далек от истины.

Парижане горячо спорили о Людмиле Питоевой. Одни уверяли: «Людмила — толстушка!», другие: «Да что вы — худенькая!» Потому что Питоева всегда играла до девятого месяца и одни видели ее на сцене брюхатой, другие — после родов. У этой замечательной актрисы было семеро детей: Саша, Жорж, Надя, Светлана, Варвара, Людмила и последняя — Нюшка. Названная так в честь Никритиной.

23

Не стало Есенина.

Я плакал в последний раз, когда умер отец. Это было более семи лет тому назад. И вот снова вспухшие красные веки. И снова негодую на жизнь.

Через пятьдесят минут Москва будет встречать Новый год.

Те же люди, которые только что со скорбным видом шли за гробом Есенина и драматически бросали черную горсть земли на сосновый ящик с его телом, опущенный на веревках в мерзлую яму, — те же люди сейчас прихорашиваются, вертятся перед зеркалами, пудрятся, душатся и нервничают, за-

вязывая галстуки. А через пятьдесят минут, то есть ровно в полночь, они будут восклицать, чокаясь шампанским: «С Новым годом! С новым счастьем!»

Я говорю Никритиной:

— Невероятно!

Она поднимает руки, уроненные на колени, и кладет их на стол, как две тяжелые книги.

— Да нет. Это жизнь, Толя.

Вспоминаю.

В детской тишина. Старушка, напуганная своей нелегкой судьбой, и ребенок, оставшийся некрещеным, — оба спят одинаковым сном — мирным и сладким.

Шипят новогодние примусы на кухне.

За окном — синее небо, золотые звезды, редкие белые хлопья. Именно так плохие художники рисуют новогоднюю ночь.

Комната своим вторым, стеклянным глазом смотрит в чужую жизнь, то есть в чужое незанавешенное окно. Обычное дело! Из оливковой шторы еще до нэпа сшили отцу семейства роскошный френч, а трехлетней дочурке — хорошенькую шубку, капор и варежки. Их перекидывали на тесемке через шейку, тоненькую, как стебель василька.

Мы с Никритиной, сидя на своей неперсидской тахте, перебираем фотографии. Есенин на них молодой, задорный, насмешливый, легковолосый.

Вспоминаем:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад.
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Потом долго молчим и рассеянно смотрим в чужую жизнь.

Через оконные стекла чужие жизни кажутся счастливыми и спокойными. Вот молодая мать с нежностью закутывает старым байковым одеялом крохотные голые ножки.

— Как ты думаешь, Нюша, — спрашиваю я, — почему эта очаровательная женщина не встречает Новый год?

— Вероятно, не на кого оставить дочурку.

— А где ее муж в оливковом френче?

— Бог его знает.

Тогда мне в голову приходит грустная мысль, что эта чужая жизнь не такая уж спокойная и счастливая.

Опять молчим. Я барабаню ногтем о стену, аккомпанируя своим невеселым мыслям.

— Ты читала, Нюша, о последних минутах поэта Хомякова?

— Нет.

— Он лежал на постели, вытянувшийся, сосредоточенный. В спальню входит его сосед по имению и спрашивает: «Алексей Степанович, что с вами?» — «Да ничего особенного... приходится умирать», — спокойно отвечает Хомяков.

— Русская смерть, Толя.

— Пожалуй. Но много ли русских умирает этой русской смертью?

Вдруг четыре звонка.

— К нам, Нюша.

— Да нет. Кто-то обсчитался, нажимая кнопку.

И опять четыре взонка.

Я иду отпирать.

— Саррушка...

Лебедева будто не замечает моего удивления.

— Я, ребята, пришла к вам встречать Новый год, — говорит она совсем просто и слегка в нос. — А где Нюшка?

— Там.

— Здорова?

— Да.

— Очень хорошо.

И легонько, неторопливо шагает по коридору, носками врозь и чуть по-спортивному переваливаясь с боку на бок.

Через пятнадцать лет в поэме военного времени я уже писал иначе:

«Ну, по домам!..»
И Сарра встала.
Идет походкою Второй Екатерины.

И совсем по-иному пришлось бы писать об этом в 1960 году, когда эта «царь-баба», эта «погибель мужского рода» передвигается по ровным московским тротуарам, опираясь на крепкую палку с резиновым наконечником.

Бабушка у Лебедевой казацкого донского рода. Она не знала грамоты и была ярой антисемиткой. А отец был тонким интеллигентом. В назидание своей мамаше он и назвал дочку Саррой. В православных святцах имеется это имя. В переводе на русский — «знатная».

— Здравствуй, Нюшенька.

— Здравствуй, Саррушка.

Поцеловавшись, Лебедева ставит на стол новогоднюю бутылку шампанского, не оскорбительного для нас, потому что Саррушка — наш друг. Она по-хорошему любит поэзию, любит стихи Есенина. Его смерть для нее не просто смерть знакомого человека, которого читающая Россия знает, как знаменитого поэта, а Европа и Америка — как молодого мужа Айседоры Дункан.

Ровно в двенадцать мы чокнулись, но не сказали друг другу: «С новым счастьем»...

А потом часов до пяти:

— Вы помните, Нюша...

— Вы помните, Саррушка...

— Вы помните, Толя...

— Вы помните...

— Вы помните...

Покойный Сергей Есенин этот Новый год встречал с нами в своем Богословском переулке, где и в самом деле — каждая собака знала его легкую походку.

Сотни людей спрашивали меня: «Почему он сделал это?» В конце концов я сказал себе: «По-видимому, я должен ответить. Во всяком случае, попытаться ответить».

И вот пытаюсь.

Есенин мог потерять и терял все. Последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в винном угаре — только не стихи!

Стихи были биением его сердца, его дыханием.

Вспомните, сколько считаных минут он жил после того, как написал кровью свои последние строчки:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова.
Не грусти и не печаль бровей.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Он написал это стихотворение неторопливо, своим обычным округлым почерком, заставляя жить отдельно, словно по-холостяцки, каждую букву.

Ему пришлось обмакнуть ржавое гостиничное перо в собственную кровь. В этом не было ни дурной позы, ни дешевой

мелодрамы. Просто-напросто горькая необходимость: в многочисленных карманах пиджака, как на грех, не оказалось карандаша, а в стеклянной чернильнице высохли чернила, как это обычно бывает в перворазрядных отелях.

Где-то, когда-то мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы XV века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой.

Умирая, принцесса сказала:

— Плевать на жизнь!

Ей было девятнадцать лет.

Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере петербургской гостиницы «Англетер» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения из свадебного заграничного путешествия, весь смысл его существования был тот же, что и у шотландской принцессы:

— Плевать на жизнь!

В начале 20-х годов как-то в «Стойло Пегаса» пришли три девушки. Совсем юные.

У хорошенькой, глазастой Гали Бениславской тогда еще были косы — галочьего цвета. Длинные, пушистые, с небольшими бантиками. Крепенькие ноги в черных хромовых башмаках с пуговицами.

Мы говорили: «Пришла Галя в мальчиковых башмаках». Или: «Пришла Галя в бабушкиных чулочках!»

Они были в крупную вязку, теплые, толстые и тоже черные.

Двух других девушек мы ласково называли «мордоворотиками».

После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова, почти для каждого из нас дорогого по

далекому детству, а в войну взрослые, измученные люди переделали няню в «нянечку».

Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви.

Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя. И уж если говорить правду — не получая.

Хочется привести несколько кусочков из писем Есенина:

Галя, милая.
Простите за все неуклюжества.
8/IX — 23

Галя, милая!
Простите, что обманул.
Дня я еще не видел. Какой он есть.
Думаю, что не смогу поехать с вами.
Немного разбит настроением физически.
(Без даты)

Галя, милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного...

Привет Вам и любовь моя!

Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам.

15 апреля 1924

О печатании собрания:

...издайте по берлинскому тому... Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь — сделают все не так, как надо.

29 октября 1924

Галя, голубушка!.. может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу.

Ради Бога, не будьте миражем Вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая.

20 декабря 1924

Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину.

21/III — 25

После очередного консилиума:

Мне запрещено пить. С легкими действительно что-то неладно... После выправки жизнь меняю.

11—12 мая 1925

Записка мне:

Дорогой Анатолий!.. Галя — моя жена.

Сергей

В это время его женой была Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Николаевича, до немыслимости похожая на своего деда. Только лысины да седой бороды и не хватало. Впервые я с ней встретился в вестибюле гостиницы «Москва». Взглянул и решил:

— Да ведь это Софья Андреевна! Жена Сережи.

Узнал ее по портретам Льва Николаевича.

А когда-то Есенин хотел жениться на дочери Шаляпина, рыженькой, веснушчатой дурнушке.

Потом — Айседора Дункан.

И все для биографии.

Есенин — Шаляпина!

Есенин — Дункан!

Есенин — Толстая!

Кого же любил Есенин?

Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх.

Вот ее, эту женщину, с лицом белым и круглым, как тарелка, эту женщину, которую он ненавидел больше всех в жизни, ее — единственную — и любил.

Зинаида сказала Есенину, что он у нее первый. И соврала. Этого Есенин никогда не мог простить ей. Не мог по-мужицки, по темной крови, а не по мысли.

— Зачем соврала, гадина?!

И судорога сводила лицо, глаза багровели, руки сжимались в кулаки.

В стихотворении «Собаке Качалова» написано:

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку,
За все, в чем был и не был виноват.

Я убежден, что это относится к Зинаиде Райх.

Мне кажется, что и у нее другой любви не было. Помани ее Есенин пальцем, она бы от Мейерхольда убежала без резинового плаща и без зонтика в дождь и в град.

В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки.

От первой, утренней, рюмки уже темнело его сознание.

А за первой, как железное правило, шли — вторая, третья, четвертая, пятая...

Время от времени Есенина клали в больницу, где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами. Они помогали так же мало, как и самые старейшие способы, которыми тоже пытались его лечить.

Седовласый профессор в длинном белом халате, роскошно сидящем на его мощной фигуре, самолично подмешивал в есенинскую стопку какую-то сверхтошнотворную пакость из пакостей:

— Прошу, сударь, выпейте за мое здоровье. Сегодня мне, с вашего разрешения, семьдесят восемь стукнуло.

Есенин пил. Морщился. Но не больше, чем от старого мартелевского коньяка.

И профессор растерянно поправлял на носу золотые очки:

— Н-да-с... великолепно-с!..

И, махнув рукой, большими шагами выходил из палаты, боясь оглянуться на свою белохалатную свиту.

В медицину, друзья мои, надобно верить не задумываясь, так же как в Бога.

Одного угрюмого актера бывшего Александрийского театра спросила хорошенькая дамочка:

— Николай Степанович, вы здоровый человек?

— Вскрытие это покажет, — ответил угрюмый актер.

Может быть, именно так надо верить в медицину.

Свои замечательные стихи 1925 года Есенин писал в тот единственный час, когда был человеком. Он писал их почти без помарок. Тем не менее они были безукоризненны даже по форме, более изощренной, чем когда-либо. Я говорю — изощренной, понимая под этим лиричность, точность, предельную простоту при своеобразии. Это было подлинное чудо! В молодые добрые времена он никогда не работал легко и быстро. С лирическим стихотворением, зачавшимся в голове, любил «побродить и переспать ночку».

Мне говорил:

— В корове, Толя, молоко не прокиснет!

А когда к нему приставал с вопросом какой-нибудь критик:

— Сергей Александрович, дорогой, расскажите, пожалуйста, как вы пишите?

— Как пишу? — переспрашивал Есенин. — Да вот, присяду на пол часика к столу перед обедом и напишу стишка три-четыре.

И хохотал тому в спину:

— Зачем дураку знать, что стихи писать, как землю пахать: семи потов мало.

Великий философ Сковорода говорил: «Всякий человек имеет цель в жизни, но не всякий — главную цель».

У Есенина была — главная.

К концу 1925 года решение «уйти» стало у него маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом.

А накануне Есенин был у Николая Клюева.

Среди теплеющихся лампадок читал стихи своему «старшему брату» в поэзии.

Клюев сидел на некрашеной дубовой лавке под иконой Миколы Чудотворца старого новгородского письма.

— Ну как? — тихо спросил Есенин. — Стихи-то?

Старшой брат троекратно облобызал его:

— Чувствительные, Сереженька. Чувствительные стишки. Их бы на веленевой бумаге напечатать, с виньеточками: амурчики, голубки, лиры. И в сафьян переплесть. Или в парчу. И чтоб с золотым обрезом. Для замоскворецких барышень. Они небось и сейчас по Ордынке да на Пятницкой проживают. Помнишь, как Надсона-то переплетали? А потом — Северянина Игоря, короля поэтов. Вот бы, Сереженька, и твои стишки переплесть так же.

После этих слов Есенин заплакал.

Это была его последняя встреча. Рассказал мне про нее один петербургский поэтик, бывший при этом.

На литературном вечере в Вятке мне из публики бросили записку: «Товарищ Мариенгоф, скажите — поэтами родятся или делаются?»

Я скаламбурил:

— Сначала делаются, а потом родятся.

Так вот: Есенин поэтом родился и поэтом умер.

Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает о двух самоубийствах.

Дочь Александра Ивановича Герцена от Огаревой-Тучковой «намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать... Так и умерла». Ей было семнадцать лет. Перед смертью она написала следующую записку:

«Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. Очень даже не шикарно выйдет!».

Это уж совсем по-одесски.

«Значит, — заключает Достоевский, — умерла от холодного мрака и скуки».

Понимай: умерла без Бога в душе.

И вправду, какой уж тут Бог, если в последней записке стоит: «Очень даже не шикарно выйдет». Да еще про шампанское разговор: отпразднуйте, значит, «с бокалами Клико».

А вот другое самоубийство: «Выбросилась из окна, из четвертого этажа, одна бедная молодая девушка... Выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ».

Достоевский пишет: «Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто стало нельзя жить... и умерла, помолившись».

Умерла, значит, с Богом в душе.

Вы помните есенинское:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,

Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

А вот это стихотворение для умного Есенина было чистой литературой. Чистейшей! Даже в свою последнюю здешнюю минуту он не вспомнил Бога. А все многочисленные Иисусы в есенинских стихах и поэмах, эти Богородицы, «скликающие в рай телят», эти иконы над смертным ложем существовали для него не больше, чем для Пушкина — Аполлоны, Юпитеры и Авроры.

Мы часто повторяем вслед за Достоевским: «Человек с Богом в душе», «Человек без Бога в душе». В этом смысле у Есенина, разумеется, бог существовал. Но не христианский, не православный, а земной, человеческий, наш. Имя его — поэзия. С этим единым богом Есенин и прожил всю свою мыслящую жизнь.

Есенинская трагедия чрезвычайно проста. Врачи это называли «клиникой». Он и сам в «Черном человеке» сказал откровенно:

Осыпает мозги алкоголь.

Вот проклятый алкоголь и осыпал мозги, осыпал жизнь.

Возникают в памяти бунинские строчки:

Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Ах, Сережа, Сережа, почему же ты не попросил ее, этой легкой смерти? Но у кого просить-то было?

24

После декабря 1926 года, то есть без малого через двенадцать месяцев после смерти Есенина, Галя Бениславская не-

сколько раз приходила к нам на Богословский. Обычно под вечер. То одна придет, то с Катей — сестрой Есенина.

Всякий раз Галечка была милой, тихой, собранной. Без трагической маски на очень похудевшем лице. Изредка даже улыбалась. Но улыбка казалась какой-то извиняющейся: «А я вот все-таки улыбаюсь».

Свое предсмертное письмо, как мне передавали, Галя написала на папиросной коробке. Может быть, это и неправда. Я читал его в музейной копии. «В этой могиле для меня все самое дорогое...» — написала она.

Курила Галя по-мужски, глубоко затягиваясь и выпуская дым из носа.

Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, — стояло в конце письма, — *значит, даже тогда я не жалела.*

Если жаль — заброшу ее далеко.

Одна осечка.

К сожалению, я не знаю, воткнула ли она финку в могилу или забросила ее далеко.

Уж лучше бы воткнула.

Стрелялась Галя из хлявенького револьверишки — из «бульдога».

Не без мысли о Достоевском мне хочется рассказать еще об одном самоубийстве.

Это было в Ленинграде почти перед самой войной с Гитлером. Щупленький рябой маляр лет двадцати восьми из ревности убил свою жену. Ему дали восемь лет. Он их добросовестно просидел. А в первый же день, как выпустили, пошел на Волково кладбище, где она была похоронена, и повесился на толстом суку возле ее креста.

Я навестил их могилы. Там, рядом, положили и его — этого русского Ромео, нашего современника, щупленького рябого маляра.

Не верят в большую любовь только болваны, важно считающие себя скептиками. Во все времена их было больше, чем надо.

25

Внутренне художнически поругавшись с Таировым, Никритина бросила его Камерный театр и перешла в ленинградский Большой драматический, что на Фонтанке.

Таким образом, мы стали жителями города без синего неба, но с белыми ночами. Города туманов и дождей. Дождей июльских и декабрьских. Города каналов, канавок, мостиков и мостов с золотыми львами, держащими в зубах золотые цепи. Города проспектов, прямых, как чертежная линейка, и площадей, справедливо называющихся полями.

Из года в год, со скучным постоянством, мы уезжали на летние месяцы в Коктебель.

— Это то место, — говорил Кирка, — куда мы каждый год собираемся не ехать.

Он был прав.

До июня наше семейство обычно шумело:

— Нет, ни за что! К Богу! С Коктебелем покончено! Надоел!

Впоследствии это мудрое решение покончить с Коктебелем наш парень поддержал античной мудростью. Он сказал:

— Обжора Лукулл изрек: «Неужели у меня меньше ума, чем у журавля или аиста? Нет, я не намерен постоянно жить на одном месте!»

У Кирки была редкая память.

Я похлопал его по плечу:

— Ты, брат, умеешь цитировать. Итак: улетим из Коктебеля, как журавли и аисты.

— На Новый Афон или в Гагры, — предложила Никритина.

— Великолепно! Поищем, мамочка, новые земли. Как Христофор Колумб.

— Ты все остришь?

— Пытаюсь.

А в июне дьявол привычки опять заговорил во мне:

— Как ни вертись, друзья мои, но Коктебель — самое лучшее место на этом комочке грязи. Какой пляж! Какое море! Какие фиолетовые горы!

— А какая Вера Павловна! Какая Муська! — добавил Кирка.

И мы отправлялись туда в восьмой раз.

Вопросы воспитания начали меня терзать еще до рождения наследника.

Я считал, что отец должен являться высоким и непререкаемым авторитетом для своего сына. А для этого отец обязан лучше сына играть в шахматы, в теннис, в волейбол. Лучше плавать и грести, знать почти все на свете, чтобы на любой вопрос, на любое «почему?» отвечать точно и обстоятельно. Бог ты мой, сколько этих мучительных «почему?» у наших ребят!

А случилось так: уже в шестнадцать лет Кирка лучше меня играл в шахматы, лучше в теннис. Он был первой ракеткой «по юношам» ленинградского «Динамо». Лучше плавал и прочел уйму стоящих книг. Хорошо говорил по-французски, по-немецки и читал со своей англичанкой «Таймс».

Однажды на пляже Никритина невольно подслушала разговор Веры Павловны с Муськой.

— Мариенгофы, — выпалила Муська, — интересные люди. Но самый интересный из этой троицы, безусловно, Кирка.

Когда Муська что-нибудь выпаливала, рот у нее делался круглым и черным, как дуло охотничьего ружья.

Несмотря на все обожание своего парня, мы оба, признаюсь, не на шутку огорчились такой аттестацией.

— Вот негодяйка! — сказал я про Муську.

— Просто язва и мелкая дрянь! — отчеканила моя половина (порой я даже называл ее «трехчетвертинкой»).

— Вероятно, Муська заметила, что ты подслушиваешь, и захотела вонзить, — утешил я.

А в глубине души мы оба скорбно, но с гордостью решили, что Кирка действительно интересней нас.

Ах, товарищи, никогда не надо подслушивать. Особенно если судачат о вас. Ведь за спиной говорят правду! Еще на такое нарвешься, что будет тошно на земле жить.

Борис Михайлович Эйхенбаум, лучший из лучших литературоведов, как-то признался, что, когда он бывает у нас в доме, у него язык прилипает к горлу от скептического и снисходительного взгляда Кирки. Но внешне парень всегда вел себя чрезвычайно вежливо. Особенно с Эйхенбаумом!

— В таком случае, — сказал я, — будем гнать в три шеи этого желторотого скептика. Гнать вон из моего кабинета.

— Нет, нет! — возразил старый Эйх. — Ведь мужчина он интересный!

— Вот как? Не поинтересней ли нас с Нюшкой? — огрызнулся я.

— Молодое племя всегда интересней, — невозмутимо ответил правдивый профессор.

— Мерси!

Мальчонок, не в пример мне, был книжником. В короткий срок он собрал порядочную библиотеку иностранных и русских историков и классиков.

Лично у меня никакой библиотеки не было. Увлекаясь историей и античной философией, я говорил, что накупить столько книг, как в Публичной, я не могу, а меньше меня не устраивает.

На пляже и в море, заплывая «к чертовой бабушке», мы с Киркой вели горячие литературные споры.

Он очень любил старых французов — Мольера, Беранже. Без ума был от Пруста, Джойса и Хемингуэя. В шестнадцать лет! И души не чаял в Пушкине. Вот трогательный случай. В

комнате у Кирки на самом почетном месте висела пушкинская маска. Как-то я зашел к нему без стука. Это было не в моих правилах. Батюшки! — малыш, стоя на табуретке, с томиком поэта в руке, страстно целовал Александра Сергеевича в холодный гипсовый лоб.

Закатный час. Море гладкое и золотистое, как хорошо отполированный стол из карельской березы.

Мы плывем в Лягушачью бухту. Это не близкий свет.

— Кирилл Анатольевич, кем, собственно, вы собираетесь в жизни быть?

— Еще не знаю, Анатолий Борисович.

— Пора подумать,

— Пора.

А он уже подумал. Давно подумал.

Когда тот же вопрос, шутя, я ему задал лет десять тому назад, он не задумываясь ответил: «Читателем!»

— Читать книги, — говорю я, — хорошее дело. Но ведь это не профессия. Читатель — это не профессия.

— Конечно... Ты, папа, не устал плыть?

— Я, нахал, устану через два часа после тебя.

— Это верно, — отвечает он, не моргнув глазом.

И тут же переходит с отдохновенной спинки на буйный кроль.

— Кирка! Кирка! — кричу я ему вдогонку. — Куда тебя черт несет?

Мы крепко дружили.

Ленинград. Полдень, звонит телефон. Подхожу.

— Киру можно?

— Кто говорит?

— Рокфеллер.

— Здорово, Рокфеллер! Откуда ты звонишь?

— Из школы.

— Кирки дома нет. Я, видишь ли, полагал, что он сейчас сидит на уроке и читает из-под парты Плутарха.

«Миллиардер» растерянно посапывает в телефонную трубку. Засыпал, бедняга, своего лучшего друга. Дело ясное: Кирка «мотает» сегодняшние уроки.

«Миллиардер» — славный, рослый паренек. На локтях, коленках и на «мадам Сижу» у него аккуратнейшие заплаты. Кисти рук далеко убежали из рукавов, а штаны выше щиколоток. Как будто он всегда носит костюмы младшего брата. Кирка прозвал его Рокфеллером.

Около трех часов с нижней площадки парадной лестницы до меня доносится веселая песенка. С ней ежедневно Кирка возвращается из школы, которую терпеть не может. В отца пошел. Хотя перескакивает парень из класса в класс на круглых пятерках. Не в отца!

— Здорово, папка!

— Здорово... Что новенького в школе? — спрашиваю я с откровенным коварством.

Он, потупившись, молчит.

— «Мотаешь» уроки, Кирка?

— Да.

— Где же изволил шляться весь день? Погодка-то не очень хороша для прогулок с девушкой по Летнему саду?

Он молча кладет на стол надорванный билет в Эрмитаж.

— Четыре часа осматривал Эрмитаж?

— А разве это много для Эрмитажа?

— Который же это раз?

— Одиннадцатый.

— Ого!

— А разве это много для Эрмитажа? — повторяет он свою фразу, для меня довольно убедительную.

Поэтому я не читаю ему морали. Мне вспоминаются собственные школьные годы. Разве я не «мотал»? Еще как! Да и по причинам не столь высоким.

Кирка очень любит живопись. Вкус у него неплохой. Он в восторге от художников итальянского Возрождения. От Гойи, от ранних немецких примитивистов, от Рембрандта. А из русских — от Боровиковского, Кипренского, Федотова, Тропинина. Главным образом за его портрет Пушкина, который на самом почетном месте висит у Кирки в комнате. Без ума и от французов с конца XIX века — Ренуара, Мане, Гогена, Матисса... Знает он их по московскому Музею западной живописи и по хорошим заграничным монографиям, которые с азартом собирал художник Владимир Васильевич Лебедев, друживший с нашим домом. Кирка не раз напрашивался к нему в гости.

За обедом разговариваем миролюбиво. Плохие мы родители — не перетапливаем поклонника Леонардо да Винчи и Пикассо, как этого требует директор Киркиной школы.

— Папа, ты сегодня весь вечер дома?

— Да.

— А у тебя, мамка, есть спектакль?

— Нет.

— А концерт?

— И концерта нет.

— И не репетируешь?

— Нет.

— Значит, тоже дома?

— Конечно.

— И гостей у нас не будет?

— Не ждем.

Кирка, сверкая радостно глазенапами, кричит:

— Шура!.. Шура!..

Входит домработница.

— Шура, приказ верховного командования...

— Это ты командир-то?

— Допустим.

— Командуй.

— Кто бы мне ни звонил по телефону...

— Так.

— Или у парадной двери...

— Тебя, что ли, весь вечер не будет дома?

— Шура, ты великий психолог! Мои мысли читаешь на расстоянии.

— А если Рокфеллер позвонит?

— И для миллиардера сегодня нет меня дома!

— И меня, Шурочка, тоже.

— Хорошо, Анатолий Борисович.

— И меня! — охотно присоединяется к нам Никритина.

— Хорошо, Анна Борисовна.

Кирка обвивает ручонками шею матери и горячо, с благодарностью, целует ее. Потом меня — в щеки, в нос, в лоб.

— А когда, папка, у тебя засверкает лысина, я буду и в нее целовать.

— Не придется.

— Ой, не храбрись, старый денди!

Теперь лысина есть, но уже некому целовать в нее.

Таких вечеров, когда за вечерним столом оказывались мы втроем и шумно разговаривали обо всем на свете, — начиная с Плутарха и кончая Джойсом, — не слишком много у нас бывало.

Почему?

Не знаю.

Сегодня мне бесконечно горько от этого. Вечера втроем, пожалуй, были самыми интересными.

Конец тридцать девятого года. Кирка у кого-то купил за пять целковых кавалергардский панцирь из чистой меди.

— Зачем он тебе?

— Это история, папа!

Через несколько дней я ненароком захожу в спальню. Перед большим зеркалом Кирка, любуясь собой, важно произносит слова Помпея:

— «Перестанете ли вы читать законы нам, перепоясанным мечом?..»

Я соображаю: это, вероятно, из его любимого Плутарха. На Кирке «исторический» панцирь, до блеска начищенный зубным порошком, у пояса — сломанная рапира, которой мы разгребали угли в камине. На голове — чалма из мохнатого полотенца с воткнутым в нее фазаньим пером. А с плеч свисает, как рыцарский плащ, мой белый рваный купальный халат, купленный в Париже лет десять тому назад.

Правая бровь у паренька гордо вскинута «под Качалова» Лихие гусарские усы намалеваны жженой пробкой.

— «Воюйте с парфянами, но живите в мире со своей возлюбленной...» — опять величаво цитирует Кирка какого-то древнего автора.

Я на цыпочках выхожу из комнаты.

— Что с тобой? Что тебя развеселило? — спрашивает Никритина.

Она работала в моем кабинете над новой ролью.

Я рассказываю, что происходит в спальне, какой прелестный театр для себя разыгрывает наш парень, презирающий актерскую профессию.

— Да, это удивительно! — И она разводит руками. — А после обеда, когда ты спал, он разговаривал со мной о Великой французской революции. Признаюсь, я была поражена. До чего ж это было интересно. Рассуждал, как эрудированный историк. И о Марате, и о Робеспьере. Кирку устраивает, что тот предпочитал «бури свободы — спокойствию рабства». Андре Шенье он называл французским белогвардейцем. Однако согласен с ним, что «ветер революции тушит факел поэзии». Спорили, сцепились. Про художника Давида Кирка кричал: «Гений! Гений!»

Я усмехнулся:

— Юноши и старцы любят это противное слово.

— А я посмела не согласиться с поросенком. И сказала: «Давид плохой художник: сухой, риторический».

— Конечно.

— Ох и попало мне! Состоялась дискуссия на уровне нашей Академии художеств. А через какие-то два часа твой рассказ об этом панцире и гусарских усах... Ребенок! Сущий ребенок! Удивительно.

Ночью к бюро, за которым я ковырялся в рукописи, подошел Кирка. Темным глазом он взглянул на мою шею, трудолюбиво согнутую над страницей, измаранной вдоль и поперек:

— Все пишешь и пишешь? До чего же ты наивен, папа! Ужасно наивен.

Я положил карандаш, который не выпускал из руки часа четыре. На указательном пальце даже остался желобок. Положил карандаш и вопросительно посмотрел на своего малыша.

Верней, на того человека, который мне все еще казался малышом.

— Неужели, папа, ты не понимаешь, что при НЕМ писать нельзя? Что при НЕМ настоящей литературы быть не может. Что...

— Тс-с-с-с!

И я прижал к губам палец с желобком от карандаша.

— Вот-вот! — насмешливо сказал Кирка. — Твой палец на губах, палец с желобком от карандаша, лучшее доказательство того, что я изрек истину.

И, важно развалясь в кресле, он усмехнулся:

— Литература с пальцем на губах! Ха! Какой вздор!.. Кончай-ка, папа, безнадежное дело.

Малыш называл те сталинские годы «эпохой непросвещенного абсолютизма».

А вот другой зимний вечер. Я, как заведено, трудолюбиво гну шею над рукописью.

Из спальной выходит Никритина:

— Работай, работай.

И, плотно прикрыв за собой дверь, направляется к креслу. Голова у нее туго перевязана белой салфеткой.

— Две фразы сказать можно? Только две.

— Валяй. Но не больше.

— Понимаешь, я приняла пирамидон и прилегла. А у Кирки, как всегда, полна комната ребят. Хохочут, галдят. Наш парень, конечно, гремит стихами, как на Марсовом поле. А у меня башка разламывается. Вечером репетиция.

Я подсчитываю в уме: третья фраза, четвертая, пятая, шестая. И с удовольствием прячу в стол рукопись. Разговаривать о Кирке гораздо увлекательней, чем писать историческую комедию. Многие тогда пытались убежать в историю.

Никритина продолжает свои «две фразы»:

— Мне очень хотелось крикнуть: «Ребята, потише! Я пирамидон приняла...» Да только душа не позволила скомандовать. Ведь так веселятся на этом свете не больно долго. Правда?

— Правда.

Она еще туже затягивает салфетку на лбу.

— Так вот... — И ее мысль прыгает чисто по-женски в другую сторону. — В детстве я до изнеможения уставала от собственного темперамента. И Кирка устает. У него бледная, похудевшая морденка. Устал от самого себя.

Когда Кирка бывал дома, вся наша квартира действительно гремела и сотрясалась. И я тоже не возражал. Во-первых, потому, что это не мешало мне марать бумагу, а во-вторых, я считал, что Никритина права: не так уж мы долго веселимся на этом свете. Да! Как собаки и кошки, то есть пока они щенки и котята.

— Сегодня Кирка меня спросил: «Тебе известно, папа, что было написано на золотой вывеске над шекспировским театром “Глобус”?» — «Нет, неизвестно». Паренек важно поднял палец вверх и произнес: «Весь мир лицедействует». И заключил: «Над вашим сталинским Союзом писателей я водрузил бы такую же вывеску. Предложи, папа».

— Это возмутительно! — всерьез возмутилась мамаша. — В конце концов Кирку посадят.

— При Сталине это не исключено, — хмуро согласился я.

26

9 апреля 1930 года.

Маяковский вышел на эстраду с температурой около 38±.

И глотать было больно, и слезились воспаленные глаза, и сморкался он каждые пять минут в клетчатый носовой платок размером в добрую старинную салфетку.

В зале сидели студенты Института народного хозяйства имени Плеханова, что помещался на Стремянном.

Они не встретили Маяковского хлопками, как всегда встречали теноров и певиц из Большого театра.

Искоса из-под бровей взглянув на студентов своими тяжелыми воспаленными глазами, Маяковский сказал:

— У меня грипп, болит горло, трещит башка. Очень хотелось поваляться дома. Но потом я подумал: «Чего только не случается на свете с человеком. Иногда он даже умирает. А вдруг и я отправлюсь, как писал, — “в мир иной”».

Пустота...
Летите,
    в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
Ни пивной...

Эта мрачная шутка студентами не принялась.

Маяковский закинул голову:

— А вот, товарищи, вы всю жизнь охать будете: «При насде жил гениальный поэт Маяковский, а мы, бедные, никогда не слышали, как он свои замечательные стихи читал». И мне, товарищи, стало очень вас жаль...

Кто-то крикнул:

— Напрасно! Мы не собираемся охать.

Зал истово захохотал.

— Как вам не совестно, товарищи! — истерически пропищала черняненькая девушка, что стояла у стены слева.

— Мне что-то разговаривать с вами больше не хочется. Буду сегодня только стихи читать.

И объявил:

— «Во весь голос».

— Валяй!

— Тихо-о-о! — скомандовал Маяковский.

И стал хрипло читать:

Уважаемые
                    товарищи потомки!
Роясь
        в сегодняшнем
                                окаменевшем говне,
Наших дней изучая потемки,
Вы,
      возможно,
                        спросите и обо мне...

— Правильно! В этом случае обязательно спросим! — кинул реплику другой голос, хилый, визгливый, но тоже мужской.

Маяковский славился остротой и находчивостью в полемике. Но тут, казалось, ему не захотелось быть находчивым и острым.

Еще больше нахмуря брови, он продолжал:

Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я ассенизатор
и водовоз...

— Правильно! Ассенизатор!

Маяковский выпятил грудь, боево, по старой привычке, засунул руки в карманы, но читать стал суше, монотонней, быстрей.

В рядах переговаривались.

Кто-то похрапывал, притворяясь спящим.

А когда Маяковский произнес: «Умри, мой стих...» — толстощекий студент с бородкой нагло гаркнул:

— Уже подох! Подох!

Так прошел в Институте имени Плеханова последний литературный вечер Маяковского. На нем была моя сестра. Домой она вернулась растерянная, огорченная.

Еще драматичнее было после премьеры «Клопа» у Мейерхольда. Жидкие аплодисменты. Актеры разбежались по уборным, чтобы спрятаться от Маяковского. Шныряли взглядами те, кто попадался ему на глаза. Напряженные, кислосладкие улыбки. От них и со стороны тошнило.

Словом, раскрылась обычная картина неуспеха.

А у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол «на сорок персон», как говорят лакеи.

Явилось же пять человек.

Среди них случайно оказалась актриса Художественного театра Ангелина Осиповна Степанова.

Ее увидал Маяковский в вестибюле и пригласил:

— Поедем ко мне выпить коньячку.

Отказаться было неловко.

За ужином он сидел во главе пустынного стола. Сидел и мрачно острил. Старался острить.

Непригодившиеся тридцать пять приборов были как покойники.

Встретив на другой день Николая Эрдмана, Ангелина Осиповна сказала ему:

— Это было очень страшно.

— Да. Вероятно. Не хотел бы я очутиться на вашем месте.

И на его тоже. На его и подавно.

Вот и не очень-то я удивился, когда узнал, что Маяковский выстрелил себе в сердце. Это не было для меня громом среди ясного неба. Какое уж там ясное!

В комнату вбежал Эмиль Кроткий. Он сжимал в кулачке обрывок корректурного листа.

— Вот!.. Вот!.. — задыхался сатирический поэт. — Вот!..

На обратной стороне грубой шершавой бумаги было что-то нацарапано карандашом.

— Заправь галстук за жилетку, Эмиль. И садись за стол. Суп мы уже съели. Начинай с котлет! — с деланой строгостью сказала жена Кроткого — Лика Стырская.

Росточка они оба были самого незначительного. Одинаковые. Ровненькие! Только он — в чем душа держится, а она — толстенькая. Описывать их возможно словами уменьшительными, которые я не люблю. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Эмиль, садись кушать котлеты, а то они остынут.

Он не слышал ее слов и не видел на обеденном столе большой черной сковородки с рублеными котлетами, поджаренными до цвета угля.

— Вот, товарищи, вот! — И над своей лысинкой поднял кулачок с обрывком корректурного листа: — Вот!..

И задохся:

— Предсмертное письмо Маяковского!

— Читай же, Эмиль! Читай! — воскликнула толстенькая Стырская. — Вы подумайте, прибежал с письмом Маяковского, с предсмертным письмом, и молчит. Какой эгоизм!

У нее, как у большинства женщин, было свое, особое представление о логике и справедливости.

Близорукий Кроткий сдернул пенсне с носа, похожего на серп молодого месяца.

— Господи, я умру от разрыва сердца прежде, чем он начнет читать! — опять вскрикнула толстенькая Стырская.

Кроткий сощурился и как-то страдальчески покрутил шеей — тонкой, как у гусенка, вылупившегося из яйца:

— Толя, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.

Я дал:

— Успокойтесь, Эмиль.

Он выпил весь стакан:

— Большое спасибо, Толя.

— Клянусь, я когда-нибудь его поколочу за эту вежливость! — продолжала горячиться Стырская.

— Помолчи хоть минутку, Лика!.. Читайте, Эмиль.

Он, задыхаясь, стал читать предсмертное письмо:

— *«Всем. В том, что умираю, не винить никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник ужасно этого не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.*

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят —
"инцидент исперчен"».

— Бедняга считал своей обязанностью и тут острить, — сказал я.

— Подождите, Толя.

Кроткий, все так же задыхаясь, прочел четверостишие из этого письма:

Любовная лодка
                    разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете,
                    и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.

— Все, Эмиль?

— Нет!.. «Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12-го апреля»...

Переспрашиваю:

— Когда?

— Двенадцатого.

— Значит, письмо написано за два дня до выстрела.

— Да. Об этом стоит призадуматься.

— Ия призадумался, Эмиль.

— Имеется еще приписка.

— Ну?

— «Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно — ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, что снял лозунг, надо бы доругаться. В. М.».

— Рапповцы, Ермилов... Ушел с дерьмом на подметках! — сказали.

— Пф-ф-ф! — сказал Кроткий. — «Моя семья... Вероника Витольдовна...»

И вторично прочел вслух:

— «Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и... Вероника Витольдовна Полонская»!.. Пф-ф-ф!

И едко усмехнулся.

Я подумал: «Ау Вероники Витольдовны имеется муж, которому она верна, по слухам. Не думаю, что такое завещание внесет мир в семью».

Словно прочитав мою мысль, Кроткий добавил:

— Вот, Толя, мы с вами и посплетничали. А ведь покойник этого «ужасно не любил».

— Что правда, то правда, — согласился я.

Маленький умный человечек схватил со стола вилку и всадил ее в котлету.

— Если хочешь кушать, Эмиль, сядьте за стол! — сказала толстенькая. — Нельзя всю жизнь обедать, расхаживая в комнате с вилкой в кулаке.

Он опять не услышал ее слов.

— Что такое сплетня, Эмиль? — литература, по существу, сплетня. Толстой про Анну Каренину, Достоевский про Настасью Филипповну, мы с вами про Веронику Витольдовну и Маяковского.

Задумчиво кивая, Эмиль откусывал кусок за куском от остывшей обугленной котлеты. А вилку он держал в кулачке, как железнодорожная сторожиха свою желтую палку.

— Согласны со мной, Эмиль?

— Почти, — меланхолически ответил он.

И положил вилку на круглый столик, что стоял перед тахтой, под сенью оранжевого абажура с золотой бахромой.

— В таком случае, Эмиль, будем продолжать. Полчаса тому назад мне рассказывал Качалов: сегодня Вероника Полонская опоздала на репетицию к Литовцевой. Та, конечно, накинулась на нее с криком: «Безобразие! Распущенность! Возмутительно!» — Полонская стала оправдываться: «Простите, Нина Николаевна. Только что застрелился Маяковский. Я прямо оттуда». И актриса осталась репетировать.

Кроткий взглянул на меня вытаращенными близорукими глазами и вдруг, по-женски всхлипнув, упал на тахту, носом в шелковую подушку, вышитую хризантемами.

Он еще со времен аверченковского «Сатирикона» знал Маяковского и, оказывается, очень любил его. Но хорошее чувство было тщательно спрятано под вечной иронией, этой неотвязчивой спутницей нашей среды.

Вероника Витольдовна Полонская вскорости развелась с мужем.

— Прелестно! — как-то сказал мне Кроткий. — Перед Маяковским Вероника Витольдовна устояла, а «воротничкам» сдалась.

Эти поэты из сатирических журналов все знают.

— Каким «воротничкам», Эмиль?

— Так называют в редакции ее нового мужа. Он, по слухам, бойко торгует в Столешниковом переулке воротничками собственного изделия. Да еще сто тысяч по займу выиграл. А ведь это делает человека неотразимо привлекательным в глазах женщины.

— О-о!.. Я уж давно заметил, Эмиль, что деньги — это не только прозаический расчет, но и секс.

Мой малюсенький собеседник оглянулся, нет ли супруги поблизости, и мечтательно вздохнул:

— Вот бы и мне сто тысяч выиграть!

Ему, как и всем нам, очень хотелось быть Дон Жуаном.

Эмиль Кроткий являлся блестящим эпиграммистом в пушкинской манере.

К примеру:

Он, убоясь последствий вредных,
Переменил на прозу стих, —

Вольтер для глупых, Франс для бедных
И Эренбург для остальных.

А толстенькая Лика Стырская пописывала стишки в таком роде:

У меня распущенные косы
И прехитрые цыганские глаза.
Я курю чужие папиросы
И в делах не смыслю ни аза.

Я не слишком люблю цитировать. Но когда сам мало знаешь, это бывает необходимо.

Начну с коротких выписок из стихотворения Маяковского, о котором в то время мы и понятия не имели:

Ты одна мне
ростом вровень,
Стань же рядом,
с бровью брови...

Дальше:

Иди сюда,
иди на перекресток
Моих больших
и неуклюжих рук...

И еще:

Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму,
одну,
или вдвоем с Парижем.

Стихотворение написано в ноябре 1928 года.

Ей было восемнадцать лет. Она жила, как вы уже поняли, в Париже. По словам Якобсона, друга Маяковского, Владимир Владимирович познакомился с ней в «докторской квартире».

Еще стихи. И даже «в изящном стиле». Так названы они автором.

Мы посылаем эти розы Вам,
чтоб жизнь
казалась в свете розовом.
Увянут розы...
А затем мы
к стопам повергнем
хризантемы.

Маркиз Якобсон сухо объясняет: «Уезжая из Парижа в Москву в начале декабря 1928 года, Маяковский принял меры, чтобы парижская оранжерея еженедельно посылала цветы...»

Дальше:

Дарю
моей
мои тома я.
Им
заменять
меня до мая.
А почему бы не до марта?
Мешает календарь и карта.

Это написано на первом томе «Собрания сочинений», только что вышедшем в Москве.

Дальше:

Второй. Надеюсь, третий том
снесем
собственноручно в дом.

А на четвертом томе со стихами Гражданской войны:

Со смыслом книга,
Да над ней
Клониться ль Тане кареокой...

И т. д.

Из Москвы Маяковский пишет ей:

«Письма такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому телеграммлю. Телеграфь, шли письма — вороха того и другого».

А в январе двадцать девятого:

«Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная».

«Сижу сиднем из боязни хоть на час опоздать с чтением твоих писем. Работать и ждать тебя — это единственная моя радость».

И — телеграммы, телеграммы, телеграммы:

«Очень затосковал»;

«Тоскую невероятно»;

«Абсолютно скучаю»;

«Тоскую по тебе совсем небывало»;

«По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а еще чаще».

И — опять же с образцовой профессорской сухостью Якобсон доводит до нашего сведения: в октябре человек «получит из Парижа письмо бесповоротно прощальное».

Дальше:

«Несколько месяцев пройдет, и жизнь поэта оборвется прежде, чем в Париже узнают от приезжих из Москвы, что в разрешении на визу за границу Маяковскому было в сентябре наотрез отказано».

Все.

Какая же «любовная лодка» разбилась? Явно их было две. А возможно — три.

Да и только ли разбились любовные лодки?

И все же выстрела Маяковского я не понимаю.

Не понимаю теперь. И не понимал тогда.

27

Иду по Невскому. День ясный. Прыгают воробьи. Так дошкольницы прыгают, играя в «классы».

Длинный золотой палец Адмиралтейства показывает путь в небо. А мне сегодня и на земле неплохо: только что я купил для своего Кирилки прелестную сучку-пойнтера. Какие уши! При насморке они вполне могут заменять ей носовые платки. Какой смеющийся, болтливый хвост! Прошу прощенья, собачники говорят не «хвост», а «прут».

Провозившись с сучкой часа два, я ее удочерил в своем сердце.

Хорошее отношение к собаке невольно перешло и на людей: улыбаюсь первым встречным. Они, вероятно, думают: «Не иначе как по займу, подлец, выиграл!» Ведь у нас слово «подлец» почти ласковое.

— Анатоль!..

Это меня окликает актер из Александринки, полуприятель.

Мы сворачиваем в скверик и останавливаемся возле вогнутого фронта морщинистых колонн Казанского собора. Кирилка когда-то называл его Казанским забором, и я не поправлял малыша, так как это довольно точно.

Актер целует меня. Все они поцелуйники. И гудит, словно из пустой бочки:

— Как жизнь молодая?

Такие голоса почему-то ценятся в театральном мирке. Даже Мейерхольд их ценил. Мой полуприятель плохо играл у него хорошие роли. А ведь Всеволод Эмильевич обладал изощренным вкусом и относился с надменной иронией к своему мирку.

— Эти... — говаривал он, — двухфамильные: Орлов-Чужбинин! Блюменталь-Тамарин! Коваль-Самборский!..

И брезгливо морщил сиранодебержераковский нос.

Или:

— Ужас! Среднего образования им не хватает! Вместо «и» — говорят «ы». Далекый, дикый, великый!.. А кто виноват?.. Малый театр! Перепортил он интеллигентную русскую речь!

Я защищаю Дом Щепкина:

— Перепортил не русскую речь, а санкт-петербургскую.

Серое облако с Финского залива закутывает солнце.

— Присядем, Анатолий.

— Пожалуй.

На скамейке расчихался старичок. У него в ушах ватка. Молодой командир неловко нянчит на руках плачущего младенца в голубом одеяльце. Шестилетняя девочка в больших металлических очках прыгает через веревочку. Скиснув, я мысленно спрашиваю: «Веселый пойнтерок, где ты?» Удрал, каналья, из моего сердца.

Старичок с ваткой в ушах, молодой командир с плачущим младенцем на руках, полуребенок в больших металлических очках — все они вызывают у меня грусть, как недобрая насмешка над человеком.

— Живет человек, живет и... в ящик! — продолжает гудеть актер. — И гений в ящик, и бездарь в ящик. Так сказать, на равных демократических началах. Экое хамство!

— Да кто умер-то? — спрашиваю я, поднимаясь со скамьи.

Он широко, как на сцене, разводит руками:

— Ка-а-ак! Ты не знаешь?.. Качалов помер.

У меня подкашиваются ноги. В самом прямом смысле слова — подкашиваются.

— Качалов?

— Нуда! Наш Василий Иванович!

Так называла его вся Россия.

Я знал, что Качалов лежал в Кремлевке с воспалением легких.

— Когда? Когда это случилось?

— Сегодня, в шесть тридцать утра.

— Кто тебе сообщил?

— Господи, да у нас весь театр только об этом и говорит. Все актрисы зареванные, артисты за помин души пьют. Пойдем, Анатоль, выпьем по стопочке.

— Нет, нет!

Этим гудящим актерам только бы случай подвернулся, за что им выпить.

Я спешу домой. У меня странно заплетаются ноги, словно несу очень тяжелый чемодан.

Никритина уже все знает. Я понимаю это по ее глазам — сухим, расширенным и опустевшим.

— Надо, Толя, дать телеграмму.

— Да.

— Напиши.

— Напиши ты.

— Я?..

— Будь добра. Не умею я этого делать.

Чего же тут не уметь? Ну, напиши так... молчит. Она тоже не знает, какие в эту минуту нужны слова.

— По-моему, Нюша, надо позвонить сначала в Москву. Пыжовой или Саррушке. А вдруг...

Спутница моей жизни безнадежно машет рукой:

— Сейчас в театре я подписалась под коллективной телеграммой. Какие уж тут могут быть «вдруг»?

И наконец-то вытирает пальцем первую скупую слезу.

Минут через десять междугородная соединяет меня с Пыжовой. В этот недомашний час она неожиданно оказывается дома.

— Ольга?.. Ты?.. Говорит Анатолий... Это верно, что...

Закончить фразу, слава богу, мне не пришлось.

— Да иди ты к чертовой маме!

— Нюша!.. Нюшка!.. — кричу я, захлебываясь от счастья.

— Ольга ругается!

— Что? Ругается?

— Ого!.. Как настоящая леди!

В сущности, это была цитата из Шекспира. Может быть, вы помните слова Генри Перси: «Выругайся, Кэт, хорошим крепким ругательством, как настоящая леди!»

— Дай, Длинный, трубку! Дай!

Передаю.

Вот что выясняется довольно быстро. Пыжову замучил проклятый телефон: дребезжит с самого раннего утра — разные москвичи задают тот же дурацкий вопрос: «Это верно, что...»

А Василий Иванович еще третьего дня перебрался из Кремлевки домой и сейчас с хохотом читает — телеграммы, телеграммы, телеграммы, выражающие соболезнования по поводу его «безвременной кончины».

Неясно только одно: каким образом вся наша немаленькая страна в течение нескольких часов узнала об этой качаловской «безвременной кончине»?

— Мистика! — говорит Никритина.

А разве не мистически путешествует анекдот? Сегодня, скажем, в полдень Ося Прут обмолвился им в киностудии, а к вечеру этот его анекдот уже гуляет по Ленинграду, Одессе, Киеву.

— Мистика! — отзываюсь я.

Примерно через неделю я был вызван в Москву Комитетом по делам искусств. Опять собрались запрещать мою пьесу. Скучная история, повторяющаяся из года в год. У чиновников комитета это называется: «Помогать драматургам в работе».

Приезжаю в Москву, устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и прежде комитета иду к Качаловым.

В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это всегда молодит.

От него пахнет крепким тройным одеколоном. Запах мужчины!

Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:

— Умерший тебя приветствует!

В углу на банкетке стоит большая именинная корзина из-под шампанского и фруктов, доверху наполненная телеграммами.

— А нашей здесь нет! — с гордостью говорю я. — Не поймал на удочку.

— Сорвался карась.

— Э, чего тут хвастать! Просто бездарен я в этом деле: не умею выражать соболезнования.

В кабинет входит Нина Николаевна.

— Да уж, конечно, — подергивает она плечиком, — если и по-настоящему умрешь, ты не пошевелишься подать телеграмму.

— Не пошевелюсь, Ниночка. Поэтому не умирай. Не советую.

— А я и не собираюсь, друг мой.

И, прихрамывая, она бегает вокруг письменного стола, что-то на ходу переставляя и перекладывая на нем, к огорчению хозяина. Но он мужественно это выдерживает.

Я спрашиваю Качалова:

— Что же все-таки было? Что за безвременная кончина?

— Была, Анатоль, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.

— Да ну тебя, Василий Иванович!

И Нина Николаевна, прихрамывая, выбегает из кабинета.

После завтрака мы с Качаловым отправляемся в Александровский сад.

Литовцева напутствует:

— Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!

— А носом можно?

— Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление легких схватишь. Ведь хуже ребенка малого! Еще начнешь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует. А ты, Василий Иванович, только слушай. Клянись!

— В чем, Нина?

— А в том, что ни разу не раскроешь рта.

— А если я задохнусь?

— Задыхайся на здоровье. Это тебе полезно.

От Брюсовского до Александровского сада рукой подать. Но мы идем долго. Через каждые десять шагов приходится минуту-другую постоять: Василий Иванович раскланивается, благодарит, отвечает рукопожатием на рукопожатие, поцелуем на поцелуй незнакомых людей, радующихся его воскресению из мертвых.

— Интересно, однако ж, кто первый этот слушок пустил? — любопытствую я.

— Артист, конечно! — благодушно отвечает Качалов.

— Похоже на то.

— Как-то, видишь ли, температура у меня упала до тридцати пяти градусов. Один артист узнал об этом от нашей

Нины. Побежал в пивнушку. А за столиком сидел второй артист. «Петенька, — кинулся к нему первый, — беда! Качалов отходит!» В Камергерском второй артист подлетел к третьему: «Коленька, друг, трагедия-то какая — Василий Иванович помер!» И пошло и поехало. Они ж знаменитые преувеличители, эти господа артисты.

— О-о-о! — обрадовался я. — Фантазеры, эффектеры!

Садимся на скамью.

Иссиня-черная ворона гаркает над нашими головами:

— Прра!.. Прра!.. Прра!..

— Слышишь, поэт, она говорит: «Пррравда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»

— Вот, Вася, и еще один артистический рассказ набежал.

— Что?

— Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу.

Качалов хохочет.

— Стоп! Стоп! — останавливаю я. — Тебе не разрешено рта раскрывать.

На кремлевской башне звенят черные куранты с золотыми прыгающими стрелками.

Моя мысль отвлекается к общему, и я сетую:

— Ох и подозрительная наука!

— Ты это про что, Анатоль?

— Да про историю. Она так же треплется, как товарищи актеры.

— История?

— Да, история. «Историческая наука». Наивные легковерные люди так ее называют.

— Треплется, говоришь?

— Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.

— К примеру, синьор?

— Ну, хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте — в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы, то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всем мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?

— Нет, не возражаю.

— Да уж ты мне, Вася, поверь: болтливая старуха — история мало чем отличается от актеров, только что тебя похоронивших.

Качалов умел великолепно слушать. Для больших артистов это так же обязательно, как великолепно говорить. Только еще трудней.

28

Шла финская война. По улицам Ленинграда люди ходили ссутулившись, как во время сильного дождя. С вечера город погружался в раздражающий мрак.

— К тебе можно, папа?

— Конечно.

Кирка входит, целует меня в затылок, берет газету, берет со стола папиросу, закуривает и садится на низкую скамейку возле потрескивающего камина. Это теперь его любимое место.

— Что скажешь. Кирка?

— Да все то же, папа.

— А именно?

— Война.

— Ну?

— Она, папа, действует мне на нервы. Словно кто-то омерзительно скребет ногтем по стеклу. Так бы и дал в морду: не воюй!

— Ну и дай.

— Кому?

— Человечеству, которое еще не поумнело, хотя и живет на этом комочке грязи не первую тысячу лет.

— К сожалению, папа, я не Бернард Шоу.

— Неужели?

— Да и он только гладит по щекам, а не бьет по физиономии.

Кирка глубоко затягивается:

— Валя мне не звонила по телефону?

— Нет.

Он бросает окурок в камин:

— Может быть, Шура подходила к телефону?

И кричит:

— Шура-а-а!.. Валечка мне не звонила?

— Не-е-ет!

Между его бровей ложится тоненькая морщинка.

— Тебя, Кирюха, это волнует?

— Как будто.

— Тогда позвони ты Валечке.

— Не желаю.

Со двора раздается резкий дребезжащий свисток.

— Это, пожалуй, нам свистят, — говорит он. — Шторы плохо задернуты. В наш век мир предпочитает темноту.

И, задернув поплотней шторы, он добавляет:

— Мы потерянное поколение, папа.

— А уж это литературщина. Терпеть ее не могу.

И добавляю:

— Бодрей, Кирюха, бодрей. Держи хвост пистолетом.

4 марта Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный.

Родился Кира 10 июля 23-го года.

В 40-м, когда это случилось, он был в девятом классе.

На его письменном столе, среди блокнотов и записных книжек, я нашел посмертное письмецо:

Дорогие папка и мамка!
Я думал сделать это давно
Целую.

Кира

В глубокой старости благополучнейший Гете сказал, что за свою длинную жизнь он, в общем счете, был счастлив не больше пятнадцати минут.

Моя жизнь не так уж благополучна. Но счастлив я был больше пятнадцати минут. Однако ни разу не мог сказать: «Сегодня я самый счастливый человек на земле!»

А вот в страшные мартовские дни я был убежден, что среди миллиардов людей, населяющих землю, я самый несчастный человек.

В том же, конечно, была уверена и мать Киры.

Друг мой, живу, как во сне
Не разговаривай строго
Вот бы поверить мне
В этого глупого бога!

Все время вспоминаю разговор с Ольгой Ивановной Пыжовой о счастье:

— Вот оно, вот оно и... нет его!

Из Киркиных записных книжек, тетрадей и блокнотов. Почти без выбора

«Поздно вечером я возвращался домой. На дворе, прислонившись к стене, стоял пьяный. Он был маленький, лысый. Рядом в грязи валялась его шапка. Пьяный стоял и

плакал. К нему подошел мальчишка и ударил его по лицу. За что? Так. Пьяный плакал. Он чувствовал, что его жизнь горька, как дешевая папироса. Он побежал за мальчишкой. Другой мальчишка дал пьяному подножку и тоже ударил его. Пьяный упал в лужу. Стукнулся головой об асфальт.

Мне показалось, что люди все-таки очень жестоки».

* * *

«Я занимаюсь с немкой. У нее серые грязные волосы и нависшие брови. Она побывала в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Риме. Даже в Шанхае. А сидит и рассказывает мне старые сентиментальные истории из учебника немецкого языка».

* * *

«Будущее поэзии, если у нее вообще есть будущее, заключается в коротких лирических стихах, которые можно будет успеть прочитать, стоя в небольшой очереди за хлебом».

* * *

«Не надо употреблять слов «всегда» и «никогда». За них мы не можем ручаться».

* * *

Давно забытое свиданье,
Многоречивое прощанье
В нас вызывают легкий шум,
Приподнятую цельность дум,
Скептическое замечанье.

* * *

«Я сижу один, и мне хочется, чтобы кто-нибудь позвонил, поздравил с Новым годом. Зачем скрывать? Именно, чтобы она позвонила и сказала издалека: «Киру можно?» В эту минуту я слышу телефонный звонок. Я бегу, перескакиваю через

тахту и хватаю трубку. «Алло!.. Киру можно?» — «Это я... Кира!» — «Не Киру, а Шуру...»

Шура — наша домработница».

* * *

«Слово «грусть» вызывает у меня тошноту. Всякий дрянной поэтишка, недалекий составитель романсов, глупый человечек стараются скрыть недостаток мыслей и чувств словом “грусть"».

* * *

«Секрет театральности Шекспира в том, что он своими метафорами, рассуждениями и мыслями не тормозит развития пьесы, а наоборот — ускоряет».

* * *

«На ночь приходили меня целовать папа и мама. Сначала целовал папа, и обязательно в лоб, потом мама — в щеки и губы. Мама целовала так, как будто прощалась надолго и не могла насмотреться».

* * *

«Я хочу, чтобы Валя была около меня, и чтобы она любила меня. А если нет, то и не надо, можно и так».

* * *

«Презирал, любил, ненавидел, возмущался, восторгался, и это — в течение одного какого-нибудь дня, даже в течение часа».

* * *

«Иногда мне кажется, что я неспособен чувствовать. Всякое возникающее во мне чувство я стараюсь проанализировать, разобрать по винтикам, и оно делается каким-то мелочно-ничтожным».

* * *

«Им нравились фотографические карточки, где они совершенно не были похожи на себя. Эти карточки награждали их чертами, которых у них не было, и они начинали верить в них, воображать, что они действительно ими обладают».

* * *

«Я все время думаю о ней, а о чем она сейчас думает? Вдруг она сейчас с кем-нибудь танцует? Вдруг кто-нибудь обнимает сейчас ее? А? Нет, не может быть, она, наверно, с родителями».

* * *

«По-моему, я довольно мелкими шагами иду к славе. Но мне еще мало лет.

Успеется».

* * *

«Женщина вспоминает дни, которые ушли. Она видит их перед собой такими, какими они были, с той разницей, что в хороших днях она опускает плохие мелочи, а в плохих днях — хорошие».

* * *

«А вдруг я бездарный? Вдруг я действительно бездарный? Вдруг все мечты разлетятся? Нет, этого не может быть. А вдруг?..

И это «вдруг» растет, увеличивается, делается совершенно вероятным и отчетливым. Кажется, что оно-то и случится в жизни. Ну нет! Тогда я покончу самоубийством. Но я чувствую, что это самоубийство — сплошная литература и никогда я не сделаю этого. Становится совсем тяжело. Неужели даже наедине не можешь быть искренним? Нет, не могу. Я

могу быть искренним, когда говорю с другими. Тогда это у меня получается. А наедине ничего не выходит».

* * *

«В самой философствующей пьесе, то есть в «Гамлете», действия не меньше, чем в любом авантюрном романе».

* * *

«Когда ей исполнилось шестнадцать лет, какая-то чертова сила потянула ее к мужчине. Сначала ей нравилось разговаривать с ними, потом ей стало нравиться сидеть с ними рядом, потом она стала прижиматься к ним, а потом она уже захотела, чтобы ее обнимали».

* * *

«Оставляя две копейки на стеклянной тарелочке кассы, они уходят с таким видом, будто подарили сто рублей».

* * *

«Я ехал в Москву и оттуда в Крым в Коктебель. Я очутился на верхней полке и смотрел на женщину, которая сидела против меня на нижней полке. У нее были красивые ноги и узкий носок туфли. Как я понял из разговора, она была актрисой Камерного театра. К ней подошел мужчина, помоему, тоже актер, и сказал, что купил консервы и что везет их домой. Женщина запрыгала вокруг него, запищала и очень неуклюже старалась изобразить маленькую девочку, как это любят делать многие женщины. Мужчина растерялся, начал заискивающе улыбаться и отдал ей одну банку. Она заплатила ему за нее, долго роясь в сумочке. Мужчина взял деньги, сначала отказываясь, хотя протянутая рука сразу выдала его. Видно было, что они небогаты. Мужчина долго еще говорил о консервах, о том, как ему удалось достать эти несколько банок, как он рад, что везет их домой.

Я улыбнулся.

Потом еще долго не мог заснуть. Мне почему-то жалко было этого актера с его консервами».

* * *

«Очень часто героем романа является идея автора».

* * *

«Она смотрелась в каждое оконное стекло и перед каждым стеклом поправляла шапочку и подслюнявливала брови. А когда проходила мимо подвальных стекол, любовалась своими ногами. Нечто вроде болезни: постоянное желание видеть себя. Она смотрелась даже в чайник, в кастрюлю, в полированную поверхность буфета, шкафа и столов из красного дерева. Всюду, где можно было увидеть собственное отражение. А своей тени она боялась, потому что думала: «Тень делает меня смешной»».

* * *

«Конечно, неприятно сознавать, что вы уйдете, исчезнете, провалитесь в ничто, а ваши знакомые будут есть, спать, целоваться, стонать, веселиться, грустить и говорить фразы. Но что делать! Мы — только люди, то есть высшие животные класса млекопитающих».

* * *

«Преклоняйтесь перед «Гамлетом». Лучшего создать невозможно».

* * *

«Мы с ней шли под руку по только что выпавшему снегу, и он хрустел под нашими ногами, как огурец».

* * *

«Он мог бы сказать: «Я родился случайно, как плохой сюрприз недоумевавшей матери. Никто не ждал его, никому

он был не нужен, а только мешал. Он старил уже состарившуюся женщину и неприятно тревожил спокойного мужчину — своего отца»».

«Иметь дело с женщиной — иногда счастье, с двумя — сущее бедствие».

* * *

«Она говорила, что Мопассан — хороший писатель, и при этом хитро посматривала. Говорила, что Шекспир — великий, что Байрон — гений, что Пушкин — замечательный. Но стихов не любила, считая, что предложения в них составлены неправильно.

Она была такой же, как все, говорила то же, что все, и совсем не была повинна в этом».

* * *

«Я хотел бы положить голову к ней на колени и лежать так. А ведь больше всего не люблю сентиментальность».

* * *

«Годы, как столбы, ужасно похожи один на другой, хотя некоторые бывают и повыше.

В этом году я ехал в Москву один, в этом году я стоял на площадке до часу ночи, в этом году я курил папиросу.

Этот год был немного повыше. Я чувствовал себя взрослым, и от этого чувства я понимал, что еще ребенок».

Кире казалось, что он похож на Байрона. Он и в самом деле был несколько похож на него, но гораздо больше на мать, хотя и без ее «мартышкости».

А чтобы сильней подчеркнуть приятное сходство с автором «Чайльд Гарольда», он носил отложные белые воротнички наружу, а не внутрь — под тужурку.

И тормошил темные волнистые волосы, чтобы они были еще волнистей.

Фигурка же у него была моя: безбедрая, тонкая, прямая. Но я длинный, а он, вероятно, был бы чуть повыше среднего роста. Впрочем, ребята очень вытягиваются после шестнадцати лет.

Сейчас проклинаю свою идиотскую, слюнявую интеллигентность. Так называемую интеллигентность.

Ведь я не только никогда не позволял себе войти в Кирину комнату без стука или порыться в ящиках его письменного стола, но даже не заглядывал в тетради-дневнички, если они лежали, по случайности, раскрытыми.

То, что он писал роман, писал короткие рассказы, стихи, «мысли», драму («Робеспьер»), явилось для меня полнейшей неожиданностью.

А работал он много, тщательно, со многими черновиками и вариантами, кропотливо отделывая фразу, подыскивая то единственное слово, сплошь и рядом коварно ускользающее, без которого фраза неточна или мертва.

Для каждого человека своего будущего романа у Киры имелась тетрадь с подбором поступков, выражений, черточек характера и бытовых деталей. На полях то и дело стояло: «Мало мелочей!», «Больше мелочей!».

До сих пор я не могу понять, где он брал время на такую работу. Школа, теннис (зимой тренировался на закрытом корте), немка, англичанка, француженка, которая у него сидела по два, по три часа. Наконец, театр, кино и шумная ватага веселых друзей, являвшихся к нему поздним вечером. Вероятно, мальчуган очень мало спал.

Среди его рукописей я обнаружил и новеллу, страшную новеллу о том, что он сделал. С философией этого, с психологическим анализом, с мучительно-точным описанием — как это делают.

Боже мой, почему я не прочел эти страшные страницы прежде? Вовремя?

Уберечь можно. Можно! Ему же и семнадцати еще не исполнилось. Впрочем, в Древнем Риме мужскую тогу надевали даже несколько раньше.

Тропинка ль, берег, подойду к окну ли,
Лежу, стою...
Вот, милая, и протолкнули
Мы жизнь свою.

Отцы, матери, умоляю вас: читайте дневники ваших детей, письма к ним, записочки, прислушивайтесь к их телефонным разговорам, входите в комнату без стука, ройтесь в ящиках, шкатулочках, сундучках. Умоляю: не будьте жалкими, трусливыми «интеллигентами»! Не бойтесь презрительной фразы вашего сына или дочери: «Ты что — шпионишь за мной?»

Это шпионство святое.

И еще: никогда не забывайте, что дети очень скрытны, закрыты. Закрыты хитро, тонко, умело, упрямо. И особенно — для родителей. Даже если они дружат с ними. Почему закрыты? Да потому, что они — дети, а мы — взрослые. Два мира. Причем взрослый мир при всяком удобном и неудобном случае говорит: «Я большой, я умней тебя». А малый мир в этом сомневается. И порой довольно справедливо сомневается.

Перед тем как это сделать, Кира позвонил ей по телефону.

Они встретились на Кирочной, где мы жили, и долго ходили по затемненной улице туда и обратно. И он сказал ей, что сейчас это сделает. А она, поверив, отпустила его одного. Только позвонила к его другу — к Рокфеллеру. Тот сразу прибежал. Но было уже поздно.

Домработница Шура в это время собирала к ужину. А мы отправились «прошвырнуться».

«Прошвырнулись» до Невского. Думали повернуть обратно, но потом захотелось «еще квартальчик».

Была звездная безветренная ночь. Мороз не сильный.

Этот «квартальчик» все и решил. Мы тоже опоздали. Всего на несколько минут.

Многие спрашивали:

— Кира это сделал из-за той девчонки?

— Нет, нет!

Вообще, мне кажется, что человек не уходит самовольно из жизни из-за чего-то одного. Почти всегда существует страшный круг, смыкающийся постепенно.

— Это ужасно! — говорит человек сам себе.

— И это ужасно.

— И это.

— И это.

И стреляет себе в сердце, принимает яд или накидывает петлю.

Не слишком задумывающиеся люди принимают за причину наиболее доступное их пониманию «это». Причем особенно для них убедительно, я даже решусь сказать — привлекательно: человек убил себя из-за любви.

Могут ли теперь мои стихи быть веселыми?

НИКРИТИНОЙ

С тобою, нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.

29

Война. Немцы в бинокль видели золотой купол московской колокольни Ивана Великого и без бинокля — простым глазом — Адмиралтейскую иглу, сверкающую над Ленинградом. Они взбирались на Машук, пытались лечить свои сифи-

лисы в Пятигорске, валялись на ялтинском пляже и мыли в Волге свои мотоциклы. А сегодня мы их моем в Эльбе.

Это — ход истории. Кстати, довольно банальный ход.

Пожалуй, на острове Св. Елены подобная мысль и Наполеону приходила в голову. А раньше того — шведскому королю Карлу XII, ускакавшему из России в Турцию верхом на лошади.

А может быть, эта мысль и не приходила? Вероятно, и Наполеону, и Карлу XII не приходила. Ведь головы-то у них были генеральские. Наполеон, вероятно, наморщив свой лысый лоб, тяжело думал: «Если бы я при Ватерлоо бросил гвардию на левый фланг» и т. д. А Карл XII грыз самого себя: «Черт побери, дернуло ж меня при Полтаве...» и т. д. Какой идиотизм!

Голова Адольфа Гитлера меня не интересует.

Вернувшись из эвакуации, Василий Иванович Качалов зашел ко мне в номер гостиницы «Москва»:

— По стихам, Толя, соскучился. Новенькие имеются?

— Имеются...

— Не почитаешь ли?

— С удовольствием.

По своей всегдашней манере он подпер ладонями гладко выбритые скулы. В тот день я бы не сказал, что они выутюжены горячим утюгом. Война, эвакуация, повторяющееся и повторяющееся воспаление легких — плохой утюг, плохой массаж лица.

Перед тем как заняться стихами, мы, разумеется, поговорили о наших победах на фронте.

Отлично понимая всю необходимость этой кровавой драмы, радуясь сокрушению мерзкого фашизма, я относился к существованию войны в моем веке с неиссякаемой ненавистью, кровно унаследованной от покойного отца. Вообще, не-

вольно приглядываясь и прислушиваясь к себе, то и дело я замечал срывающиеся у меня с языка отцовские словечки, любимую его поговорку, его привычные жесты.

Это прекрасно, что ушедший человек продолжает удивительно жить в оставшемся на земле. Продолжает жить, скажем, в цвете глаз своего сына, а потом внука, в зализах на лбу, в сорок втором номере ботинок. И в мыслях, и в страстях, и во вкусе. И бог ты мой, как грустно, если человек наперед знает, что ему не в ком жить после своего ухода. Я и врагу своему не пожелаю этого,

— Ну-с, товарищ стихотворец, начали.

Читаю:

От свиста этого меча
Потух
Мой дух,
Как в сквозняке свеча.
Осталось стеариновое тело,
Которому ни до чего нет дела.

— Следующее.

Читаю:

Наш век мне кажется смешным немножко,
Когда кончается бомбежка.

— Следующее.

— «Войне».

Давайте так условимся, мадам;
Свою вам жизнь, извольте, я отдам.
Но руку — нет, простите, не подам.
Пусть нас рассудит время и потомство
С убийцами я не веду знакомства.

— Следующее!

Когда война легла,
Как мгла,
Когда легла на век мой тенью,
Прилично опоздав,
И я пришел к высокому презренью.

— Следующее.

— «Эй, человек!..»
И человек летит со счетом.
И человеку платит этот век
С широкой щедростью из пулемета.

— Следующее.
— Неужели?
— Всенепременно.

— Ив этот мрак
Живи!
Живи, дурак.

— Следующее.
— Есть!

Последнее. Я ставлю душу. Ну!
Тасуй-ка и сдавай, насмешливый партнер.
Так... Потяну... Еще... Еще одну...
Довольно. Хватит. Перебор.
Черт побери, какое невезенье!
Я рву и комкаю крапленые листы.
Вот так игралось и продулось ты,
Мое шизофреническое поколенье.

— Следующее.
Читаю:

Мир в затемненьи.
Черное в окне.
И жизнь моя напоминает мне
Обед, что получаю по талону.
Из милости дарованный обед.
К нему, признаюсь, вкуса нет.

— Следующее.

— «Понять — простить...» Но я не внемлю.
Бог не дал мне тишайших сил.
Я понял все. И не простил
Мою запятнанную землю.
Так не простил бы я жену,
Мне изменившую однажды.
Так не прощаю я войну
С ее неукротимой жаждой.

— Следующее.
— Не хватит ли?
— Читай и не разговаривай.

— Вот эти горькие слова:
Живут писатели в гостинице «Москва»,
Окружены официанской службой,
Любовью без любви и дружбою без дружбы.
А чтоб витать под облаками,
Закусывают водку балыками.

— Следующее, — приказывает величайший из стихолюбов.

А ну — со смертью будем храбры!
Ведь все равно возьмет за жабры.

После чего он вытащил из наружного кармана пиджака вечное перо, а из внутреннего — записную книжку в темно-синем переплете, перепоясанную резинкой.

— Диктуй.

— Все? Подряд?

— Конечно.

Я повиновался.

Он снял резинку, старательно записал стихи и сказал:

— Стало быть: «А ну — со смертью будем храбры...» Что ж, попробуем.

— Что попробуем?

— Да вот... быть храбрым с ней.

— Не дури, Вася.

Опять перепоясав резинкой книжку, он бережно ее спрятал.

— Представь, мой друг, я только сегодня узнал, что умер Шершеневич. Где-то у черта на куличках.

— В Барнауле, — подтвердил я. — Он туда эвакуировался из Москвы. Вместе с Камерным театром.

— Да. Таиров с Алисой его и похоронили.

— Почему «Таиров с Алисой»? Его хоронили все камерники.

Качалов повертел в пальцах вечное перо, как на сцене вертел карандаш, играя Ведущего в толстовском «Воскресении».

— Алиса сказала: «Бедный Дима ужасно не хотел умирать. Он очень любил жизнь».

— Да. Очень.

— Я тоже ее очень люблю, — тихо признался Качалов. — И тоже, вероятно, ужасно не захочу умирать.

Надо было чуть пошутить.

— А тебе, Вася, и не придется. Ты уже бессмертен.

— Нуда, бессмертен! Бессмертны, дружище, только граммофонные пластинки, которые третьего дня я гнусно наговорил. И голос-то на пластинках будто не мой, а из пустой бочки. Голос огромной пустой бочки.

Мне это понравилось — «голос бочки».

Василий Иванович в редчайших случаях был доволен собой. «Да нет, друзья мои, я сегодня паршиво играл», — частенько жаловался он без всякого кокетства.

Шершеневич не выходил из головы.

— И умер-то он непонятно. От какого-то «милиарного туберкулеза».

Качалов широко развел руками. У него и в жизни были крупные жесты. Редкие, но крупные.

— Туберкулез и Шершеневич. Не укладывается это в мозгу. Не вяжется одно с другим.

— Да. Не вяжется, — коротко ответил я.

Мне всегда было стыдно говорить высокие слова. Но иногда хотелось. И тогда я говорил пышно. Конечно, так, в уме говорил, а не вслух. И сейчас захотелось поговорить пышно. И я произнес в уме: «Шершеневич был похож на свой портрет, высеченный из камня. На портрет в римском стиле императорской эпохи».

— Туберкулез и... Шершеневич! — повторил Качалов.

Он любил повторять слова, фразы. Думается, это было в актерской природе — от привычной работы над ролью.

— Шершеневич умер от туберкулеза. Черт знает, что!

— Лечили от одного, — сказал я, — а умер он от другого.

— Неужели? Вот негодяи!

— Это частенько случается. Лечат, скажем, от вирусного гриппа, оказывается рак. Диму лечили от тифа, а умер он от милиарного!

— Эскулапы!.. А знаешь, мой друг, чем теперь меня спасают? — усмехнулся Качалов. — Мочой беременной женщины.

— Ого!

— В задницу эту мочу каждый день впрыскивают.

— От какой же болезни?

— От всех сразу.

И он назвал имя модного врача, который в те годы лечил этим могучим средством самых знаменитых в Москве людей.

— Вот шарлатан! — воскликнул я.

— Нуда.

— Для чего же, Вася, ты позволяешь дурачить себя?

— А я, видишь ли, друг мой, люблю шарлатанов. Я их и в театре люблю.

Он не назвал имен, но я сразу понял, в чей огород камушек.

— Ив жизни люблю шарлатанов. Они талантливые. А вот всякие там академики...

Качалов махнул рукой.

— До революции у врачей одно верное средство было. Здорово помогало!

— Какое ж это?

— Сюртук! Придет эдакий важный дядя в черном сюртуке ниже колен, от хорошего портного...

Я грустно улыбнулся, вспомнив врача, который лечил покойную маму.

— Придет, пощупает пульс с серьезной рожей. И сразу тебе лучше. Даже температура у меня спадала. Честное слово! От этих сюртуков я и при воспалении легких быстро выздоравливал. Не то что теперь. То и дело по месяцу и больше в Кремлевке валяюсь.

Он снова завертел в пальцах вечное перо:

— Стало быть, друг мой...

Испугавшись, что гость опять процитирует мое злосчастное двустишие, я попытался перевести разговор:

— В двадцатых годах Шершеневич работал вместе с Таировым. Ведал у него в театре литературой, и на приемных экзаменах в студию сидел по левую руку от Александра Яковлевича. Экзаменующиеся мальчики и девочки с косичками это сразу учли: «Имеет-де вес...»

— Еще бы! Они смекалистые, эти мальчики и девочки.

— И вот все как один, — сказал я, — перед экзаменационным столом читали нараспев:

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез, —
А мне бы только любви немножечко
Да десятка два папирос...

Василий Иванович тут же продолжил своим зачаровывающим голосом знаменитое стихотворение Шершеневича:

А мне бы только любви вот столечко,
Без истерик, без клятв, без тревог,
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног.

Ах, Шершеневич, Шершеневич!..

И мы оба с нежностью посмеялись над лирикой тех неповторимых лет.

После чего Качалов вскинул правую бровь. Так была она вскинута у него в «Анатэме» Леонида Андреева. Эту роль он играл «потрясающе!», как говорят нынешние театралы. Качаловская «Анатэма» живет и поныне в моем воображении. Живет прочно. Словно с этим хозяином преисподней я знаком ближайшим образом. Даже лучше, чем со Спасителем Леонардо из «Тайной вечери».

— А какой был блестящий оратор Вадим Габриэлевич! — сказал Качалов.

— Ого!

— Я, собственно, лучшего не слышал.

— Да, лихо говорил.

— Как Бог!

Другие в Москве называли Шершеневича: «Этот имажинистский Цицерон».

Качалов опять развел руками:

— И вот закопали Вадима Габриэлевича. У черта на куличках закопали. В барнаульской яме.

Как будто лучше и легче, когда нас закапывают в московских и ленинградских ямах.

— Стало быть, друг мой...

— А у тебя, Вася, еще имеется монокль в жилетном кармашке? — спросил я, чтобы отвлечь своего гостя от проклятой цитаты.

Со стеклышком в глазу вернулся Качалов в Советскую Россию из заграничного турне по Европе и Америке.

— Имеется. А как же!

— Вставь, пожалуйста. Поучиться хочу. Противно стариковские очки на нос надевать. А уж пора.

— Эх ты, денди!

И он, элегантно подбросив стеклышко, вынутое двумя пальцами из жилетного кармашка, поймал его глазом.

— Блеск!..

Качалов опять поднял бровь. Стало ясным, что все мои старания напрасны — от разговора о гибелях не убежать.

— А Николай Церетелли?.. Почему же ты молчишь про Церетелли? Алиса сказала, что он скончался у вас в Вятке.

Я кивнул.

Подобно Никритиной, Церетелли ушел из Камерного театра. И тоже в Ленинград. Нюша поступила в БДТ, а Николай — в «Комедию» к Акимову.

— Замечательный артист скончался. — Качалов вздохнул. — Какой великолепный был Король-Арлекин! А какой Мараскин в «Жирофле-Жирофля»! Мне так двигаться и во сне не снилось.

— Ты же, Вася, «Гамлета» играл да Ивана Карамазова, а не у Таирова в оперетке.

— А что? Я бы с удовольствием и в оперетке потанцевал. Это тоже прямое наше дело. Комедиантское дело. Но вот Господь не дал этого таланта.

— Обидел тебя Господь. Обошел талантом.

— Серьезно.

Я взглянул на него искоса. Он действительно говорил серьезно.

Впрочем, Николай Церетелли в самом деле двигался по сценической площадке необыкновенно. Я об этом и раньше упоминал. А сейчас мне снова захотелось сказать пышно. И я сказал. Разумеется, в уме. «Молодым оленям, — сказал я, — следовало бы поучиться у Церетелли красоте движения».

— Как же он попал к вам в Вятку? Эвакуировался? — спросил Качалов. — Из голодного Ленинграда эвакуировался?

— Да. С акимовской «Комедией». Мы с Нюшей встречали их на вокзале. Все артисты выходили из вагонов сами. Серые, как тени. Пиджаки висели на их плечах, как на слишком маленьких вешалках. Но все-таки, повторяю, все выходили из вагонов сами. А Церетелли, одного Церетелли, вынесли на носилках. Он уже не мог ходить. Он лежал на спине, подложив правую руку под голову, а изо рта у него торчал кусок бутерброда с вареной колбасой. Это было очень страшно.

— Представляю себе, — промолвил Качалов.

— На другой день мы с Никритиной навестили Церетелли. «Теперь, Николаша, — сказал я, — на наших вятских хлебах ты начнешь сразу поправляться». Он попытался ответить с улыбкой: «Нет, не начну. Уже поздно. Финита ля комедия». Я, конечно, что-то сказал. То, что все говорят в таких случаях. А Нюша положила плитку шоколада на больничную тумбочку. В ногах его койки стояла немолодая нянечка в больших металлических очках на совершенно круглой розовой картошке, зажатой скулами. «Нет, нет! Примите-ка свой гостинец, — распорядилась она. — Примите, примите. Имям нельзя кушать. Имям полную ночь худо было. Очинно, значится, тошнило. Имям, как воробью, дозволено кушать — по зернышку, по крупиночке. А в поезде-то колбасу поднесли.

Это после страшного-то голода в блокаде. Вот какие у вас некультурные люди. Да разве имям можно колбасу? Примите, примите, гражданочка, свою конфетинку». Нянечка скомандовала это на чистом вятском языке, везде говоря «имям» вместо «им». Коренных вятичей мы так и называли: «имямы» да «имямки», а хорошеньких — «имямочками». Церетелли опять попытался сказать с улыбкой: «Финита ля комедия». А я опять попытался возразить ему, как это делают почти все в таких случаях. Тогда он вытащил из-под одеяла руку, закатал рукав больничной рубахи со штемпелями и показал нам эту свою руку. Право, я никогда не видел ничего более страшного. Это была голая тонкая кость, обтянутая темным старым пергаментом. И ничего больше. Ничего, кроме кости и пергамента. «Теперь, Анатоль, ты понимаешь, почему — финита ля комедия? Скелеты не возвращаются к жизни. Так ведь, нянечка?» Хорошая женщина только поправила очки на носу. Она еще не научилась врать, как полагается медицинскому персоналу. Да и всем интеллигентным людям. Само собой, мы навещали Церетелли ежедневно, иногда перешагивая через трупы, которые лежали прямо на полу в длинных коридорах. Но в конце недели неожиданно (все-таки неожиданно!) — нашли на койке Николая Михайловича другой ленинградский скелет. Вот, Вася, вот, дорогой, как дело было.

Я закурил.

А Качалов только сказал:

— Н-н-да, финита ля комедия.

30

Меня не слишком интересовали Ершов, изображающий князя Нехлюдова, и Еланская в арестантском халате Катюши Масловой. Бог с ними!

В третий раз я пришел на «Воскресение» в Художественный театр ради Толстого. Ради странного Льва Николаевича:

без толстовки, без седой раскольничьей бороды, без библейской пророческой лысины, без длинноволосых грозных бровей над пронизывающими маленькими глазами.

Бывший настоящий граф (как сказали бы нынче) и ростом не вышел. Дубовое жилище его, как известно, было длиною в два аршина девять вершков. И говорил он жиденьким теноровым голосом. Яснополянская старушка крестьянка так про него говорила: «Он при жизни-то, последние годы, такой был худенький да маленький. В чем душа держалась. Износил он тело-то свое здесь, на земле».

И добавляла в утешение: «А там оно ему не понадобится».

А Лев Толстой Художественного театра был высок, красив, брит, золотисто-рыжеват, с нечетким пробором. И очень элегантен в мягкой домашней куртке. Аристократические пальцы с изящной небрежностью играли тонким длинным карандашом, искусно отточенным. И говорил он покоряющим голосом. Россия, Европа и Америка называли его «органом», «совершенным органом». И уж нисколько, разумеется, не пришептывал, подобно Саваофу, у которого, по свидетельству Гольденвейзера, слово «лучше» звучало как «лутце». А слова «первый», «зеркало» произносил: «перьвый», «зерькало»; «скрипку» называл «скрыпкой», а вместо «три рубля» — говорил: «три рубли». И т. д.

Впрочем, я считаю, что это страшное и губительное для актера дело — владеть «совершенным органом». И еще губительней говорить «совершенно правильно».

Вспоминаю замечательного Певцова. Он был заикой. Вспоминаю Горина-Горяинова, неповторимого и в драме, и в комедии. Он был шепелявым. А Михаил Чехов! Право, его бы никогда не взяли в протодиаконы, даже в наш пензенский кафедральный собор. Куда там!

Признаюсь, еще я очень люблю, когда среднехорошие актеры играют больными. То ли у них несмыкание связок, то ли

трахеит, то ли попросту «голос сел», потому что наглотались ледяного пива или перекричали, играя Шиллера. До чего же они тогда делаются на сцене человечными — говорят тихо, сдержанно, умно.

К сожалению, это бывает не часто — не часто они играют больными.

Итак: все было не то у Качалова — мхатовского Льва Толстого. И голос не тот, и лицо, и рост, и жест, и костюм.

Этому ли мхатовскому Толстому валить на себя шкап, делая несвойственную годам гимнастику, а потом записывать в дневнике: «То-то дурень!»

Не тот как будто!

Не то, право!

А был он — тот. Именно — тот. И все это было то, потому что главное, самое главное — было то! Мысли Толстого стали мыслями Качалова. Толстовская душа — качаловской душой.

Душа, сердце... Эти слова всякий раз мне писать неловко. Какие-то сладенькие они! Лет через сто, думается, они станут совсем старомодными. Как в городе лошадь.

Когда Качалов вышел на сцену, весь театр встал и с умилением несколько минут бил в ладоши. А не вовремя бить в ладоши в этом театре запрещалось. К несчастью, тот, кто запрещал, окончательно успокоился, отволновался, отзапрещался.

Во время войны МХАТ играл в Куйбышеве. Артисты тогда любили говорить: «Вот прилетит сюда немец, бросит на нас бомбу и — здравствуйте, Константин Сергеевич!»

Есть такое выражение: актерское чудо.

Я в своей жизни не много их видел: Михаил Чехов — Хлестаков, Хмелев — Каренин, Певцов — император Павел, Качалов — Иван Карамазов, Качалов — Карено, Качалов — Барон из «На дне», Качалов — Лев Толстой (по ремарке инсценировщика — Ведущий). Всякий раз это было актерское чудо.

«Василий Иванович... вы счастливец! Вам дан природой высший артистический дар».

Так в тридцать пятом году написал Качалову их театральный бог.

Ленинград.

Громадные хрустальные люстры, отражаясь в толстых мраморных колоннах, заливают зал филармонии праздничным потоком искусственного света.

Партер и хоры густо усеяны головами.

Плотная толпа замазывает черной краской широкие коридоры за креслами.

Выходит Качалов. Зал встает. Встают хоры.

Лермонтов бы сказал: «Р-р-укоплесканьями гр-ремит шир-рокая ар-рена».

Качалов кланяется.

Зал и хоры стоят.

Качалов кланяется, кланяется, кланяется.

Надо же когда-нибудь начать!

И он начинает:

Толстой, Достоевский, Шекспир, Байрон, Гете, Блок, Есенин.

Нет, он не читает Толстого, Достоевского, Шекспира, Байрона, Гете, Блока, Есенина. Качалов читает — себя.

«Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располага-

ющая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Это он! Это философ Качалов, стоящий тут, перед нами, на фоне длинных серебряных труб филармонийского органа, это Василий Иванович Качалов любит человеческую жизнь и «красоту мира Божия».

Только я в эту цветь, в эту гладь
Под тальянку веселого мая
Ничего не смогу пожелать,
Все как есть, без конца принимая.
Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

И это не Сергей Есенин, а Качалов.

И опять:

Рукоплесканьями гремит широкая арена.

Наклонясь к Никритиной, я шепчу;

— Вот тебе. Нюха, и эстрадник!

— Ух, какой великий эстрадник!

Василий Иванович внутренне давно ушел из Художественного театра. Он даже говорил «они» о работающих, вернее — служащих в невысоком серо-зеленом доме с чайкой над входом.

Станиславский пугал:

— Ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться, как Художественный. Он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля, и ничего от него не останется.

Над этими словами надо бы призадуматься.

Когда смерть подошла и встала возле примятых подушек Качалова, опершись на невысокую спинку его больничной кровати, Василий Иванович, не надевая пенсне, ясно ее увидел.

— А знаешь, Нина, — очень тихо сказал он, — мне уже это не страшно. Но и не любопытно.

Нина Николаевна сухими губами припала к его руке.

Потом, постаравшись улыбнуться, он сказал голосом, почти лишенным звука:

— А ну — со смертью будем храбры
Ведь все равно возьмет за жабры.

Нина Николаевна заплакала.

Она плакала и рассказывала мне это.

Качалова нет.

Я не в первый раз без него сижу в его кабинете. И всегда сжимается сердце. До чего же он не похож на его кабинет!

Словно не только переставили мебель, перевесили картины, убрали из-под стекла книжного шкафа фотографии его друзей, но и переменили воздух. Качаловский воздух ушел из дома вслед за Василием Ивановичем.

Я спорю с его сыном:

— Нет, Дима, не могу, не могу с этим согласиться! Нельзя было сжигать его дневники.

— Отец перед смертью взял с меня честное слово, что я это сделаю.

— Но это история всей жизни Качалова! Он писал их десятки лет. Писал почти ежедневно.

— Мне пришлось сжечь два больших сундука. Они стояли на даче. На Николиной Горе.

— Ужасно!

— Это была его последняя воля.

— А если бы Шекспир завещал сжечь свои сонеты? И вы сын его? Вообразите, это. Вы сожгли бы их?

— Я не сын Шекспира.

— Это мне известно. Поэтому я и сказал: вообразите это.

— Не могу. Вероятно, у меня нет воображения.

И молчит.

— Вы, Дима, прочли их?

Он молчит.

— Вы прочли эти дневники?

— От первой до последней строчки.

— И не колеблясь сожгли?

— Почти не колеблясь.

— Сожгли историю его ума, его души, его сердца?

— Отец был гораздо умней, крупней и сердечней, чем его дневники. Они никуда не годились. Плохие, жалкие! Кроме того, повторяю еще раз: я дал честное слово умирающему отцу. Вы знаете, Толя, что он умирал в полном и глубоком сознании. Только в последние дни отец примирился со смертью. Примирили физические страдания. Он принял ее, как избавленье.

— Что значит, Дима, это ваше честное слово! Скажу больше: что значит даже последняя воля?

— Воля отца! — упрямо повторяет он.

— Даже отца! Может быть, с точки зрения общепринятой морали я говорю сейчас кощунственные слова. Но ведь я чуть-чуть историк. Всю жизнь я возился с ней. А дневники Качалова, какие бы они ни были, это история русской культуры моего века. Воображаю, какие громы и молнии, какие проклятья будут метать потомки на вашу бедную голову.

Мы говорили долго, страстно, с болью, с гневом, порой со злобой, но так, разумеется, и не переубедили друг друга. Так и не сговорились.

Кто же из нас прав?

Жизненная дорога Димы была нелегка: белая армия, эмиграция, возвращение на родину, война, плен.

Отец был уверен, что он погиб. Мать хваталась за ускользающую от нее надежду. И говорила, говорила о сыне. Как о живом.

Василий Иванович слушал с окаменевшим лицом.

Потом ронял:

— Отмаялся Димка.

Нина Николаевна вскидывалась:

— Да что ты все: отмаялся, отмаялся!..

Это повторялось изо дня в день.

У Василия Ивановича было только одно слово:

— Отмаялся.

В 1942-м Никритина с актерской бригадой Большого драматического театра отправилась на Московский фронт. Както бригада заночевала в деревне, только что оставленной немцами.

Неожиданно старая крестьянка сказала:

— Туго у нас немцы стояли. С ними один наш был. Переводчиком, стало. Молоденький такой, белобрысенький. Уходя, значится, он попросил меня: «Скажите, мол, нашим, когда придут с освобождением, что я, мол, живой. Я, мол, сын очень знаменитого в России артиста. Имя ему: Качалов. Пусть, мол, наши скажут об том моим родителям. Меня, мол, увели с собой немцы».

Это и сделала Никритина. Разумеется, немедленно.

Вот и не отмаялся Дима.

Нина Николаевна умерла в 1956 году «у Ганнушкина». Это старинный московский сумасшедший дом. Незадолго до смерти «у Ганнушкина» в нервном отделении находился и Есенин.

Ольга Пыжова с дочкой, с Ольгушей, воспитанной в доме Качаловых, навестила Нину Николаевну.

Легенда называет Ольгушу дочерью Качалова. Это вздор, это чепуха.

У Литовцевой в последние годы вырос горбик. Еще резче она хромала. И словно усохла вся. И стала желтая, как бере-

зовый увядший лист, пролежавший не один год в толстой книге.

Увидав Ольгу и Ольгушу, Нина Николаевна кинулась к ним. Обцеловала Ольгушу, ставшую крупной красивой женщиной. Обняла Ольгу. Прильнула усохшим листиком головы к ее груди, и горестно заплакала. И стала умолять:

— Оля, возьми меня отсюда! Увези меня отсюда! Увези! Здесь страшно. Это сумасшедший дом. А я нормальная. Совершенно нормальная.

А через минуту она уже не узнавала Пыжову.

— Это же Ольга. Это моя мама, Ольга Пыжова. Ольга Ивановна! — испуганно повторяла Ольгуша.

— Кто?.. Пыжова?.. Ольга Пыжова?..

И глаза у Нины Николаевны налились кровью, пальцы скрючились, ногти превратились в когти злой птицы, и она закаркала, махая руками, как большими крыльями:

— Зло!.. Зло!.. Пыжова мне сделала много зла!.. Зла!..

Я молюсь словами Пушкина:

Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума.

Анатолия Борисовича Мариенгоф

Роман без вранья

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru